

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ-АПРЕЛЬ

"НАУКА"

МОСКВА - 1995

СОДЕРЖАНИЕ

К.Х. Ш м и д т (Бонн). Реконструкция и трансформация протокартвельского языка.....	3
Я.Г. Т е с т е л е ц (Москва). Сибиланты или комплексы в пракартвельском? (Классическая дилемма и некоторые новые аргументы).....	10
А.К. М а т в е е в (Екатеринбург). Аппеллятивные заимствования и стратификация субстратных топонимов.....	29
Л.Л. К а с а т к и н (Москва). Некоторые фонетические изменения в консонантных сочетаниях в русском, древнерусском и праславянском языках, связанные с противопоставлением согласных по напряженности/ненапряженности.....	43
А.С. Г е р д (С.-Петербург). Русская историческая диалектология в кругу смежных дисциплин (на материале псковских говоров).....	57
Т.Г. Н и к и т и н а (Псков). К вопросу о классификационной схеме фразеологического идеографического словаря.....	68
З.К. Т а р л а н о в (Петрозаводск). О синтаксических границах сложного предложения в русском языке: к спорам вокруг известного.....	83
Н.К. О н и п е н к о (Москва). Сложное предложение на фоне коммуникативной типологии текста.....	91
Г.А. З о л о т о в а (Москва). Монопредикативность и полипредикативность в русском синтаксисе.....	99

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Л.В. К н о р и н а . Природа языка в лингвоконструировании XVII века.....	110
--	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

А.Д. Д у л и ч е н к о (Тарту). Резьянология как раздел словенистики (в связи с выходом монографии Х. Стэнвейка "Словенский диалект Резьи Сан Джорджио" и сборника "Основы практической резьянской грамматики").....	121
--	-----

Рецензии

К.И. К а з е н и н (Москва). Heads in grammatical theory.....	129
А.И. Д о м а ш н е в (С.-Петербург). Geschichte der deutschen Sprache: ein Lehrbuch für das germanistische Studium.....	144
Л.С. Е р м о л а е в а (С.-Петербург). E. Leiss. Die Verbalkategorien des Deutschen. Ein Beitrag zur Theorie der sprachlichen Kategorisierung.....	148

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов,
А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик,
Г.А. Климов (отв. секретарь), Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров,
В.М. Солнцев, Н.И. Толстой (главный редактор),
О.Н. Трубачев (зам. главного редактора), А.М. Щербак*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"

Тел. 201-74-42

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

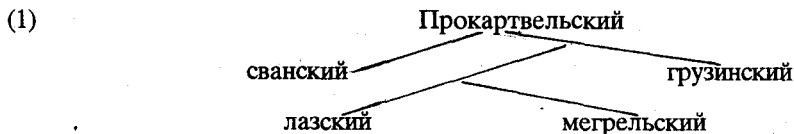
© 1995 г. К.Х. ШМИДТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОТОКАРТВЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА

Основой для реконструкции картвельского праязыка (так называемого протокартвельского) является совокупность дошедших до нас картвельских традиций. Они включают как сохранившиеся со времен античности фрагменты [1], среди них прежде всего переданная греческими и латинскими авторами ономастика, так и данные четырех картвельских языков – грузинского, мегрельского, лазского и сванского из которых грузинский занимал в культурно-историческом плане особое положение. По своим литературным источникам, которые берут свое начало в V в., грузинский язык является единственным языком, располагающим непрерывной традицией не только среди картвельских, но и среди палео- и иберийско-кавказских языков в целом. Наряду с индоевропейским армянским языком и вымершим в XIII в. кавказским албанским он представляет собой один из трех христианских литературных языков Кавказа с собственной системой письма [2–3].

В отличие от грузинского, сванскому, лазскому и мегрельскому не достает традиции передачи из поколения в поколение письменных свидетельств, традиции, обозначенной ниже как абсолютная хронология. Тем не менее и сванский обнаруживает целый ряд архаичных признаков, которые обусловлены его ранним выделением из протокартвельского. Консервативный характер сванского, в котором отсутствует традиция, объясняется относительной хронологией, т.е. статусом маргинального языка, определенного А. Мейе по отношению к области индоевропейских языков следующим образом: "Языки, распространенные на периферии индоевропейской территории, вполне могли быть занесены туда колонистами, которые первыми отделились от цельной индоевропейской нации и вследствие этого могли сохранить языковые архаизмы, не известные колонистам, говорившим на языках центральных районов, для которых характерно продолжение традиции" [4].

Построенное Г. Деетерсом родословное древо [5] хорошо известно:



Оно предполагает две теории: 1. Уже упомянутую теорию о раннем обособлении сванского от протокартвельского; 2. Теорию о периоде грузинско-занской языковой общности, последовавшей после отделения от них сванского (термин "занский" употреблен нами здесь как общее название, под которым объединяются мегрельский и лазский).

Из этих двух теорий вытекают два возможных следствия для интерпретации внутрикартвельских изоглосс: (а) грузинско-сванские или занско-сванские общности объясняются принципиально как общее наследие, реже как результат конвергентного развития; (б) грузинско-занские общности, к которым не причастен сванский, отражают как правило, инновации, которые образовались после того, как отделился сванский, но

которые тоже могут восходить к общему наследию (утраченному в сванском). В первом из названных случаев они соответствуют принципу, сформулированному А. Лескином [Die Declination im Slavisch-Litauischen und Germanischen (Leipzig, 1876; последующее издание 1963), XIII]: "Критерии тесного родства можно обнаружить только в случае, если будут найдены реальные соответствия в рассматриваемых языках, причем эти соответствия должны представлять собой отклонения от других языков".

На фоне этой модели членения языка-основы процесс реконструкции ставит себе целью раскрыть во всех частях системы (фонология, морфонология, морфология, синтаксис и словообразование) тот протокартвельский язык, который предшествовал четырем исторически засвидетельствованным языкам-преемникам. В основе этого подхода лежат четыре операции, из которых две первые служат анализу материала, в то время как в итоге третьей и четвертой делаются дальнейшие выводы на основании проведенного анализа: 1. Дифференциация между архаизмом и инновацией и классификация архаизмов; 2. Анализ трансформаций, посредством которых совершился переход от реконструированной протокартвельской модели к исторически засвидетельствованным языкам-преемникам; 3. Попытка определения протокартвельского как трансформированного предкартвельского; 4. Интерпретация предкартвельского / протокартвельского с историко-генетической, лингво-географической и типологической точек зрения.

Операции 3 и 4 не могут быть нами освещены, т.к. рамки статьи не позволяют этого сделать; отметим лишь, что к области операции 3 относится, например, проблема различных падежных отношений в системах транзитивного аориста, презенса и перфекта, в то время как область операции 4 включает среди прочих проблему раннеисторических контактов [6–9]. Напротив, иллюстрации операций 1 и 2 следуют ниже на конкретном материале картвельских языков.

Дифференциация архаизмов и инноваций с классификацией архаизмов. Как установил Е. Бенвенист [10], процесс идентификации является основополагающим критерием для доказательства генетического языкового родства: "никакое доказательство родства не может избежать этой процедуры, а классификация суммирует большое число таких существенных отождествлений с тем, чтобы каждому языку отвести свое место" [11]. Из этого принципа вытекает для реконструкции следующий сделанный мною вывод: "Идентификация элементов различных языков, имеющих общие моменты в форме и содержании, представляет собой необходимую предпосылку для реконструкции праязыка, в нашем случае протокартвельского" [11]. То что процесс реконструкции должен исходить из дифференциации между архаизмом и инновацией, показывают и приведенные выше научные положения Деетерса, Мейе и Лескина: родословное древо Деетерса включает раннее обособление сванского, который обнаруживает консервативные признаки, постулируемые А. Мейе для маргинальных языков, в то время как в грузинском и занском можно в соответствии с принципом Лескина ожидать ряд общих инноваций.

Для классификации архаизмов возможны следующие критерии:

а) Архаизм обусловлен абсолютной хронологией: показательным примером является древнегрузинский (дргруз.) по отношению к более позднему грузинским источникам и по отношению к трем новокартвельским языкам – сванскому, мегрельскому и ласкому. Архаичные черты древнегрузинского известны и были среди прочих рассмотрены А. Чикобавой, И. Кавтарадзе, З. Сарджвеладзе и А. Хэррис [12–16, ср. 17]. Для иллюстрации приведу некоторые примеры:

(2)

а) $q + x > x$: дргруз. *qan-* "пахать", *gar-i* "бык" > нгруз. *xan-*, *xar-i*: зан. *xon-*, *xoʒ-i*, сван. *qan-*, *qan*; б) имена собственные в номинативе, эргативе и вокативе не изменяются; в) сохранилась категория инклюзива/эксклюзива у личного префикса 1-го л. множ. ч., соотношенного с объектом: *gu : m : puri ese čueni arsobisaj tomes čuen dyes Tōv ἄρτων ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον* Mt. 6, 11; г) сохранился

Aspect flexionnel (термин Хольта [18]); д) тмезис: *xolo aγ-raj-dga* Mc 16, 9 ἀναστὰς δὲ. б) архаизм обусловлен относительной хронологией. Показательным примером является сванский, который сохранил эквиваленты для древнегрузинских архаизмов, приведенных в № (2) [кроме пункта (г)]:

- (3) а) *qan-*, *qan*; б) *Abram*, *Simon* [19]; в) инклюзив/экслюзив: сванск. *gwišgwe* "наш" / *nišgwe*; личные префиксы, соотносённые с субъектом *l-/xw-*; *l-a-sqid* "мы делаем" / *xw-a-sqid*; соотносённые с объектом *gw-/n-*; г) *Aspect flexionnel*, сохранившийся частично: верхнебальский *aqni* "он пашет": *aqn-uni* "он будет пахать": *ad-qāni* "он запашет" (ср. также лазск. *b-zuma-re* "я померю", хопск. *b-zima-minon* как производные от проспективного конъюнктива II), супплетивные парадигмы: презенс *itre* "ест", *izbi* "пьёт": аорист *la-iš* (*la-l-əš*), *la-l-ēm*; д) тмезис: *mi sga lok ofšqedni qarqte* "я, сказал он, брошусь ему в пасть" [19–20; 11].

Только в сванском сохраняются архаизмы е) эргатив-трансформатив и ё) отсутствии единого способа образования имперфекта: эргатив-трансформатив является вариантом полифункционального эргатива, совмещающего функции и другого падежа (термин И.И. Мещанинова [21]), который в определенной области сванской грамматики сохранился как комплексный падеж с функциями эргатива и трансформатива и принадлежит, по Г. Топуриа [22–24], к более широкой области палеоэргатива. Отсутствие единого способа образования имперфекта представлено в № 4 [25–26].

- (4) 1. Бессуффиксальный тип (верхнебальск., лент.) *tex-en-i* "возвращается": имперф. *tex-en*; 2. Тип с суффиксом -а (все диалекты): *lašx. amār-e* "готовит": имперф. *amār-a*; 3. Тип с суффиксом -d: нижнебальск. (лазам.) *ar-d* "он был", *sgur-d* "он сидел"; 4. -n (-ən, än, -on) тип с суффиксом -n (...): верхнебальск. *xalaṭ* "он любит": имперф. *xalaṭ-ən(da)*; 5. Тип с суффиксом -ol: верхнебальск. *imāri* "его готовят": имперф. *imār-ōl(da)*; 6. Тип с суффиксом -w (нижнебальск.) *ašxti* "он ставит плетень" ... : имперф. *ašxti-w*.

Соответствующий этому сванскому состоянию с шестью комплементарно распределёнными классами грузинско-занский способ образования имперфекта с помощью суффикса -d был уже определен Г. Мачавариани [25, с. 216] как вторичное явление и как общая инновация грузинско-занского.

с) Архаизм соответствует типологическим принципам, выходящим за пределы картвельского.

Тот факт, что в случае только что упомянутых грамматических архаизмов речь идет и о типологически древних упорядочениях, которые в процессе развития языка – большей частью по причинам экономии, парадигматического выравнивания или выравнивания по аналогии – были упрощены или соответственно утрачены, доказываемые материалами внешнекартвельского сравнения. Так, например, архаичное поведение имен собственных (№ 2/3 б) находит внутри и за пределами Кавказа подтверждение. Правило: "Собственные имена обычно не имеют именительного и эргативного падежей" [27] характеризует не только западнокавказский адыгейский язык. Конструкцию имен собственных в *casus indefinitus* можно, несомненно, найти и в других языковых семьях, например, в предысторическом индоевропейском, где "Vocativus-Commemorativus" хеттской грамматики – с немаркированным коммеморативом для обозначения "Nenn- und Erwähnfunktion" (функции называния и упоминания) [28] мог бы интерпретироваться как контекстуально связанный реликт этого древнего упорядочения:

- (5) *mHu-uz-zi-ja šUM-ŠU* "Хуцция его имя"

Другим архаизмом является *aspect flexionnel*, который формально основывается на оппозиции перфективной системы аориста и имперфективной системы презенса и функционально обозначает дифференциацию между точкой и линией (точечное и

линейное видовое значение). В новокартвельских языках он замещается aspect syntagmatique. Типологически с aspect flexionnel сопоставляется древнегреческая видовая система, которая еще довольно близка к предтемпоральной категории индоевропейского инфинитива. Следует особо указать на вневременную и гномическую функцию древнегрузинского пермансива, который является производным от основы аориста и имеет свое точное типологическое соответствие в гномическом аористе классического греческого:

(6)

аор. *mo-kl-a* "он убил": пермансив *mo-kl-i-s*: конъюнктив-футур. II *mo-kl-a-s*: импер. II *mo-ka-l-n*: ὅς κε θεοῖς ἐπιλείθῃται, μάλα τέκλον αὐτοῦ (II. 1, 218), "Кто бессмертным покорен, тому и бессмертные внемлют" (в переводе Н.И. Гнедича).

Aspect syntagmatique новокартвельских языков, напротив, формально основывается на глагольной композиции и функционально обозначает завершение действия, явление, напоминающее типологически более поздние видовые системы индоевропейских языков (как, например, в русском или осетинском). В связи с тмезисом Деетерс указал на индоевропейские параллели, которые объясняются законом Вакернагеля IF 1, 1892 [29].

(7)

др.-ирл. *ó do-m-anicc foirbhetu* Wb 12^r, 9 "da die Vollendung zu mir gekommen ist", др.-лат. *ob vos sacro* "obsecro vos", *sub vos placo* "supplicio vos" Fest. 190, 309; греч. πρό μ'ἐπεμψε ἀναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων A 442; вед. *sam mā tapanti* RV 1, 105, 8 "sie quälen mich", хет. *n(u)-an-pešta* "er gab ihn"; осет. (дигорский диалект) *æra-sæ-forsta* "спросил он их".

В качестве последнего архаизма следует прокомментировать сванский эргатив-трансформатив на *-(a)d* (3e). В грузинском и занском аналогичная форма ограничена функцией трансформатива. Причиной для этого функционального сужения послужило развитие новых морфем с эргативной функцией (дргроз. *-man*, занск. *-k*). Обусловленное этим воздействием раздвоение комплексного эргатива-трансформатива соответствует принципу, сформулированному Е. Куриловичем, — "вытеснение или замещение одного морфа другим только в его первичной или вторичной функции" [30]. Как установил Г. Топурия, засвидетельствованная только для сванского комбинация эргатива и трансформатива является «редкой разновидностью "совпадающего" эргатива» иберийско-кавказских языков, если ее сравнить с остальными вариантами:

(8)

а) эргатив-номинатив: местоимения 1-го и 2-го лица; б) эргатив-генитив (-инструменталис); в) эргатив-локатив; г) эргатив-трансформатив; д) эргатив-инструменталис (наиболее распространенный).

Тем не менее сванский эргатив-трансформатив превосходит грузинские и занские новообразования для эргатива по возрасту, как это доказывается двумя фактами: 1) типологическими параллелями эргатива, совмещающего и функции другого падежа (см. № 8); 2) появлением порознь эргатива самостоятельного в грузинском и занском.

д) Архаизм основывается на внутренней реконструкции

На уровне фонологии следует выделить обнаруженную Г. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани [31] систему аблаута, например:

(9)

сван. *qed-ni* "он идет" < *qed-en-i* < **qd-en-i*: аорист Sg. 1, 2, 3 *onqwed* < **an-w-qed*, *an-qed*, *an-qad* < **an-qad-a* < **an-qeda* (ассимиляция) < **an-qd-a* (аналогия).

На этом можем и перейти к процедуре реконструкции № 2 – к представлению и классификации трансформаций, в которых осуществился переход от реконструированной протокартвельской модели к исторически засвидетельствованным языкам-потомкам. Речь идет при этой процедуре, так сказать, о возврате к № 1, к диф-

ференциации между архаизмом и инновацией. При этом архаизм предполагается в данном случае как известный и берется как исходный пункт по отношению к произошедшим в языках-потомках трансформациям. На основе этого принципа сохранившиеся порознь в языках архаизмы не требуют комментариев (ср., например, приведенный в пунктах № 2 и № 3 древнегрузинский и сванский материал). Интересно, что идентификация результатов двух совершенно различных трансформаций может привести к реконструкции одного и того же архаизма. Классическим, много раз не признанным примером из области картвельских языков являются сравнения, в которых грузинскому (и занскому) *s* в сванском соответствует *l*:

(10) префиксы: груз. *sa-*, *si-*; сван. *la-*, *li-*; сравнения слов: др. груз. *sže* "молоко": *ləže*; др. груз. *stvaj* "прясть": *li-lte* (корень **let*).

Попытка возвести результаты трансформаций *s* и *l* к латеральному была принята К. Боуда на основе типологических параллелей из других языковых областей, включая западнокавказскую [5, с. 78].

Принципиально со скепсисом следует рассматривать подход к проблеме с позиций конвергирующих трансформаций, который не согласуется с моделью членения праязыка по Деетерсу. Это особенно касается теории Мачавариани относительно объяснения картвельских аффрикат и сибилантов:

(11)

1. передний ряд (свистящие)	*z s ʒ c ɕ
2. средний ряд (свистящие-шипящие)	*z ₁ s ₁ ʒ ₁ c ₁ ɕ ₁
3. задний ряд (шипящие)	*(ʒ) ʃ ʒ̣ ɕ̣ ɕ̣

Согласно этой теории, занский и сванский совпадают в отличие от грузинского, что противоречит модели членения праязыка (№ 1). А. Хэррис [16, с. 21, прим. 9] недавно процитировала решение, предложенное Мачавариани: "Общепринято считать, что грузинский и занский, в отличие от сванского и занского, образуют отдельную подгруппу; однако вытекающая из этой гипотезы общность языковых процессов в сванском и занском требует специального объяснения. Это объяснение состоит в том, что задолго до наиболее раннего разделения этой семьи существовали различия между западным и восточным диалектными ареалами, причем первый из них (позднее сванский и занский) характеризовался переходами **ʒ* > *ʃk* и **s*₁ > *ʃ*. Восточный диалект (позднее грузинский) характеризовался слиянием серий *s* и *s*₁ в единую серию. Таким образом, объясняется существование пар, которые являются гомофонными в грузинском, но различны в занском".

Отличная от Мачавариани и предпочитаемая мною реконструкция среднего и заднего ряда:

(12)

1. *z	s	ʒ	c	ɕ
2. *ʒ̣	ʃ	ʒ̣	ɕ̣	ɕ̣
3. [*ʒ̣g]	ʃg	ʒ̣k	ɕ̣k	ɕ̣k

может быть трижды подкреплена: 1) реальной ситуацией в свете имеющихся материалов по занскому и сванскому; 2) моделью членения праязыка по Деетерсу (в соответствии с которой занский и с незначительными модификациями сванский сохраняют древнее состояние, в то время как после обособления сванского от занского и грузинского следует трансформация грузинского) и, наконец, 3) типологическими аргументами. Теория Мачавариани, напротив, предполагает ареальное – с ограничением во времени – разделение на западнокартвельский (занско-сванский) и восточнокартвельский (грузинский), которое последовало после отделения сванского по модели Деетерса (№ 1). Это предположение остается, однако, пока маловероятным, точно так же, как постулируемое разделение на западные и восточные языки, что не может быть подтверждено никакими другими занско-сванскими инновациями сопоставимого возраста. Немногочисленные лексические

ИЗОГЛОССЫ:

(13)

сван. *-šāl* "как" (послелог): мегр. *-šoro*; сван. *li-šgd-i* "подобать; отважиться": мегр. *škidiri* "подобать"; сван. *ham* "утро": мегр. *čume* "завтра", *o-čum-ar-e* "утро" скорее объясняются сохранившимися общим наследием.

ВЫВОДЫ

Основой для реконструкции протокартвельского является совокупность картвельских традиций, в связи с чем древнегрузинский и сванский в силу их архаичности обладают особым весом. Из четырех операций процесса реконструкции были рассмотрены первые две – 1. Дифференциация архаизмов и инноваций с классификацией архаизмов; 2. Анализ трансформаций. Значение архаизмов подтверждено научными положениями Деетерса, Мейе и Лескина: раннее обособление сванского имплицитно его маргинальное положение и сохранение консервативных признаков, общие инновации в грузинском и занском. Установленные для древнегрузинского и сванского архаизмы подтверждаются и с точки зрения выходящей за пределы картвельских языков типологии. К трансформациям относятся наиболее трудные случаи, среди них свидетельства двух различных трансформационных итогов и проблема конвергирующих трансформаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Латышев В.В.* Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. I. Греческие писатели. СПб. 1904–1906.
2. *Greppin J.A.C.* The language of the Caucasian Albanians // *FoSl.* 1982. 5.
3. *Schulze W.* Die Sprache der Uden in Nord-Azerbajdžan. Wiesbaden, 1982. S. 279.
4. *Meillet A.* Esquisse d'une histoire de la langue latine. Paris. 1928. P. 16.
5. *Schmidt K.-H.* Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprache. Wiesbaden, 1962. S. 13.
6. *Schmidt K.-H.* Die beiden antiken Iberiae, sprachwissenschaftlich gesehen / *KZ.* 1987. 100 (= *Schmidt K.-H.* The two ancient Iberias from the linguistic point of view // *Veleia.* 1987. № 2–3).
7. *Schmidt K.-H.* Zur relativen Chronologie in den Kartvelsprachen // *HS.* 1989, 102 (= *Шмидт К.-Х.* Относительная хронология в картвельских языках // *ВЯ.* 1989. № 4).
8. *Schmidt K.-H.* Die Kartvelischen Sprachen genetisch und typologisch gesehen // *HS.* 1989. Bd. 102.
9. *Schmidt K.-H.* Kartvelisch und Armenisch // *HS.* 1992. 105 (= *Шмидт К.-Х.* Картвельский и армянский // *ВЯ.* 1993. № 3).
10. *Benveniste E.* Problèmes de linguistique générale. Paris, 1966. P. 102.
11. *Шмидт К.-Х.* Место сванского в семье картвельских языков // *ВЯ.* 1991. № 2. С. 5 (= *Schmidt K.-H.* Die Stellung der Svanischen innerhalb der Kartvelischen Sprachfamilie // *Studia Caucasia.* 1987. № 7).
12. *Чикобава А.* О древне- и новогрузинских компонентах в морфологической и синтаксической структуре языка *Verxis-iqaoani* (на груз. языке) // *КЕ.* 1966. Bd. 15.
13. *Kavtaradze I.* Der Entwicklungsweg der georgischen Literatursprache // *Georgien / Sakartwelo.* Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität. Jena. 1975. Bd 24.
14. *Kavtaradze I.* К истории основных категорий глагола в древнегрузинском. Тбилиси, 1954 (на груз. языке).
15. *Саржеладзе З.* Введение в историю грузинского литературного языка. Тбилиси, 1984 (на груз. языке).
16. *Harris A.C.* Overview on the history of the Kartvelian languages // *The indigenous languages of the Caucasus /* Ed. by Harris A.C. V. 1: The Kartvelian languages. New York. 1991.
17. *Schmidt K.H.* Zur relativen Chronologie in den Kartvelsprachen // *HS.* 1989. Bd 102 (= *Шмидт К.Х.* Относительная хронология и картвельские языки // *ВЯ.* 1989. № 4).
18. *Holt J.* Études d'aspect // *Acta Jutlandica,* 1943. № 15.
19. *Чумбуридзе З.* Склонение имен собственных в сванском языке (на груз. языке) // *ZKEKS.* 1964. V. 9.
20. *Чумбуридзе З.* Будущее время в сванском языке. Тбилиси, 1986. (на груз. языке). Тбилиси, 1986.
21. Эргативная конструкция предложения в языках различных типов / *Отв. ред. Жирмунский В.М. Л., 1967. С. 13.*
22. *Топуриа Г.В.* Вопросы морфологии склонения в дагестанских языках // *ВЯ.* 1987. № 1.
23. *Topuria G.V.* Ergativ, Instrumentalis und die ergative Konstruktion // *Proceedings of the 14-th International Congress of linguistics.* Berlin, 1990.

24. *Topuria G.V.* Probleme der Deklination in den dagestanischen Sprachen // REGC. 1988. Bd 4.
25. *Мачавариани Г.* Имперфект в сванском языке и его позиция в системе спряжения в картвельских языках (на груз. языке) // ИКЕ. 1980. V. 22.
26. *Шмидт К.Х.* Об имперфекте в индоевропейских и картвельских языках // ВЯ. 1992. № 5.
27. *Розава Г.В., Керашова З.И.* Грамматика адыгейского языка. Краснодар; Майкоп, 1966. С. 63.
28. *Neu E.* Einige Überlegungen zu den hethitischen Kasusendungen // Hethitisch und Indogermanisch // Hrsg. von Neu E., Meid W. Innsbruck, 1979.
29. *Schmidt K.-H.* Zur Tmesis in den Kartvelsprachen und ihren typologischen Parallelen in indogermanischen Sprachen // Юбилейный сборник, посвященный Г.С. Ахвледиани. Тбилиси, 1969.
30. *Kurylowicz J.* The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964. S. 14.
31. *Гамкрелидзе Т.В., Мачавариани Г.И.* Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965 (на груз. языке) = *Gamkrelidze Th.V., Mačavariani G.I.* Sonantensystem und Ablaut in den Kartvelsprachen. Tübingen. 1982.

Перевел с немецкого *Г. Вернер*

© 1995 г. Я.Г. ТЕСТЕЛЕЦ

СИБИЛЯНТЫ ИЛИ КОМПЛЕКСЫ В ПРАКАРТВЕЛЬСКОМ?

(Классическая дилемма и некоторые новые аргументы)

К 65-летию Карла Хорста Шмидта

Традиционная проблема восстановления либо третьего ряда сибилантов, либо особых сочетаний согласных (сибилянтов с велярными) в пракартвельском (ПК) представляет собой образцовый пример альтернативного выбора в лингвистической реконструкции. Дискуссия по этому вопросу, которая длится с конца 1950-х гг. до нынешнего времени, вскрыла множество проблем, интересных отнюдь не только для специалистов по картвельским языкам и связанных с методами построения доказательств в сравнительно-историческом языкознании. Привлекательность этой задачи заключается также и в том, что она изначально допускает лишь два логически возможных ответа, не оставляя места для появления многочисленных, равно вероятных и равно недоказуемых ("тысяча первых") гипотез.

1. Содержание проблемы. Первые же компаративисты¹, которым удалось успешно применить к материалу картвельских языков общепринятые методы лингвистической реконструкции – Т. Гамкрелидзе [1], Г.А. Климов [2], Г. Мачавариани [3] и К.Х. Шмидт [4], обнаружили следующую картину.

В исторически засвидетельствованных картвельских языках, как и в подавляющем большинстве автохтонных языков Кавказа, имеется два локальных ряда переднеязычных спирантов и аффрикат: передние сибиланты (свистящие) *s, z, c, ʒ, ʂ* и задние сибиланты (шипящие) *ʃ, ʒ, ʂ, ʒ, ʂ*. Регулярные фонетические соответствия между сибилантами в картвельских языках образуют, однако, не две, а три серии². Первая серия включает тривиальные соответствия между свистящими вида: груз. свистящие – зан. свистящие – сван. свистящие; вторую – нетривиальные соответствия вида: груз. свистящие – зан. и сван. шипящие, см. Табл. 1; третья серия включает: груз. шипящие – зан. и сван. сочетания согласных, см. Табл. 2: в правых частях таблиц приведены две альтернативные реконструкции, о которых и пойдет речь в нашей статье.

Примеры (ПК и прагрузинско-занские (ПГЗ) формы даются исходя из реконструкции Г. Мачавариани; здесь и далее ссылки на этимологическую литературу даются только к тем сближениям, которые отсутствуют в этимологических словарях Г.А. Климова [10] и Х. Фенриха и З. Сарджвеладзе [11]):

(1) ПК **sam* "три": груз. *sam-*, мегр. лаз. *sum-*, сван. *semi*; (2) ПК **za* "год", ПГЗ **zamtar* "зима": груз. *zamtar-*, мегр. *zotonʒ-*, сван. *zāj* "год"; (3) ПК **cm* "мазать (жиром)": груз. *cm-el-* "жир", мегр. *cm-* "накипь", сван. *cm-* "мазать", *na-cm-un* "жир"; (4) ПГЗ **ʒ(e)γ* "насыщаться": груз. *ʒ(e)γ-*, мегр. *rʒγ-*, лаз. *ʒγ*; (5) ПК **gr̥çqil* "блоха": др.-груз.

¹ Предшествующие работы, в которых затрагивалась тема сибилантных соответствий между картвельскими языками, принадлежавшие А. Цагарели [5], Н.А. Марру [6], А. Чикобава [7] и В. Полаку [8], составили определенный исторический этап в изучении проблемы, однако еще не содержали реконструкций, построенных в соответствии с требованиями сравнительно-исторического метода.

² Как свидетельствует Г. Мачавариани [9, с. 45], идея о наличии трех серий соответствий восходит к университетским лекциям А. Шанидзе по курсу сравнительной грамматики картвельских языков.

Чисто сибиллянтные соответствия

	Грузинский	Занский	Сванский	ПК реконструкция Г.Мачавариани (1960)	ПК реконструкция К.Х. Шмидта (1961)
--	------------	---------	----------	---------------------------------------	-------------------------------------

1 серия:

(1)	s	s	s	*s	*s
(2)	z	z	z	*z	*z
(3)	c	c	c	*c	*c
(4)	ʒ	ʒ	ʒ	*ʒ	*ʒ
(5)	ç	ç	ç, h > θ	*ç	*ç

2 серия:

(6)	s	š	š	*s ₁	*š
(7)	z	ž	ž	*z ₁	*ž
(8)	c	č	č	*c ₁	*č
(9)	ʒ	ʒ	ʒ	*ʒ ₁	*ʒ
(10)	ç	ç	ç, h > θ	*ç ₁	*ç

Таблица 2

Соответствия грузинских шипящих:
сибилянтно-велярные комплексы в занском и сванском

	Грузинский	Занский	Сванский	ПК реконструкция К.Х. Шмидта	ПК реконструкция Г. Мачавариани
--	------------	---------	----------	------------------------------	---------------------------------

3 серия:

(11)	š	šk	šg	*šk	*š
(12)	sk	sk	sg	*sk	*š
(13)	č	čk	šg, čk	*čk	*č
(14)	ck	ck	sg, ck	*ck	*č
(15)	ç	çk	čk, šk, h > θ	*çk	*ç
(16)	çk	çk	šk, h > θ	*çk	*ç
(17)	ž	žg	šg	*žg	*ž
(18)	zg	zg	sg	*zg	*ž

grçqil-, мегр. çqir-, сван. zisq; (6) ПК *as₁ "сто": груз. as-, мегр. лаз. oš-, сван. aš-ir; (7) ПК *mz₁e "солнце": груз. mze, мегр. bža, лаз. mžo-ra, сван. miž; (8) ПК *c₁xra "девять": груз. cxra, мегр. лаз. čxoro, сван. čxara; (9) ПК *ʒ₁ma "брат": груз. zma, мегр. žima, лаз. žima, сван. žim-il "брат (для сестры)"; (10) ПК *ç₁er "изображать, оставлять знаки": груз. çer- "писать", мегр. лаз. (n)çor- "писать", сван. (j)Vr- "писать".

Примеры: (11) ПК *šur "испытывать неловкость, страх": груз. šur- "завидовать", мегр. škur- "бояться", лаз. škur-, škur-, сван. šgur- "стыдиться"; (12) ПК *mž-šw-e "дитя": др.-груз. pir-mšo "первородный", мегр. skua "сын", сван. sge-j "дитя (мальчик)"; (13) ПК *čw "привыкать": груз. čv-, мегр. rčkw-, сван. čkwn-; (14) ПК *arčw "серна": груз. arčv-, мегр. erckem-, erskem- "тур", сван. jerskän, jersken "серна"; (15) ПК *čžed "прибивать, ковать": груз. čed-, мегр. čka(n)d-, лаз. čkad-, сван. škad-; (16) ПК *me-(r)čed "перстень": груз. bečed- "перстень, печать", мегр. marçkind- "перстень", лаз. maç(k)ind- "перстень",

обручальное кольцо", сван. *məskad* "перстень"; (17) ПГЗ **bʏneʒ* "хмуриться, ослабиться": груз. *bʏneʒ*- "хмуриться, ослабиться", мегр. *ʏnʒg*- "гримасничать"; (18) ПК **marʒw-en* "правая рука": груз. *marʒvena* "правая рука, правый", мегр. *marʒwan*-, лаз. *marʒwan*-, *marʒqwan*-, "правая рука", сван. *mursgwen*, *lärsgwän* "правый, правая рука".

Неустранимость из системы соответствий второй и третьей серии, видимо, никогда не ставилась под сомнение (начиная с того, как Н.Я. Марр в 1912 г. разделил картвельские языки на "шипящую" и свистящую" ветви [6]). Что же касается первой серии, то после работы Г. Мачавариани [3] попытки показать "вторичность" ее (как это делал тот же Н.Я. Марр, объясняя тривиальные соответствия заимствованиями из грузинского) или объединить ее со второй серией трудно принимать всерьез³.

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса об интерпретации трех серий соответствий, поясним, в чем заключается своеобразие занских и сванских соответствий грузинским шипящим.

Эти соответствия обычно представляют собой особые фонологические единицы картвельских языков, называемые "гармоническими децессивными комплексами" (термин Г. Ахвледиани, см., например, [13–14]). Вообще комплексы согласных (кластеры), которыми богаты картвельские языки, традиционно подразделяются на "гармонические", т.е. такие, в которых способ образования и ларингальные признаки компонентов совпадают, например, *bd*, и "негармонические", в которых есть несовпадение, например, *tb*; кроме того, различают "акцессивные" комплексы, т.е. такие, в которых первый элемент по месту образования заднеязычный, а второй – переднеязычный или губной, например, *gd*, и "децессивные", т.е. такие, в которых порядок обратный, например, *tk*. Отличие именно гармонических децессивных комплексов от остальных заключается в том, что они образуют, как мы увидим ниже, стройную систему на основе корреляций по локальному ряду, ларингальному признаку и способу образования.

"Гармонические децессивные комплексы" (ГДК) могут быть определены следующим образом: губной или переднеязычный шумный + велярный или увулярный с тем же ларингальным признаком, иногда совпадающий с первым элементом и по способу образования: *bg*, *px*, *ʃk*, *ʃq*, *ck*, *çq*, *çk*, *ʒʏ* и т.п. (увулярные и велярные спиранты не противопоставлены и обозначаются знаками для велярных). В правилах, затрагивающих структуру слова и морфемы в пракартвельском, такие сочетания приравниваются к одиночным фонемам, что было в свое время продемонстрировано Т. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани [15, с. 305–306]⁴. Для дальнейшего будет существенно, что занскими

³ Последняя по времени попытка свести в один ряд соответствия первой и второй серий – статья Е. Осидзе [12]. Как известно, сравнительно-исторический метод допускает объединение двух регулярных соответствий либо тогда, когда между этими соответствиями обнаруживается позиционное распределение, либо тогда, когда распределения нет, но перевешивают важнейшие системные соображения, касающиеся состава фонологических единиц праязыка. Вместо сколько-нибудь четких распределений Е. Осидзе предлагает учитывать "тенденции" – "сдвиг артикуляции назад" и диссимиляцию сибиланта с велярным: свистящий, но не шипящий выступает в позиции при однокоренном велярным (ср., тем не менее, **c₁iku* "посылать", **ʒ₁aʒ* "быть противным", **kaç₁* "человек", **c₁eka* "кузов (остродонный)" и мн. др.). Е. Осидзе полагает, что сосуществующие варианты со свистящими и шипящими у некоторых основ типа мегр. *ʒwet*-/*çwar*- "капать" или сван. *beçk*-/*beçk*- "ломаться", свидетельствуют о тождестве свистяще-свистящих и свистяще-шипящих соответствий. При этом не учитывается, что подобное варьирование могло происходить и в праязыке, да и вообще в компаративистике факты спонтанного варьирования никогда не считаются свидетельством позднейшего происхождения вариантов, скорее имеет место обратная презумпция.

⁴ Впрочем, и в засвидетельствованных картвельских языках во многих фонотактических обобщениях и морфонологических правилах такие комплексы рассматриваются как аналоги одиночных фонем. Для иллюстрации достаточно указать на одну особенность действия правила редукции в сванском языке. Неконечные гласные в сванском, в том случае, если они подпадают под редукцию (о конкретных условиях действия редукции см., например, в [16]), редуцируются до нуля или *w*, если в результате не возникает сочетания из трех или более согласных. Если же такое сочетание могло бы возникнуть, то редукция происходит до *ə* или *u*, ср. *kałmax* "рыба" – *li-kałmax-i* "рыбачить". При этом ГДК ведут себя как одиночные фонемы, т.е. "засчитываются" за один согласный, ср. *{li-tqabe}* → *liqbe*, но не **liqabe* и не **liqabe* "жарить".

и сванскими соответствиями грузинских шипящих являются именно ГДК, точнее, некоторая их разновидность, а именно сочетания сибиланта с велярным.

Соответствия третьей серии могут быть интерпретированы как рефлексы пракартвельских шипящих (точка зрения Г. Мачавариани [3]), и в таком случае грузинские отражения рассматриваются как архаизм. Альтернатива заключается с том, чтобы реконструировать не шипящие, а комплексы, подобные тем, что представлены в занских и сванских соответствиях (точка зрения К.Х. Шмидта [4]). В качестве типологической параллели к предполагаемому переходу сибилантно-велярного сочетания в шипящий в грузинском К.Х. Шмидт приводил процессы, имевшие место, например, в германских языках: гот. *fisks* и нем. *Fisch*, англ. *fish* "рыба" [17, с. 61]; тот же индоевропейский кластер претерпевает аналогичное развитие и в итальянском: лат. *piscis* – итал. *pesce* [peʃe].

Имеется и еще одна возможность – предположить, что третьей серии на ПК уровне соответствуют не шипящие и не комплексы, а особый, не засвидетельствованный исторически локальный ряд сибилантов. Таковы гипотезы о том, что третья серия отражает ПК (лабио-)веляризованные (точка зрения Г. Церетели, упоминаемая Т. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани [15, с. 7–8]) или просто лабиализованные (Х. Фогт [18]) сибиланты, а вторая – обыкновенные шипящие. Как мы увидим, эти гипотезы являются по сути вариантами реконструкции Г. Мачавариани, поскольку почти все аргументы за или против последней приложимы также и к ним⁵.

С самого начала дискуссии было очевидно, что решение этой проблемы предопределяет решение другой – как интерпретировать соответствия вида: груз. свистящие – зан. и сван. шипящие? Если мы принимаем реконструкцию К.Х. Шмидта, то ясно, что первая серия естественным образом интерпретируется как рефлексы свистящих в ПК, а вторая – как рефлексы шипящих. Если же мы считаем, вслед за Г. Мачавариани, что на месте грузинских шипящих были шипящие в ПК, то интерпретация второй серии соответствий должна быть нетождественной тем рефлексам, которые она дает в языках-потомках (свистящие реализуются в первой серии соответствий, а шипящие – в третьей, поэтому вторая серия не может восходить ни к свистящим, ни к шипящим в ПК). Г. Мачавариани предположил, что этим рядам соответствовало в ПК нечто третье, особый локальный ряд аффрикат и спирантов, который он, используя принятый среди компаративистов технический прием, обозначал символами для свистящего ряда, но помеченными цифрой 1.

Фонетическая интерпретация второго ряда может быть различной. Ясно лишь то, что если для ПК постулируется третий локальный ряд сибилантов, а в засвидетельствованных картвельских языках таких рядов только два, то фонологическая характеристика по крайней мере одного из трех рядов должна включать признак, который в языках-потомках не обнаруживается. Вероятная интерпретация этого признака для второй серии, по Г. Мачавариани, – нечто "среднее" между свистящей и шипящей артикуляцией, типа свистяще-шипящих, засвидетельствованных, например, в абхазо-адыгских языках.

Ниже мы постараемся суммировать все более или менее существенные аргументы за и против обеих реконструкций, которые приводились в литературе (в разделах 2–5), и рассмотреть несколько новых аргументов как за, так и против кластерной реконструкции К.Х. Шмидта (разделы 6–13). В заключение мы попытаемся подвести итог и оценить степень вероятности каждого из двух решений.

2. Кластерная реконструкция и аргумент Шмидта. Кроме вышеупомянутых типологических соображений, К.Х. Шмидт видит преимущество своей реконструкции в

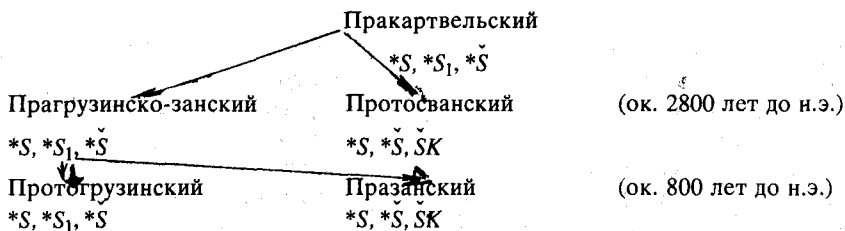
⁵ Предположение о веляризованном характере ПК и ПГЗ шипящих, которые тем самым должны быть фонетически ближе к русским *ш, ж*, белорусским *ш, ж, ч* или абхазским веляризованным сибилантам, чем к грузинским шипящим, так или иначе необходимо для реконструкции Мачавариани. Если шипящий отражается в занском и сванском как комплекс с велярным, естественно предположить, что по крайней мере незадолго до этого он приобрел веляризованную артикуляцию.

том, что она не вынуждает постулировать независимые тождественные инновации в занском и сванском уже после их разделения. На этом аргументе стоит остановиться несколько подробнее.

Схема филиации картвельских языков весьма проста и была впервые установлена еще Г. Деетерсом [19]: ПК первоначально разделился на (прото)сванский и ПГЗ. Значительно позднее ПГЗ разделился на (прото)грузинский и празанский. Наиболее позднее событие, совершившееся уже в историческое время, – разделение занских диалектов на мегрельский и лазский. Эта схема подтверждается и количественным соотношением ПГЗ и ПК этимологий, и, что еще более показательнее, лексико-статистическими данными.

Схему Деетерса однозначно подтвердил уже первый опыт применения лексикостатистики к картвельским языкам, проведенный Г.А. Климовым [20; 21]. Автор этих строк недавно провел глоттохронологический расчет для картвельских языков с помощью компьютерной программы СТАР, созданной С.А. Старостиным. В основу этой программы положена усовершенствованная методика расчета даты распада праязыка [22]. В программе используется стословный список Сводеша, увеличенный на десять дополнительных слов, предложенных С.Е. Яхонтовым: 'близко', 'ветер', 'год', 'далеко', 'змея', 'короткий', 'соль', 'тонкий', 'тяжелый', 'червь'. Расчет показывает начало третьего тысячелетия до н.э. (менее 30% совпадений) как наиболее вероятное время распада ПК и восьмой-девятый век до н.э. (чуть менее 60% совпадений) – для разделения ПГЗ на грузинский и занский.

Аргумент К.Х. Шмидта заключается в том, что "если исходить из трех рядов Мачавариани – *s, *š, *ṣ̌, то это означает, что занский и сванский, в противоположность грузинскому, осуществили совместную инновацию, что совсем не согласуется с фактом очень древнего общего развития грузинского и занского" [17, с. 65]; на приведенной ниже схеме показано, как бы происходила эта инновация:



Хотя нельзя, конечно, исходить из того, что независимые тождественные инновации в родственных языках вообще никогда не происходят, в данном случае можно с большой уверенностью отвергнуть эту гипотезу. Дело в том, что содержание предполагаемой инновации заключалось бы не только в тождественном спонтанном изменении (типа *ṣ̌ → ṣ̌k и т.д.), но также в тождественных позиционных распределениях (о последних подробнее ниже, в разделе 6): такое независимое совпадение не только в существовании процесса, но и во всех его подробностях и деталях кажется крайне маловероятным.

Для того, чтобы устранить необходимость признания независимой тождественной инновации в занском и сванском, Т. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани предложили следующую модель развития ПК диалектов.

«В том диалектном ареале, продолжение которого представляет собой исторический грузинский язык, ряд средних сибилантов совпал с рядом передних сибилантов; в том диалектном ареале, представителями которого в настоящее время выступают мегрело-чанский и сванский, средний сибилантный ("свистяще-шипящий") ряд перешел в шипящий ряд, а на месте исходных шипящих согласных развились комплексы с первым шипящим и вторым превелярным компонентом... Эту диалектную зону условно можно назвать западнокартвельским ареалом, в противоположность восточно-

картвельскому ареалу, для которого характерно совпадение среднего сибилантного ряда с передним сибилантным... в интересующий нас период между восточной и западной диалектными зонами общекартвельского языка-основы... должно было иметь место единство в морфологической структуре и в лексике» [15, с. 8–9].

Ясно, что с учетом приведенных выше глоттохронологических данных реальность такой модели мало вероятна: трудно допустить, что на протяжении примерно двух тысяч лет с момента разделения протосванского и прагрузинско-занского часть ПГЗ диалектов продолжала сохранять яркую инновацию "западной" зоны, в то время как другая их часть оставалась незатронутой этим процессом. Здесь налицо не только чисто хронологическая, но и содержательная трудность: грузинский и занский характеризуются большим числом с о в м е с т н ы х морфологических и лексических инноваций. Перечень наиболее важных из этих совместных инноваций и их анализ даны в той же книге Т. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани [15, с. 9 и сл.]. Сам факт этих инноваций трудно совместим с сохранением на протяжении огромного периода времени такого принципиального различия, как различие в одних и тех же позициях комплексов в западных ПГЗ диалектах и шипящих – в восточных. Приводимый авторами пример двух близких говоров анцухского диалекта аварского языка – тохского и чадако-лобского, в которых различается система сибилантов, был бы убедительным только в том случае, если бы они показали, что тохский и чадаколобский, подобно грузинскому и занскому, разделяют большое число инноваций, тождественных по отношению друг к другу и специфических по отношению к другим южным аварским говорам.

Известные факты сохранения в течение тысяч лет таких диалектных сходств праязыкового континуума, которые вступают в противоречие с его последующим разделением, относятся в основном к морфологии – например, падежные окончания с *-m- и *-bh- в индоевропейском [23] или угорско-самодийские совпадения в уральском [24]. Во всяком случае, не замечено, чтобы таким же образом могли сохраняться важнейшие фонологические различия, определяющие фонетический облик почти каждого слова.

3. Аргументы Мачавариани. Проблема выбора между реконструкцией третьего ряда сибилантов или комплексов на месте грузинских шипящих в ПК была подробно рассмотрена в монографии Г. Мачавариани "Общекартвельская консонантная система", вышедшей в 1965 г. [9]. Соответствующие места книги ясно показывают, что этот выдающийся компаративист полностью признавал возможность альтернативного решения и ни в коей мере не стремился затушевать факты, "неудобные" для его теории. Однако именно здесь Мачавариани выдвинул два простых, но чрезвычайно сильных аргумента в пользу своей позиции – настолько сильных, что дискуссия на тему о ПК соответствиях для грузинских шипящих прервалась на много лет (до появления статьи И. Меликишвили [25] в 1980 г.). Рассмотрим эти аргументы.

Первый аргумент заключался в том, что в грузинском обнаруживаются сибилантовельярные комплексы, которых там, в соответствии с реконструкцией Шмидта, быть не должно, так как именно они по Шмидту в этом языке перешли в шипящие. При этом никакого позиционного распределения с третьим рядом соответствий не наблюдается. Это такие грузинские слова, как *zgera* "биться, трепетать", *ckera* "глядеть", *ckviji* "резвый", *ckepla* "розга", *zgupi* "группа", *ckari* "быстрый", *ckmeta* "щипать", *vički* "куст", *ckua* "ум" и мн.др. Можно было бы предположить, что эти основы появились в грузинском уже после того, как закончило свое действие правило перехода таких же комплексов в шипящие. Однако этому противоречит тот факт, что к некоторым из них имеются надежные ПГЗ и ПК параллели: (19) груз. *zger-* "биться, трепетать", мегр. *zgar-*, *zgal-* "дрожать"; (20) груз. *ckvet-* "наострять уши", мегр. *ckvirini*; (21) груз. *zger-* "бить, вонзать", сван. *zger-*; (22) груз. *zgide* "перегородка", мегр. *zga* "берег реки"; (23) груз. *ckepla* "розга", мегр. *ckapul-*; (24) груз. мегр. *zgeb-* "набивать туго, конопатить", лаз. (n) *zqip-* "конопатить", сван. *zgeb-* "набивать (туго); (25) груз. *cek-* "долбить, размягчать ударами", мегр. *ckaek-* "разламывать, расщеплять", лаз. *caek-* и др.

Второй аргумент Мачавариани оказывается еще более убедительным и эффективным. Он обращает внимание на то, что в соответствии с реконструкцией Шмидта в ПК ожидается два ряда сибилантно-увулярных ГДК – со свистящими (*sx, *zɣ и т.д.) и с шипящими (*ʃx, *zɣ...), потому что при этой реконструкции в ПК могут быть восстановлены только два ряда сибилантов. Однако в действительности таких рядов обнаруживается три, см. Табл. 3:

Таблица 3

Фрагмент системы соответствий для сибилантно-увулярных комплексов

	Грузинский	Занский и сванский	ПК по Мачавариани	ПК по Шмидту
(27)	cx	cx	*cx	*cx
(28)	cx	čx	*c ₁ x	*čx
(29–31)	čx	čx	*čx	???

Примеры: (27) ПК *cx(w)ek "хворост": груз. cxvek- "хворост, сухие сучья", лаз. cxik-, сван. cxek "лес"; (28) ПК *c₁xɣa "девять": груз. cxɣa, мегр. čxoro, лаз čxo(w)ro, сван. čxara; (29) ПК *čxib "спутывать, шить": др.-груз. čxib- "запутывать, спутывать", сван. -šxeb- (регулярно из *-čxeb-) "шить"; (30) ПГЗ *čqlet- "давить": груз. čqlet-, мегр. čqilat-; (31) ПК *čxartw "сорока": груз. čxartv- "род сороки", сван. čxirwišt, cxurušt, čxərišt.

Наличие третьего ряда (29–31) сибилантно-увулярных соответствий прямо следует из реконструкции Мачавариани, но несовместимо с реконструкцией Шмидта. По Мачавариани, все три ряда сибилантов могут образовывать комплексы с увулярным элементом; при этом комплексы с шипящим и увулярным отражаются в занском и сванском в том же виде, что и в грузинском, поскольку наличие увулярного препятствует развитию велярного компонента; таким образом, мы видим в занском и сванском позиционно обусловленную реализацию обычного рефлекса ПК шипящих. Однако для реконструкции Шмидта факт наличия тривиальных шипяще-увулярных соответствий типа (29–31) оказывается совершенно необъяснимым: в качестве источника шипяще-увулярных комплексов в грузинском пришлось бы постулировать тройные комплексы вида *čkx, с двумя заднеязычными элементами, велярным и увулярным, что невозможно – гармонические децессивные комплексы в картвельских языках могут быть только бинарные.

На первый взгляд доводы Мачавариани совершенно неотразимы. Однако дальнейший анализ того материала, на который опираются эти доводы, во многом подрывает их убедительность. Прежде чем вернуться к этой теме, рассмотрим стоящую перед нами альтернативу еще с нескольких сторон.

4. Типологические аргументы Меликишвили. В 1980 г. И. Меликишвили вновь привлекла внимание к реконструкции Шмидта в статье [25], посвященной проблеме типологической верификации реконструкции сибилантов в ПК. Во-первых, ей удалось показать, что фонетическая интерпретация ПК сибилантов второй серии как свистяще-шипящих, или "средних", сибилантов противоречит данным типологии, так как они статистически преобладают в системе аффрикат, а в классе спирантов, хотя и уступают свистящим, но преобладают над шипящими. Эти данные обнаруживают несходство с реально засвидетельствованными системами, включающими свистяще-шипящие, в которых они занимают явно периферийное положение. Если же принять реконструкцию К.Х. Шмидта или фонетическую интерпретацию реконструкции Г. Мачавариани, предложенную Г. Церетели, в которых предполагается, что первая серия соответствует ПК свистящим, а вторая – ПК шипящим, то полученное соотношение (преобладание свистящих в классе спирантов и шипящих в классе аффрикат) выглядит типологически правдоподобно.

Далее, И. Меликишвили обнаружила, что частотность велярных смычных в ПК в реконструкции Мачавариани оказывается ниже типологического допустимого уровня.

Естественно предположить, что веллярные смычные в этой реконструкции оказались "поглощены" шипящими, и принятие реконструкции Шмидта восстанавливает типологически правдоподобное соотношение локальных рядов в классе смычных. Наконец, И. Меликишвили приводит и чисто этимологические аргументы, верно указывая на некоторые уязвимые места в аргументации Г. Мачавариани, о чем подробнее ниже, в разделах 8–9.

5. Абруптивные аффрикаты в сванском: аргумент Климова. Как установил В. Топуриа [26], ПК абруптивные аффрикаты в сванском при невыясненных условиях могут давать один из следующих вариантов: *h/j/θ*. Примеры: (32) ПК **çwd* "давать": груз. *çwd* "предоставлять", сван. *hwd* "продавать"; (33) ПК **çam* "есть, кушать": груз. *çam*, мегр. *çkom*-, *çkum*-, лаз. *çkom*-, *škom*-, сван. *ēm*-; (34) ПК **kwircx* "бодрствовать, просыпаться": древнегруз. *m-kwircx-e* "бодрствующий", мегр. *kwircx* "бодрствовать, просыпаться", лаз. *kuncx*-, сван. *jecx* - *licx* < **kwircx* "просыпаться"; см. также (10). Еще в 1960 г. Г.А. Климов указал на этот факт как на свидетельство против кластерной реконструкции [2, с. 29]: правило должно было продействовать до перехода шипящего в кластер, иначе трудно объяснить, почему выпадение аффрикаты повлекло за собой выпадение и веллярного смычного.

Дело осложняется тем, что, как мы видели, независимая инновация в сванском и занском все равно почти невероятна: по Гамкрелидзе и Мачавариани, это инновация в "западнокартвельской" группе диалектов праязыка. Таким образом, придерживаясь теории Мачавариани, мы должны будем допустить локальную инновацию в протосванском до совместного с занским перехода шипящих в комплексы. Следуя же теории Шмидта, придется признать вероятным сохранение какой-то симультанной, т.е. "одновременной", артикуляции компонентов комплекса в сванском уже после его отделения от ПК. Трудно сказать, которое из двух предположений выглядит более приемлемым.

6. Правило Гамкрелидзе. Обратимся к таблице 2. Мы видим, что грузинские шипящие могут соответствовать занским и сванским шипящим (11, 13, 16, 17) либо свистящим (12, 14, 16, 18) в составе комплексов. Реконструкция Мачавариани сводит эти пары соответствий воедино; следовательно, требуется позиционное распределение, желательнее то же самое для всех пар. Такое распределение было предложено в 1959 г. Т. Гамкрелидзе [1]:

(35) Группы **škw*, **žgw* и **rčk* в занском и сванском дают свистящие рефлексy: *skw*, *žgw*, *rck*.

В подтверждение правила (35) приводился, в частности, следующий материал: (36) ПГЗ **ešw* "кабан, свинья": груз. *ešv*-"клык", мегр. *osku* <**o-askw-u* "свинарник"; (37) ПК **ekws*₁ "шесть": груз. *ekvs*-, мегр. *amšw*-, лаз. *a(n)š*-, сван. *usgwa* <**ušgwa* < **ukšwa*, ср. индоевроп. *(*s*)*uek's-luk's*- [27]; (38) ПГЗ **purč* "шептать": груз. *puč-un*-, мегр. *purkin*- и мн. др.; см. также пример (18).

Впоследствии Б. Гигинейшвили предложил распространить действие правила Гамкрелидзе и на комплекс **čkw* [28], второй пример в подтверждение этой идеи был обнаружен Г. Картозиа [29]; Х. Фенрих и З. Сарджвеладзе применяют (35) также и к **rčk* [11, с. 19], (в виде предположения – уже у Г.А. Климова [10, с. 208]).

Несмотря на то, что правило Гамкрелидзе было довольно единодушно признано другими авторами, по мере расширения ПК и ПГЗ материала обнаруживалось все большее количество исключений. Так, недавно Г. Рогава [30] и М. Сухишвили [31] обратили внимание на нарушение этого правила в обнаруженных ими новых картвельских этимологиях, см. ниже соответственно (57–58) и (51). Это обстоятельство заставляло искать какое-то уточнение или поправку.

Такая поправка была предложена Г. Картозиа [32, 33]: переход шипящего в свистящий по правилу Гамкрелидзе не происходит в том случае, когда после *w* следует гласный *i*, восходящий к ПК сонанту //i/, принадлежащему основе (но не к *i* вторичного

образования). Для того, чтобы обосновать эту поправку, Г. Картозиа приходится принять некоторые сложные допущения: заменять более надежный этимологический эквивалент для занского *škw-* "пускать" в виде груз. *šw-* более рискованным груз. *sik(w)-* "посылать", предполагать для зан. *ška* "середина", и **žinčkw-el-* "муравей" особые факторы, препятствовавшие развитию свистящих и т.п.⁶

Чтобы убедиться, насколько реально сохранение правила (35), даже с уточнением Г. Картозиа, рассмотрим вначале те случаи, когда условие этого правила выполняется, но тем не менее в занском и сванском сохраняется шипящий:

(39) ПК **pšw-en* "крошить, рыхлить": груз. *pšv-en-*, сван. *puršgw-īn-*; (40) ПГЗ **ma(n)čw* "барсук": груз. *ma(n)čv-*, мегр. *mu(n)čkw-*, лаз. *munčk(w)-*, *munčx-*; (41) ПГЗ **mšwild* "лук (оружие)": груз. *mšvild-* мегр. *škwil-*, *škwind-*; (42) ПК **čw* "мерцать, блестеть": груз. *čvir-* "просвет", *gamo-s-čviv-is* "просвечивает", мегр. *čkvačk-* "блестеть", лаз. *čk-* "накаливать, выжигать", сван. *čk-* "мерцать"; (43) ПК **šwid* "семь": груз. *švid-*, мегр. *škwit-*, лаз. *šk(w)it-*, сван. *išgwid*; (44) ПГЗ **žwižw* "неряшливо выглядеть": груз. *žīža* (кизик. д-т) "грязная, неряшливо одетая женщина", мегр. *žgwižgwin-* "неуклюже выглядеть"; (45) ПГЗ **ničw* "морда, губа": груз. *ničv-*, мегр. [*ničkw-*] (имеретинский заннизм); (46) ПГЗ **laš* "губа": груз. *laš(w)-* "губа (животного), рот", мегр. *lečkw-*, лаз. *lešk-*; (47) ПК **šw-* "пускать, оставлять": груз. *šw-*, мегр. лаз. *šk(w)-*, сван. *šgwān-* (по Т. Гамкрелидзе и Г.А. Климову, действию правила мешала основа **šk* "связывать" [1, с. 71; 10, с. 214]; ср., однако, сван. *čwēn- <*šk* *w-ēn-* "завязывать"); (48) ПК **šwid* "душить, топить, тонуть": груз. *xrč-*, мегр. *škwid-*, лаз. *šk(w)id-*, сван. *šgud-*; (49) ПГЗ **čwen/čqn* "наш": груз. *čven-*, мегр. *čkan-*, *čkin-*, лаз. *čkun-*, *čkin-*, сван. *-šgwē-j* второй элемент притяжательных местоимений 1 л. мн. ч.; (50) ПК **čəčw* "размягчать": древнегруз. *ččw-*, мегр. *čkičkar-*, сван. *mē-šgw-e* "мягкий", откуда ПГЗ **čəčw-il* "мягкий", см. [10, с. 221]; (51) ПК **pšw* "гладить, ощупывать": древнегруз. *pešw-* "щупать", сван. *pāšgw-* "гладить, ласкать" [31]; (52) ПГЗ **rč* "слушать(ся)": груз. *rč-*, мегр. *rčk-* "слушать(ся), слышать"; (53) ПГЗ **čerč*: груз. *čerč-* "мякина", мегр. *čkarčkal-* "грубо молоть"; см. также выше (13).

Очевидно, что условие, сформулированное в правиле Гамкрелидзе, не является достаточным, причем только примеры (41, 43, 44 и 48) могут быть объяснены с помощью поправки Г. Картозиа. Однако оно же не является и необходимым, что ясно из нижеследующих примеров:

(54) ПК **ečo* "рубанок": груз. *ečo*, сван. *ackw*; (55) ПГЗ **žil* "шить": груз. *žil-*, мегр. *nžgil-*; (56) ПГЗ **šin* "бояться": груз. *šin-*, мегр. *rskin-*, лаз. *skin-* (в [10, с. 217] Г.А. Климов, а вслед за ним и Х. Фенрих и З. Сарджвеладзе [11, с. 382] реконструируют **šwin* только исходя из (35)); (57) ПГЗ **žil* "корни деревьев в воде": груз. диал. *žile*, мегр. *onžgile* [30]; (58) ПГЗ **mčor* "помет животных": др.-груз. *mčore*, мегр. *ckəra*, *ckira* "содержимое кишок животных" [30]; (59) ПГЗ **šib-* "каменная плита": груз. *šib-*, мегр. *skibu* "жернов", лаз. *mskibu* "мельница" (опять-таки, Фенрих и Сарджвеладзе реконструируют **šwib*, не имея другого основания, кроме (35) [11, с. 381], у Климова иначе [10, с. 218]); (60) ПГЗ **šen* "твой": груз. *šen-*, мегр. *skan-*, *škan-*, лаз. *skan-*, *ckan-*.

⁶ Г. Картозиа предполагает, что перед слоговым *и* переход в свистящий не имел места, ср. там же сопоставление груз *šuš-* "иссушать, пропекать" – лаз. *šmšk-* "пропекать, жарить" и разбор занского **škua* **škwa* *ška* "середина"; ср. также ПГЗ **čur-* "сосуд" и мегр. *čkuž*, ПГЗ **šurd-* "праща" – мегр. *škurd-on-* и (11). Однако авторы обоих этимологических словарей распространяют действие правила и на позицию перед *и*, комментируя, например, развитие ПК **šub-* "лоб, передняя часть": груз. *šubl-* "лоб", сван. *sgobin* "вперед": [10, с. 218; 11, с. 20], а также ПК **ši-* "подобать": лаз. *msku-* "красоваться, гордиться", сван. *sgu-* "подобать, идти (об одежде)" [10, с. 217]. Несложно увидеть, что обе гипотезы опираются на взаимно противоречащие данные.

Особого комментария требует (60), где сванская параллель содержит свистящий в согласии с (35). Вопреки всей предшествующей этимологической традиции, автор этих строк с большим сомнением относится к непосредственному сближению ПГЗ *ʒen со сван. *isgu* "твой" (вариант *isgwi* – обычный поздний умлаут под действием показателя номинатива -i). Г.А. Климов, объединяя эти формы, реконструирует в основе -w-: ПК *ʒwen, во-первых, исходя из доказанности правила Гамкрелидзе, и, во-вторых, интегрируя сванский ауслат [10, с. 216]. Однако в сванских местоимениях 1 лица перед таким же лабиальным элементом шипящий сохраняется: *mi-ʒg-u* "мой", *gu-ʒg-w-ē-j* "наш"; кроме того, -и может представлять собой морфологический элемент, возникший на сванской почве; в грузинско-занском сочетании ʒw перед гласным он сохранился бы или дал *ʒo-, ср. ПК *ʒw "пускать", *ʒwid "семь", ПГЗ *eʒw "кабан", *ʒwel "косуля". Вообще заметим, что легко восстанавливаемый протосванский облик притяжательных местоимений не слишком близок ПГЗ местоимениям⁷, ср.:

Протосванский:	Прагрузинско-занский:
*mi-Ĉk-u "мой"	*ĉem/ĉqm
*i-Ĉk-u "твой"	*ʒen
*gu-Ĉk-w-ē-)	
guʒgwē-j "наш (инкл.)"	
*ni-Ĉk-w-ē-)	*ĉwen/ĉqn
niʒgwē-j "наш (экскл.)"	
i-Ĉk-w-ē-) isgwē-j "ваш"	*ikwen

Добавим также, что правило вида *rĉk > rck не может быть распространено в занском и сванском на сочетание *rʒg, что, конечно, ослабляет его объяснительную силу (примеров на *rĉk не обнаруживается; на *rĉk примеры есть, например, (16)): (61) ПГЗ *barʒ "подпорка, кол": груз. *barʒ- "палка (раздвоенная)", мегр. [bo(r)ʒg-] "подпорка" (занизм, засвидетельствованный только в западногрузинских диалектах), лаз. boʒg- "ветвистое дерево". (62) ПГЗ *γrʒ-il "десны, задние зубы": груз. γrʒil-, мегр. ʒirgil- "десны", лаз. γinʒgil- "десны, жало (пчелы)".

Поскольку аксиоматика сравнительно-исторического языкознания отвергает возможность спонтанных фонологических изменений, результирующих в двух или более позиционно необусловленных вариантах, остается признать одну из двух возможностей: 1) комплексы со свистящими и комплексы с шипящими в занском и сванском отражают разные единицы праязыка или 2) рефлексy обоих типов распределены в соответствии с некоторым правилом, которое еще не обнаружено.

Совершенно очевидно, что позиция К.Х. Шмидта здесь сильно выигрывает. Реконструкция Мачавариани нуждается в подобном распределении: без него невозможно приписать единый ПК эквивалент грузинским шипящим. Наоборот, в реконструкции Шмидта на ПК уровень проецируется тот комплекс, который обнаруживается в занском и сванском, неважно, включает ли он свистящий или шипя-

⁷ Чтобы сблизить ПГЗ притяжательные местоимения со сванскими, необходимо предпринять довольно рискованную внутреннюю реконструкцию и допустить, что они также образованы от сочетаний личных местоимений с суффиксом, этимологически тождественным сванскому *Ĉk-u, но не содержащим лабиализации: *mi-ĉ-en, *si-ĉ-en, *gu-ĉ-en (здесь, кстати, убедительней выглядит реконструкция по Шмидту в виде ПГЗ *ĉkwen), *iku-ĉ-en (опять-таки естественней выглядит tkwen (*tkuĉken)). Интересно, что В.М. Иллич-Свитыч тоже предполагал, что притяжательные местоимения в ПК образованы от личных с помощью морфемы *ĉ(e), не содержащей лабиализации, однако постулировал обратный порядок морфем: *ĉe-mi)*ĉem, *ĉ-s-en)*ĉen, *ĉ-m-en)*ĉwen и т.д. [34], что сомнительно по типологическим соображениям (изменение синтаксической формы имени, маркируемое префиксом?), и, кроме того, противоречит порядку морфем в притяжательных местоимениях, засвидетельствованному в сванском языке. К возможности нерегулярной фонетической "компрессии" личных местоимений ср. хотя бы широко известное испанское *Usted* "Вы (вежл.)" (< *Vuestra Merced* "Ваша милость").

щий. В грузинском оба вида комплексов единообразно дают шипящие, и никакого распределения, аналогичного по своей функции правилу Гамкрелидзе, не требуется.

Заслуживают внимания также некоторые занские и сванские слова явно исконого происхождения, которые содержат комплексы *sg/ʃg*, *ck/čk* и т.д., но не имеют надежных этимологических параллелей в других картвельских языках. В этих словах также должно бы наблюдаться рассматриваемое позиционное распределение. Однако в действительности такого распределения нет, ср. в сванском: *lemesg* "огонь", *lesg* "бок", *miʃgw(a)ri* "гость", *sgiri* "земляной пол", *-sgid-* "видеть", *-qwesg-* "красться", *sgobi* "глубокий"; в мегрельском: *skuboč-* "прилеплять", "строгать", *ʃkw-* "ударять, вонзять", *ckalat-* "быстро отсекают", *(n)zgil-* "держат в зубах"; в лазском: *ckap-* "силки" и др.

7. Лакуны в системе ПК гармонических комплексов. Перейдем к рассмотрению системных соображений за или против каждой из двух гипотез. Участники дискуссии пока обращали мало внимания на этот аспект проблемы; ему частично посвящена лишь статья Х. Фенриха [35]. Автор исходит, например, из предположения о том, что превербы в картвельских языках могут иметь лишь структуру #CV- (ср. однако, самые употребительные в сванском превербы *ad-*, *an-* и *es-*). Поэтому, выбирая из двух реконструкций для преверба *ʃe- или *ʃke-, мы должны учитывать, что последняя форма представляет "абсолютное исключение среди общекартвельских префиксов" [с. 40]. Таким же образом он ссылается на структуру ПК корня #CVC, действительно наиболее частотную, хотя не единственно возможную. При этом Х. Фенрих сам указывает, что ГДК и сочетания с *w* в фонотактическом отношении тождественны одиночным согласным, — отсюда как будто следует, что реконструкция комплекса вместо сибиланта не может противоречить ПК структуре префикса и корня. Х. Фенрих безусловно прав в том отношении, что ГДК не содержатся в составе грамматических мофем; правда, превербы являлись в ПК скорее не префиксами, а проклитиками (если рассматривать как архаизм их синтаксические свойства в древнегрузинском и в сванском).

Для того, чтобы оценить системные достоинства каждой реконструкции, необходимо установить, какое место занимают реконструированные единицы в языковой системе. В данном случае решение интересующей нас задачи неотделимо от решения более общей проблемы реконструкции всей системы гармонических децессивных комплексов в ПК; на наш взгляд, именно в самом строении этой системы обнаруживается важнейшее свидетельство в пользу реконструкции К.Х. Шмидта.

Будем исходить из того известного факта, что гармонические комплексы в картвельском образуют регулярные серии по локальному ряду и способу образования как первого, так и второго компонентов⁸. Система децессивных комплексов в ПК примет наиболее логичный и полный вид, если мы предположим, что первоначально имело место полное совпадение элементов комплекса по способу образования, а затем произошла фрикативизация увулярных смычных: глухого *q* и звонкого *G*: *cq* > *cx* и *zG* > *zɣ*, а также переход несмычных велярных элементов в смычные. В таком случае раннекартвельский облик ГДК приобретет следующий вид: *pk*, *pq*, *bg*, *bG*, *tk*, *tq*, *dg*, *dG*, *tk*, *tq*, *sx*, *sɣ*, *zɣ*, *zB*, *ck*, *cq*... и т.д. Отсюда ясно, что ГДК на этом, более раннем, чем ПК, уровне, образуют стройную систему, и в основе соответствующей артикуляции лежат некоторые постоянные фонологические признаки, образующие тернарную оппозицию: немаркированный признак /θ/, дающий отсутствие комплекса:

⁸ Ср. с этой ситуацией, например, в славянских или нахских языках, где при обилии кластеров, неоднородных по происхождению, они не образуют системы.

признак /K/, дающий комплекс с велярным: признаком /Q/, дающий комплекс с увулярным.

Какова могла быть фонологическая природа этих признаков? Некоторые факты указывают на *просодический* характер комплексообразующих факторов в раннем ПК: 1) комплексы встречаются только в корневом материале (и, если принять реконструкцию Шмидта, – также в некоторых словообразовательных морфемах, однако экспрессивный суффикс *-eç- обнаруживается только на ПГЗ уровне; о проклитике *še/ša- см. выше); 2) в одном корне не может встретиться более двух комплексов [15, с. 305] (удвоение комплексов в мегрельском представляет собой несомненно позднейшее явление [36]); 3) наличие колебаний вида груз. *b̄yart̄i/bart̄qi* "птенец", где второй элемент комплекса не имеет фиксированного места в корне [37]. Фонетическая интерпретация этой просодии пока не может быть ясна (возможно, веляризация для /K/ и фарингализация для /Q/ или нечто подобное). Подчеркнем, что уже на ПГЗ уровне, и, скорее всего, и в самом ПК на момент его распада нет оснований говорить о просодическом характере единиц, соответствующих ГДК.

Итак, ПК комплексы должны бы представлять собой замкнутую и полную систему, и поэтому огромное значение имеет тот факт, что в этой системе обнаруживаются значительные лакуны (в скобках даны ссылки на единичные примеры):

Таблица 4

**Система пракартвельских ГДК в предположении
правильности консонантной реконструкции Г. Мачавариани**

Серия с велярным:		Серия с увулярным:
<i>pk</i>		<i>px</i>
<i>bg</i>		<i>bɣ</i>
<i>tk</i>		<i>tx</i>
<i>dg</i>		<i>dɣ</i>
<i>tk̄</i>		<i>tq̄</i>
<i>sk</i>	} отсутствуют	<i>sx</i>
<i>zg</i>		<i>zɣ</i>
<i>s₁k</i>		<i>s₁x</i>
<i>z₁g</i>		<i>z₁ɣ</i>
<i>šk̄</i>		<i>šx</i> – отсутствует
<i>žḡ</i>		<i>žɣ</i> – (86, 87)
<i>ck</i>		<i>cx</i>
<i>c₁k</i> – (79)		<i>c₁x</i>
<i>čk</i>		<i>čx</i>
<i>ɜg</i>		<i>ɜɣ</i>
<i>ɜ₁g</i> – (19)		<i>ɜ₁ɣ</i>
<i>žg</i> – отсутствует		<i>žɣ</i>
<i>çk̄</i>		<i>çq̄</i>
<i>c₁k</i> – отсутствует		<i>c₁q̄</i>
<i>čk̄</i> – отсутствует		<i>čq̄</i>

За недостатком места мы не приводим иллюстраций межъязыковых соответствий комплексов; нижеследующая таблица в основном заимствована из книги Г. Мачавариани [9, с. 81 и далее], с некоторыми уточнениями и дополнениями:

Соответствия для ПК гармонических комплексов

ПК	Грузинский:	Мегрельский:	Лазский:	Сванский:
*pk	pk	k, rk	mk	pk, tk(?)
*px	px	x	mx, px	px
*bg	bg	(n)g	bg, mg	?
*bγ	bγ	γ	?	bγ
*tk	tk	ik	ik	(t)k
*tx	tx	tx	tx	tx
*dg	dg	dg	dg	(d)g
*dγ	dγ	dγ	dγ	dγ
*tk	tk	tk	tk	tk
*tq	tq	tq	tq, tk	tq
*sx	sx	sx, cx	cx	cx, sx
*zγ	zγ	zγ	zγ	zγ, ʒγ
*s ₁ x	sx	ʒx	čx, čk	ʒx
*z ₁ γ	zγ	?	?	ʒγ
*ck	ck	ck	ck	?
*cx	cx	cx	cx	cx, sx
*c ₁ k	ck	čk	?	?
*c ₁ x	cx	čx	čx	čx, ʒx
*čk	čk	čk	čk	?
*čx	čx	čx	čx	čx, ʒx
*ʒ8	ʒ8	ʒ8	ʒ8	?
*ʒγ	ʒγ	ʒγ	ʒγ	?
*ʒ ₁ 8	ʒ8	ʒ8	?	?
*ʒ ₁ γ	zγ	ʒγ	ʒγ	ʒγ
*zγ/ʒγ	zγ, ʒγ	ʒγ	zγ	ʒγ, zγ
*čk	čk	čk	čk	?
*cq	cq	cq	čk	sq, cq
*c ₁ q	cq	čq	č(k)	šq
*čq	čq	čq	čk	šq(?)

Лакуны в системе ПК гармонических децессивных комплексов, реконструированной Г. Мачавариани, являются, с нашей точки зрения, сильнейшим доводом в пользу альтернативной реконструкции К.Х. Шмидта. Решающим обстоятельством является, конечно, не сам факт наличия этих пробелов, а то, что в ПК системе, реконструированной по Мачавариани, отсутствуют именно те ГДК, которые в реконструкции Шмидта возводятся на ПК уровень, сохраняются в занском и сванском и в грузинском дают шипящие.

Реконструированная система ГДК была бы гораздо более убедительным свидетельством в пользу реконструкции Шмидта, если бы нам удалось установить вторичное происхождение всех комплексов вида (63) *SK или (64) *ŠQ, где S – любой сибилант, а Š – шипящий, которые и составили основание для обоих аргументов Мачавариани, – напомним, что первый аргумент апеллирует к комплексам (63), а второй ссылается на (64). Ниже мы постараемся показать, что по крайней мере некоторые основы с (63–64) в грузинском к моменту действия правил вида *sk > š и т.д. могли еще не содержать в себе комплексов.

8. Редуцированные основы. Первый аргумент Мачавариани опирается, в частности, на некоторые грузинско-занские редуцированные основы вида: груз.

#C₁VC₁K(-n-): мегр. #C₁K₁VC₁K₁(-on): лаз. #C₁VC₁K₁(-on), где C – переднеязычный шумный, K – веларный компонент ГДК, V – гласный, который может сопровождаться сонантом; заключенный в скобки суффикс представлен в части основ. Таких основ насчитывается около восемнадцати, из них десять содержат сибилантно-веларные комплексы. Приведем лишь три примера: (65) груз. *ceçk*- "размельчать зубами, жевать", мегр. *çkaçk*- "жевать"; (66) груз. *zežg*- "мягко стучать", мегр. *žgažg*- "бить, мягко стучать", лаз. *žažg*-; (67) груз. *çeçk*- "мелко резать", мегр. *çkaçk*-; сюда же (26). Для мегрельского Т. Гудава предложил правило, которое в нашей нотации можно записать как празанск. *#C₁VC₁K-> мегр. #C₁K₁VC₁K₁-; это же правило действует в мегрельском и при адаптации поздних заимствований [10, с. 23].

Большинство таких основ представляет собой очевидные дескриптивные редуPLICATIONИ, ср. указанную З. Сарджвеладзе сванскую параллель к (68) груз. *zizgn*- "щипать (крупно)", мегр. *zəzəgn-on*-, *zəzəzgn-on*- в виде -zgn- "жевать" [38]. Гипотеза частичной редуPLICATIONИ наталкивается, однако, на трудность определения характера исходной основы (*eçk? *çk?...), и поэтому естественно предположить в качестве источника таких основ полную редуPLICATIONИ (на возможность такой трактовки указал автору С.Л. Николаев): *#C₁V₁K₁-C₁V₁K₁-, затем действовало упрощение в #C₁VC₁K-, а затем в мегрельском – правило Гудава. Итак, для (68) реконструируем *zīg-zīg-(ŋ) > zizgn-, и аналогично для других основ.

Решающим свидетельством здесь является этимология для (69) ПГЗ *tiq-tiq-ŋ "пачкать(ся)": груз. *titxn*-, мегр. *txitxon*- и для (70) ПГЗ *ding(w)-ding(w)-el "черный воск (прополис), смола": груз. *dindgel*- "черный воск", мегр. *dgwindgw*- "смола", лаз. *dindgu*, *dundg*- "черный воск". (69) неотделимо от (71) ПГЗ *Tiq-a "почва, глина, грязь": древнегруз. *tiqa*-, мегр. *dixa*, *dexa* "почва, земля, место", лаз. (*n*)*dixa*, а (70) содержит фонетическую имитацию звука падающих капель, впоследствии стертую под действием упрощения.

Уже И. Меликишвили в полемике с Г. Мачавариани указала на то, что в результате активно действующих синхронных механизмов образования идеофонических основ в грузинском и мегрельском возникает "иллюзия звукового соответствия" [25, с. 53–54], ср. в грузинском основы рассмотренного вида *cickn*-, *çičkn*-, *zizgn*-, *çiçkn*... и в мегрельском соответственно *ckickon*-, *çkiçkon*-, *zəzəzgon*..., все приблизительно со значением "отщипывать" (более или менее крупными кусками – в зависимости от ларингального признака и типа аффрикаты), а также на регулярный характер соотношений типа груз. *zag-zag*-/zīg-zīg-/zəzəgn-an-/ zizgn-in- "дрожать". Мы можем добавить также (19), которое явно восходит к *zīg-er/zīg-er (суффикс выделен Х. Фогтом [39, с. 49]), а груз. *zīg-zīg*-и *zag-zag*- вероятно, позднейшие удвоения основ *zīg- и *zīg- (в реконструкции по Шмидту – *žīg- и *žīg-).

9. Суффиксальные образования с редукцией. Можно предполагать, что и некоторые другие комплексы вида (63) и (64) являются вторичными и возникли в результате редукции корневого гласного (в грузинском – уже после того, как продействовало предполагаемое в реконструкции Шмидта правило, превратившее комплексы в шипящие). Примером такого вторичного комплекса может быть груз. *tq*-*d-eba* "ломается", ср. полную ступень в *tex-s* "ломает". Разобранный только что пример (19) – явный результат редукции под воздействием содержащего гласный суффикса. Аналогично и (24) может восходить к *çek-er-ŋ, ср. груз. (гурийск. диал.) *çek*- "срывать, отрывать", -er- известный экспрессивный суффикс, и ПГЗ *ç(e)k-er "разрезать, мелко расщеплять": груз. *çker*-, мегр. *çkar*-.

Можно предполагать, что иногда комплекс мог возникать и в результате редукции суффикса: (72) ПГЗ *pɾç₁(-Vk)-wŋ "очищать от шелухи, лущить": груз. *pɾckvn*-, мегр. *pɾçon*-, лаз. *pɾncul*-; этот корень засвидетельствован также в (73) ПГЗ *pɾç₁-el "шелуха, листва": груз. *pɾçel*- "лист", мегр. *pɾçə* "солома, мякина". Тот же суффикс,

возможно, создает вторичный ГДК в (74) ПГЗ **perç-Vk*- "трескаться, отщепляться": груз. *perçk-*, лаз. *pinçk-il*- "частица", *pençk-a* "отщеп" и (75) **γirz-Vk-wñ* "резать тупым ножом": груз. имер. *γirzg-n-*, мегр. *γirzg-on-/γəzg-on-*. Омонимичная с (19) основа (76) ПК **zVg-er* "бить, ударять, вонзать": груз. сван. *zger-* с тем же суффиксом может быть сближена с (77) ПК **zVg-ib* "набивать (туго)": груз. мегр. *zgeb-*, лаз. (n)*zgir-* "конопатить", сван. *zgeb-*; к суффиксу ср. (78) ПГЗ **tq-ip* "пачкать, мазать" от корня (71): груз. мегр. *txip-*; (79) ПГЗ **c₁k-ip* "отломанная веточка": груз. *ckip-* "отломанная веточка", мегр. *čkip-* "вилка". Полная ступень, возможно, представлена в груз. (имер., гур.) *zeg-* "выбивать зерно палкой" (не исключено и *zeg-l-* "памятник" < ? "выбитое, высеченное"). Аналогичным образом и (80) ПГЗ **çkñd* "сучить нитку; сочиться" может быть связано с груз. *çik-* "тянуть"⁹.

Подобный анализ допустим и для комплексов с шипящими и увулярными: ПГЗ основы (81) *čx-ir* "палка" и (82) **me-čx-er* "редкий, мелкий" могут быть возведены к **čkVx-ir* и **me-čkVx-er-* (по предположению Г.А. Климова, (82) восходит к ПГЗ **čxç* "шуметь (о воде)" [40]). Для определения возможности такой трактовки требуется дополнительное изучение ПГЗ словообразования и правил редукции гласных.

10. Идеофонические основы. Сам Г. Мачавариани отмечал, что ПК и ПГЗ основы с шипяще-увулярными комплексами – то есть именно тот материал, который свидетельствует в пользу сибилантной реконструкции – в основном, кроме двух-трех случаев типа (81), относятся к идеофонической лексике [9, с. 55]. И. Меликишвили делает из этого вывод, что при действующих в языках активных механизмах, использующих признак "шипящий vs. свистящий" для образования экспрессивных вариантов, трудно опираться на соответствующие сближения при реконструкции; поэтому ненадежным является соответствие груз. *čx* – зан. *čx*, сван. *žx*, обнаруживаемое в (29) выше, если учесть грузинские варианты *xlart-/čxlart-* с тем же значением "заплетать, спутывать" [25, с. 55]. Ср. аналогичные соображения по поводу (83) груз. *çil-*, зан. *čkir-* "гнида", которое не может рассматриваться как свидетельство регулярного звукосоответствия, так как свистящая аффриката вместо ожидаемой шипящей имеет дескриптивное происхождение – свистящие коррелируют с малой величиной обозначаемых предметов (трактовка Т. Гудава, упомянута в: [9, с. 42]).

Дескриптивным фактором может быть объяснено и сохранение шипящего в грузинском в основе (85) ПГЗ **čxi* "кричать, каркать": груз. *čxiv-* "кричать (о птице), каркать", мегр. *rčxi-* "кричать, визжать", лаз. *čxi-* "кричать (пронзительно)", а также в двух связанных с ним названиях птиц: (85) ПГЗ **čxičw* "сойка": груз. *čxičv-*, мегр. лаз. *čxwič-* и (31). Что касается примера (30), то И. Меликишвили объясняет наличие *q* в основе регулярным экспрессивным процессом типа груз. пары *čnoba/čkñoba* "вянуть" [25, с. 52]; эта идея поддерживается и фактом существования мегр. *skalač-* < **čleč* "быстро отсекаль", восходящего хотя и к другой ПГЗ лексеме, но, по-видимому, к той же дескриптивной парадигме. Если даже гипотеза И. Меликишвили неверна, то заслуживает внимание груз. *čax-a-čix-*, *čax-an-*, *čax-un-* "треск" с возможной редукцией корневого гласного в (30).

11. Отсутствие звонкого шипящего спиранта. Может ли быть истолкован в пользу какой-либо из двух гипотез известный факт отсутствия в ПК надежных примеров на звонкий **ž* (по Мачавариани) или **zg* и **žg* (по Шмидту) [9, с. 39]? Отсутствие **ž* довольно странно хотя бы на фоне других кавказских языков – впрочем, если вслед за Х. Фогтом и Г. Церетели считать, что этот ряд не представлял собой простых

⁹ Б. Гигинейшвили указал автору на трудность, связанную с тем, что, в отличие от сванского, в грузинско-занском *i* обычно не редуцируется, однако все же это не исключено под действием некоторых суффиксов, требующих нулевую ступень корня, ср. по Фогту в груз. *čv(i)r-ef-* "смотреть" [39, с. 43].

шипящих, а был дополнительно маркирован, его ущербность понятна. Что же касается отсутствия комплекса *ʒg, то само по себе оно точно так же необъяснимо.

Тем не менее если мы предположим, что этот звонкий (т.е. слабый) комплекс подвергся лениции в виде спирантизации велярного, то будет естественно предположить развитие *ʒg > *ʒγ и *zg > *zγ. Наличие палатализованного велярного спиранта могло воспрепятствовать в грузинском переходе комплекса в ž или zγ благодаря чему ожидаемого соответствия и не наблюдается: (86) ПГЗ *ʒγwlem "комкать": груз. žγvlim-/žγvlem-, мегр. rʒγim-, лаз. žγim- "комкать"; (87) ПГЗ *mʒγr "вянуть, блекнуть": груз. mʒγr- "блекнуть" (о цветах), мегр. (b)ʒγar-, (b)ʒγir- "вянуть", лаз. žγir- "гнить".

Если наше предположение верно, то тем самым "освобождается" еще одна лакуна в системе ПК комплексов на месте предполагаемого *ʒγ, а гипотеза Шмидта получает дополнительную поддержку против второго аргумента Мачавариани.

12. Свидетельства заимствований. По мнению Г.А. Климова (устное сообщение) сильным аргументом в пользу реконструкции Г. Мачавариани является фонетический облик праязыковых заимствований, прежде всего из индоевропейского и семитского. Восточнокавказские параллели [2, с. 29] менее показательны, о чем см. ниже. Действительно, лишь одна из внешних параллелей – (88) ПГЗ *sušk- (в реконструкции по Шмидту) "сушить, выпекать": груз. šuš-, лаз. šušk- – индоарийское śušk- "сухой", (впервые у К. Бодуды [41], индоарийский характер источника определен Г.А. Климовым [42], где -k- – суффикс, неотделимый в прилагательном уже на индоиранском уровне (ср., однако śuṣ-ya- "сушить"), свидетельствует в пользу кластерной реконструкции. Однако и это соответствие, возможно, является исконным совпадением между картвельским и индоевропейским: В.М. Иллич-Свитыч [43] сопоставил грузинское слово из (88) с индоевр. *saus-/sus- "сухой", и уральск. */s/ušV- "сохнуть", когда лазская параллель еще не была известна (установлена впоследствии Г. Картозия [32]).

На ПК шипящий указывает семитско-картвельская параллель – прасемит. *šab⁵-at- "семь", ср. в особ. аккад. šibittu то же (жен. р.) – ПК (43), см. [27]. Тем не менее, не исключено, что в ПК до эпохи его распада система гармонических комплексов сформировалась из сочетаний губных и переднеязычных согласных с ларингалами через промежуточную ступень ларингальной просодической характеристики основы. Если допустить, что заимствование из семитского произошло не позднее завершения этого процесса, то могло иметь место *šib⁵it > *š⁵iwit > *šk⁵wit.

Еще две индоевропейские параллели – (37) выше и (89) ПГЗ *werz₁ "баран, самец"; груз. verz-, мегр. erž- и индоевр. *ц⁵ers "баран, самец" [44] мало показательны из-за того, что в индоевропейском фонема */s/, будучи единственным не ларингальным спирантом, обнаруживала, как это хорошо известно, широкий разброс аллофонов; во всяком случае, в тех индоевропейских диалектах, которые вероятнее всего контактировали с ПК, в позиции после r и k с весьма высокой степенью вероятности мог быть альвеолярный или шипящий.

Скорее в пользу реконструкции Мачавариани свидетельствует (90) ПГЗ *spilenz₁ "медь": груз. spilenz-, мегр. linž-, с параллелями в виде армянского pəlinz и семитского *piliž [45].

Переходя к проблеме древнейших картвельско-восточнокавказских заимствований, следует иметь в виду, что по фонетическим причинам они мало показательны. С одной стороны, картвельский ГДК мог вполне отразиться в восточнокавказском в виде шипящего из-за более строгих ограничений на сочетания согласных в последнем. С другой стороны, и восточнокавказский шипящий мог при заимствовании отразиться в картвельском в виде комплекса, так как в реконструкции Шмидта естественно допустить для восточнокартвельского ("протогрузинского") ареала противопоставление не свистящих и шипящих, а скорее свистящих и нестабильных комплексов,

переходящих в шипящие типа *c*: *ck/čk/č* – а именно в этом ареале и происходили контакты ПК с восточнокавказским. Тем не менее рассмотрим некоторые картельско-восточнокавказские параллели.

Одно из таких заимствований – (91) ПГЗ **-inčar* "крапива": груз. *činčar-*, лаз. *di(n)čkīž-* (**dinčkar-*, принадлежащее к тому же типу, что и **-isxł* "кровь", **-ec₁xł* "огонь", **-eša* "дрова", **-inčwel* "муравей" – слова, претерпевшие, по Т. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани, вначале редупликацию, а затем (в занском) диссимилиацию в анлауте [15, с. 316–317; 46]. Восточнокавказский источник здесь не авар. *mič*: "крапива", лак. *mič*, лезг. *miž* и т.д., как предполагал Т. Гудава [47], а скорее всего, працезское **'ü čVru* (**'ünčVrV* "сорняк": цез. *ečuri*, гин. *očili*, хварш. *ičila*, инхокв. *āče*, бежт. *içowa*, тляд. *ičerō*, гунз. *ičur*; значительно менее вероятно по фонетическим причинам заимствование из этимологически тождественного праавароандийского **čVr-*: авар. *čar* "сорняк", ахв. *āčare* "полоть" и т.д., а также пранахского **'āsor* "сорняк"; все вместе восходит к прасевернокавказскому **'VlčĒr* "сорняк; полоть" (сближения и реконструкции принадлежат С.Л. Николаеву и С.А. Старостину [48, с. 223]).

Несколько картельско-восточнокавказских параллелей приводится как аргумент в пользу сибилантичной реконструкции в статье Х. Фенриха [35, с. 40–41]. Он сопоставляет (59) и ботл. *š:eba* "башня", ахв. *s:eba* и т.д. По С.Л. Николаеву и С.А. Старостину, реконструируется правосточнокавк. **šəbV(-w-)* "вершина", откуда, помимо указанных форм, также авар. *š:ob* "вершина горы", багв. *š:eb*, пранахск. **šub* "вершина, граница", откуда чеч. *šū* "вершина" и т.д. Здесь налицо семантические трудности; скорее уж приемлемо (92) бежт. *sipi*, гунз. *sipi* "камень, скрепляющий крышу", ахв. *s:aba* "большой камень", дарг. *čubi* "сковорода" [48, с. 983, 361].

Х. Фенрих приводит, кроме того, несколько известных ранее параллелей с восточнокавказским, например, (15) ПК **čēd* – "ковать" и лезг. *č:ad* "кузница" и т.д. Пралезгинское **č:at*: "кузнечные меха, кузница", по Николаеву и Старостину, восходит к правосточнокавк. **čādV(č-)* "кожаный мешок", ср. працезское **š(:)idu(ž-)*: бежт. *šede* "кожаный мешок" и др. [48, с. 332].

(93) ПГЗ **(m)čad* "хлеб (из проса)": груз. *(m)čad-*, мегр. *čəkod*, *čkīd*, лаз. *(m)čkud-*, *mčkīd-* соответствует пранахскому **čuča*, аварскому *čed* и лакскому *č:at* "хлеб", бежт. (хошархот. д-т) *šōii* "плоская лепешка", дарг. *čudu* "чуду, пирог" (последнее слово дало цепь вторичных заимствований в других дагестанских языках). Николаев и Старостин реконструируют правосточнокавк. **čwāti(-e)*, однако наиболее вероятно непосредственная связь ПГЗ с пралезг. **čat* "просяной хлеб", ср. также осет. *čata* "отруби" [48, с. 349].

Для (18) известные ранее восточнокавказские параллели возводятся в [48, с. 544–545] к **HānšĒ* "правый": из рефлексов в отдельных ветвях (пранах. **'āfti-n*, пралезг. **[h]arč:*) ближе всего к картельскому праавароанд. **hanč:i* "правый"; заимствование здесь, однако, маловероятно, так как речь идет о единице базового словаря.

Для (94) ПК **wašł* "яблоко": груз. *vašł-* мегр. *uškur-*, лаз. *oškur-*, сван. *wisgw* известна параллель в виде правосточнокавк. **'āmčō* "яблоко, мушмула": праавароанд. **'imči*, працез. **'ēš*, лак. *hiwč*, дарг. *šinc*, пралезг. **hāmč*, хинал. *mič* "яблоко", пранахск. **hātmc* "мушмула" [48, с. 237].

13. Диссимилативное упрощение в занском и сванском. Известно правило диссимилиации, согласно которому (в терминах реконструкции Мачавариани) в занском и сванском не развивался велярный элемент комплекса на месте шипящего в присутствии другого велярного элемента в основе [1, с. 21; 9, с. 39]: (95) ПГЗ **čək* "затачивать, вонзать": груз. *čək-*, мегр. *čak-*; (96) ПГЗ **kreč* "стричь": груз. *kreč-*, мегр. *ķirač-*, лаз. *ķrič-*; (97) ПК **keš* "одышка, зевота": груз. (имер. гур. д-ты) *keš-el-* "одышка", сван. *keš-* "зевота" и мн. др. примеры см. в [11, с. 19 и сл.]

Это правило нелегко интерпретировать в терминах реконструкции Шмидта: пришлось бы допустить, что последовательности типа **žkek-* на протяжении длительного периода были разрешены, а затем "внезапно" возникло фонотактическое ограничение, вследствие которого они подверглись упрощению. Можно, конечно, предполагать, что просодический или симультанный характер артикуляции комплексов сохранился до момента разделения ПГЗ (что упрощало бы и проблему трактовки заимствований); однако для такого предположения нет независимых оснований.

14. Заключение. Выше мы попытались по возможности беспристрастно изложить все соображения за и против обеих возможных гипотез. Разумеется, читатель может составить себе другое мнение на основании приведенных фактов, но нам кажется, что реконструкция К.Х. Шмидта выглядит значительно убедительнее во многих важнейших отношениях, прежде всего с точки зрения простоты, системной последовательности и хронологии развития картвельской семьи языков. Только эта реконструкция является адекватной в том отношении, что она объясняет факт различных соответствий одному и тому же грузинскому сибиланту в занском и сванском. Наиболее сильный аргумент в пользу реконструкции Мачавариани – фонетический облик древнейших заимствований в картвельский или из картвельского может быть устранен с принятием некоторых простых допущений о характере артикуляции ПК и ПГЗ гармонических комплексов.

Какая из двух реконструкций выигрывает с точки зрения внешнего сравнения? Сами по себе систематические совпадения исконного картвельского материала с материалом других праязыков Евразии не могут свидетельствовать в пользу того или другого решения – требуется теоретическая интерпретация подобных совпадений. Известно, однако, что В.М. Иллич-Свитыч рассматривал картвельский консонантизм как чрезвычайно архаичный и почти тождественный реконструированному им ностратическому как по составу локальных рядов, так и по характеру ларингальных признаков (глухой: звонкий: глоттализированный). Достаточно сказать, что в ностратический им непосредственно были спроецированы три ряда картвельских сибилантных спирантов и аффрикат в соответствии с реконструкцией Г. Мачавариани.

Таким образом, ностратическая реконструкция В.М. Иллич-Свитыча сама основана на принятии одного из двух альтернативных решений для ПК. Для того, чтобы выявить независимые свидетельства в пользу того или другого решения в картвельском, требуется пересмотр этой реконструкции с учетом новых достижений уралистики, алтаистики, афразийского языкознания и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гамкрелидзе Т.В.* Сибилантные соответствия и некоторые вопросы древнейшей структуры картвельских языков. Тбилиси. 1959 (на груз. яз.).
2. *Климов Г.А.* Опыт реконструкции фонемного состава общекартвельского языка-основы // ИАН СЛЯ. 1960. № 1.
3. *Мачавариани Г.И.* О трех рядах сибилантных спирантов и аффрикат в картвельских языках // XXV международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР. М. 1960.
4. *Schmidt K.H.* Sibilanten- und Affrikätenkorespondenz in den Kartwelsprachen // *Revue de kartvélogie* Bedi Kartlisa. V. 11–12. № 36–37. 1961.
5. *Цагарели А.* Мингрельские этюды. Вып. 2. СПб. 1880. С. XI, 92.
6. *Март Н.Я.* Тубал-каинский вклад в сванском // ИИАН. 1912. С. 1092.
7. *Чикобава А.* Картвельские языки, их исторический состав и древний лингвистический облик // Иберийско-кавказское языкознание. Т. 2. Тбилиси. 1948.
8. *Polák V.* Contributions à la grammaire historique des langues kartvéliennes // *Archiv Orientální*. 1955. № 1–2.
9. *Мачавариани Г.* Общекартвельская консонантная система. Тбилиси. 1965 (на груз. яз.).
10. *Климов Г.А.* Этимологический словарь картвельских языков. М. 1964.
11. *Фенрих Х., Сарджвеладзе З.* Этимологический словарь картвельских языков. Тбилиси. 1990 (на груз. яз.).
12. *Осидзе Е.* О сибилантных соответствиях в гармонических комплексах картвельских языков // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. XVI. Тбилиси. 1989 (на груз. яз.).
13. *Ахведиани Г.С.* Основы общей фонетики. Тбилиси. 1949. С. 107–109, 301–307 (на груз. яз.).

14. *Ахведиани Г.С.* Две системы гармонических смычных в грузинском языке // Памяти Л.В. Щербы. Л., 1951.
15. *Гамкрелидзе Т.В., Мачавариани Г.И.* Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси. 1965 (на груз. яз.).
16. *Николайшвили М.* Структурный анализ редуций гласных (на материале верхнебалхского диалекта сванского языка). Тбилиси. 1984 (на груз. яз.).
17. *Schmidt K.H.* Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der Südkaukasischen Grundsprache. Wiesbaden, 1962.
18. *Vogt H.* Arménien et géorgien // Zeitschrift für armenische Philologie. 1961. № 10–12. P. 536.
19. *Deeters G.* Das kharthwelische Verbum. Leipzig, 1930. S. 2–3.
20. *Сводеш М.* Лексико-статистическое датирование доисторических этнических контактов (на материале племен эскимосов и североамериканских индейцев) // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.
21. *Климов Г.А.* О лексико-статистической теории М. Сводеша // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
22. *Старостин С.А.* Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям на Международной конференции. М., 1989.
23. *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.-Л., 1938. С. 307–308.
24. *Хелимский Е.А.* Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. М., 1982.
25. *Меликишвили И.* Общекартвельская сибилантная система с точки зрения функциональной типологии // Вопросы современного общего языкознания. V. Тбилиси, 1980 (на груз. яз.).
26. *Топурия В.* Некоторые вопросы сравнительной фонетики картвельских языков // Иберийско-кавказское языкознание. Т. XII. 1960. С. 149–159.
27. *Климов Г.А.* Заимствованные числительные в общекартвельском? // Этимология 1965. М., 1967. С. 308.
28. *Гигинейшвили Б.* К взаимоотношению *zəçvi* и *zeçvi* // Сообщения АН Груз. ССР. Т. XXXVIII. Вып. 3. 1965 (на груз. яз.).
29. *Картозиа Г.* К звукосоответствию груз. ჯი: зан. ჯკუ // Этимологические разыскания 1990. Тбилиси, 1990 (на груз. яз.).
30. *Рогова Г.* Из лексики картвельских языков (к вопросу соответствия грузинских шипящих сибилантов с занскими) // Этимологические разыскания 1988. Тбилиси, 1988 (на груз. яз.).
31. *Сухишвили М.* О сванском соответствии древнегрузинского რეზ- // Этимологические разыскания 1990. Тбилиси, 1990 (на груз. яз.).
32. *Картозиа Г.* К объяснению нарушений сибилантных соответствий в картвельских языках // Вестник АН Груз. ССР (Мацне). Сер. лит.-ры и языка. 1984. № 2 (на груз. яз.).
33. *Kartosia G.* Zur Erklärung der Störungen der Sibilanten-Entsprechungen in kartvelischen Sprachen // Z. Phon. Sprachwiss. Kommunik.forsch. 1986. № 3.
34. *Иллич-Свитыч В.М.* Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (1 – 5). Указатели. М., 1976. С. 54.
35. *Fährnich H.* Zur Rekonstruktion der gemeinkartwelischen Sibilanten // Georgica. 1982. Hf. 5.
36. *Гудава Т., Гамкрелидзе Т.* Комплексы согласных в мегрельском // Акакию Шанидзе. Тбилиси, 1981 (на груз. яз.).
37. *Жгенти С.* Сравнительная фонетика картвельских языков. I. Тбилиси, 1960. С. 86 и сл. (на груз. яз.).
38. *Sardschweladse S.* Forschungen zur Lexik der Kartwelsprachen // Georgica. 1987. Hf. 10. S. 23.
39. *Vogt H.* Suffixes verbaux en géorgien ancien // Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. bd. XIV. Oslo, 1947.
40. *Klimov G.A.* Kartwelische Etymologien // Georgica. 1988. Hf. 11. S. 21.
41. *Bouda K.* Beiträge zur etymologischen Erforschung des Georgischen // Lingua. 1950. № 3. S. 300.
42. *Климов Г.А.* Еще одно свидетельство пребывания арийцев в Передней Азии // ВЯ. 1993. 4.
43. *Иллич-Свитыч В.М.* Материалы к сравнительному словарю ностратических языков // Этимология 1965. М., 1967. С. 367.
44. *Климов Г.А.* Дополнения к этимологическому словарю картвельских языков. III // Этимология 1985. М., 1988. С. 152.
45. *Климов Г.А.* Дополнения к этимологическому словарю картвельских языков // Этимология 1971. М., 1973. С. 360.
46. *Гудава Т.* Об одном случае регрессивной дезаффрикатизации в занском (мегрело-чанском) языке // Сообщения АН Груз. ССР. XXXIII. Вып. 3. 1964 (на груз. яз.).
47. *Гудава Т.* О лексических встречах между грузинским и аварским языками // Сообщения АН Груз. ССР. Т. XV. Вып. 10 (на груз. яз.). С. 706.
48. *Nikolayev S.L., Starostin S.A.* A North Caucasian etymological dictionary. Moscow, 1994.

© 1995 г. А.К. МАТВЕЕВ

**АПЕЛЛЯТИВНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИЯ
СУБСТРАТНЫХ ТОПОНИМОВ**

Едва ли не самую сложную проблему при изучении субстратных топонимов, даже если пути их этимологизации просматриваются достаточно хорошо, составляет стратификация – установление относительной хронологии топонимических пластов, начиная с верхнего, т.е. ретроспективно. Топонимический материал вследствие своей ограниченности и специфичности далеко не всегда открывает возможности для стратификации, которая стновится поэтому одним из наиболее уязвимых мест топонимического анализа. Не исключение и русский Север (в дальнейшем – РС) с его многочисленной, пестрой по генетическому составу и структурным типам топонимией, образующей сложную мозаику ареалов, соотношение которых устанавливается с большим трудом. При этом не помогает так называемый "метод географических терминов", якобы последовательно наслаивающихся в агглютинативно-суффиксальных языках при освоении топонимии аборигенов пришельцами и тем самым прямо указывающих на соотношение топонимических типов и пластов. Это явление факультативно [1], а на РС фактически отсутствует: при неясной семантике топоосновы индикатор класса географического объекта в сущности излишен. Во всяком случае автору известно немного таких показательных примеров, как название озера *Ухтомьярское*, в котором, кроме топоосновы *ухт-*, четко выделяются русское оформление (*-ское*), прибалтийско-финско-саамский или финно-волжский "озерный" формант (*-яр-*) и загадочный компонент *-ом(ь)-*, являющийся гидрографическим термином или словообразовательным суффиксом, причем последнее более вероятно.

Поскольку структура топонимов не может сколько-нибудь эффективно использоваться для стратификации, а другие собственно топонимические характеристики, например, фонетические и ареальные, при современном состоянии изучения вопроса не составляют цельной картины и тоже приносят мало пользы при установлении соотношения пластов топонимического субстрата, есть смысл обратиться к вспомогательным данным, исследование которых, отнюдь не подменяя последующее построение стратиграфической схемы по собственно топонимическим источникам, помогает определить соотношение топонимических пластов хотя бы в общем виде и способствует процессу стратификации в целом.

Таким вспомогательным источником могут быть диалектные апеллятивные заимствования, если они образуют достаточно мощный массив, как это имеет место на РС. Поскольку семантика апеллятивных заимствований в отличие от ономастических обычно толкуется в первоисточнике, их этимологии чаще твердо установлены, что и повышает надежность операций с диалектным лексическим материалом и его сравнений с топонимическим.

Сам по себе этот прием не нов. Апеллятивные заимствования давно с успехом используются при лингвоэтнической идентификации субстратных топонимов, а именно при этимологической интерпретации топооснов и топоформантов. В общем виде на значение областного словаря для изучения субстратной топонимии указывал А.И. Попов [2–3]. Специально занимался этим вопросом автор статьи [4]. Сейчас, однако, речь идет о другом: изучение апеллятивных заимствований на той или иной

территории, предваряющее топонимические разыскания или осуществляемое одновременно с ними, может во многом определить направление топонимических поисков и способствовать стратификации топонимического материала. При этом целесообразно исходить из того, что наличие многочисленных апеллятивных заимствований в языке усвоения обычно указывает на существование генетически тождественного субстрата в микротопонимии (ойконимии), а отсутствие апеллятивных заимствований и соответственно микротопонимического субстрата свидетельствует о стратиграфически более раннем "чисто гидронимическом" субстрате и субсубстрате [5, с. 91–94]. Но это общее положение в языковой действительности реализуется по-разному. Например, на одной и той же территории количество зафиксированных апеллятивов и микротопонимов может быть велико в одном субстратном языке и незначительно в другом. В таком случае логично думать о принадлежности выявленных языковых общностей не к адстрату, а к стратиграфически разным топонимическим пластам. Разумеется, какие бы то ни было количественные (статистические) критерии, кроме самых общих противоположений (наличие – отсутствие, очень много – очень мало, много – мало, часто – редко и т.п.), при таком характере материала вводить невозможно, но уже эти противопоставления способны в ряде случаев помочь при стратификации. Точкой отсчета, однако, всегда будет массив заимствованных апеллятивов, по которому ведутся поиски того или иного топонимического пласта и устанавливается его положение относительно других пластов.

Естественно, что предложенный путь может быть реализован только при достаточном количестве как апеллятивного, так и топонимического материала, а также при качественном сборе фактов. Принципиально новые результаты можно получить только при организации массового сбора заимствований, что и осуществлено Севернорусской топонимической экспедицией Уральского университета (СТЭ) в 1961–1994 гг. наряду со сбором топонимии путем направленного поиска заимствованных слов с многократной проверкой их фиксаций на всей территории РС (Архангельская и Вологодская области).

Таким образом, языковое богатство зоны исследований и апробированная в течение десятилетий методика обеспечили определенные условия для реализации предлагаемой процедуры, при этом дифференциация субстратных и заимствованных апеллятивов не производилась [см. 5, с. 86–87, 92], кроме тех случаев, когда результаты интерпретации были настолько однозначны и показательны, что появлялась возможность уточнить характер контактов, при которых происходило усвоение иноязычных слов.

Как известно, вслед за верхним – русским – пластом, начиная со времен Шегрена и Кастрена, в субстратной топонимии РС выделяются прибалтийско-финские, саамские и пермские (коми-зырянские) элементы, причем прибалтийско-финские считаются обычно наиболее поздними, хотя иногда весь предшествующий дорусский пласт рассматривается в целом как гетерогенный адстрат.

Изучение заимствованных апеллятивов, осуществленное Я. Калимой [6, 7] и Т. Итконеном [8], во многом подтвердило разыскания знаменитых финно-угроведов XIX в., тем не менее сопоставление субстратной топонимии и апеллятивных заимствований с привлечением многочисленных новых фактов, собранных СТЭ, позволило в некоторых случаях внести уточнения в схему стратификации субстратных топонимов на РС, а иногда изменить представление об их природе.

В своем исследовании о прибалтийско-финских элементах русской лексики Калима, основываясь на многочисленных лексикографических источниках и прежде всего на словарях Даля [9], Куликовского [10], Подвысоцкого [11], рассматривает более 500 русских диалектных слов, доказывая их прибалтийско-финское происхождение. И хотя Калима, как это сейчас установлено, выявил далеко не весь прибалтийско-финский лексический материал, а иногда ошибочно включает в свой словарь явно неприбалтийско-финские слова (*пенус, телгас, шайма* и т.п.), его труд до сих пор остается непревзойденным. Некоторые упущения работы Калимы объясняются неполнотой и

другими недостатками использованных им источников. Отсюда неточности в звуковой форме слов, очень общие указания на их распространение, а, главное, отсутствие множества лексем прибалтийско-финского происхождения, распространенных в говорах РС, но не засвидетельствованных к тому времени в словарях.

Вместе с тем следует заметить, что данные словарей, которыми пользовался Калима, воссоздают весьма своеобразную картину распространения прибалтийско-финских лексем на РС: Калима ссылается на олонецкий словарь Куликовского в 315 случаях, на Подвысоцкого – в 155 (при этом на кольские, кемские, онежские говоры приходится более половины всех фиксаций). Все это ясно свидетельствует о том, что в работе Калимы отражена прежде всего лексика русских олонецких говоров, а также других смежных с карельским языком русских диалектов, тогда как в центре и на востоке РС прибалтийско-финские слова фиксируются значительно реже. Тем самым в основном адстратные олонецкие материалы невольно смешиваются с заимствованиями, локализованными на давно обрусевших архангельских и вологодских землях. Последующие разыскания вновь выявили обильную прибалтийско-финскую по происхождению лексику в зонах непосредственного контакта – в русских беломорских говорах [12] и русских говорах Обонежья [13], тогда как данные СТЭ, относящиеся к основной территории РС, воспроизводят значительно более размытую картину бытования прибалтийско-финских лексем в русских говорах, хотя и совпадающую с предшествующими наблюдениями в главном: количество прибалтийско-финских лексем на РС уменьшается с запада на восток и с севера на юг. Тем не менее, если учитывать только уже интерпретированные факты, прибалтийско-финская лексика все же явно образует преобладающий слой заимствований в пределах всего РС.

Будучи несомненно наиболее многочисленным слоем в составе заимствований, прибалтийско-финские лексемы образуют разные и порой очень специфичные ареалы – от островных до охватывающих практически весь РС. Они явно восходят к разным прибалтийско-финским наречиям как карельского, так и велского типа, а в какой-то мере возможно и к вымершим прибалтийско-финским диалектам. Однако в статье не будет затронут достойный особого изучения, крайне трудный и пока практически не исследованный вопрос о различении карельских и велских заимствованных лексем на РС и их ареальной привязке. Только полный охват топонимического и апеллятивного материала и всестороннее его изучение позволят со временем решить эту проблему. Пока же имеются только фрагменты: показано, например, наличие велского элемента в топонимии Вытегорского района Вологодской области [14], карельского – в Онежском районе на крайнем северо-западе Архангельской области [15]. Поэтому в настоящее время существеннее общий вывод о господстве прибалтийско-финского элемента в верхнем слое иноязычных заимствований и его явной неоднородности. Можно, однако, членить этот материал по другому основанию: заимствования, соответствующие фонетическим закономерностям ныне существующих прибалтийско-финских языков, и заимствования, обладающие фонетической спецификой.

В целом ряде случаев факты, приведенные Калимой, фиксируются и на РС, но при этом могут обнаружиться фонетические расхождения. Так, вместо *гудега, юдега* "иней на деревьях" на северо-востоке региона СТЭ записано слово *худега* "снег на ветках", что точнее соответствует прибалтийско-финскому оригиналу (ср. фин. *huude*, карел. *huueh*, род. п. *huudehen* "иней"), хотя слово засвидетельствовано далеко от собственно прибалтийско-финской территории.

Некоторые прибалтийско-финские по происхождению лексемы распространены очень широко и во множестве вариантов. Так, кроме слова *хонга*, главным образом в значении "сухая сосна" [6, s. 238] СТЭ зафиксированы в говорах РС в том же и близких значениях *хонгарь, хонжа, хоножка, хоножник, хоночка, хонужка, хонушка, хоньшка, хоньга, хоньжина, хонька, хонга, хонда* (при фин. *honka*, ливв. *hoņgi*, люд., велс. *hoņg* "кондовая сосна"), а также возникшие по ассимиляции *конга, конгар,*

конгор, конгочина, конжа, конжина, конжинник, конжовник, коножник, коньяга, коньяга, коньяжа, коньяжак, коньяжина. Все это богатство русских форм, кроме *хонга*, *конга*, *конда* отсутствует у Калимы. Не менее важны и выявленные ареальные закономерности: *хонга* с вариантами распространено на севере региона практически по всей Архангельской области, *конга* и варианты фиксируется на востоке Архангельской области наряду с *хонга* и на востоке Вологодской области, *конжа* на юго-востоке РС. Здесь, конечно не обошлось без обратного влияния широко распространенного в русских говорах и профессиональной среде *конда* (*хонга* > *конга* > *конда*), тем не менее ареальное распределение вторичных образований свидетельствует как о более раннем освоении русскими юго-восточной части региона, где сейчас преобладают формы типа *конга*, *конжа* с производными, так и о мощном прибалтийско-финском субстрате в северной части региона, где господствует *хонга* (с параллельным *конга* на Ваге, Северной Двине и Пинеге).

В то же время следует заметить, что многих прибалтийско-финских слов, засвидетельствованных СТЭ на РС, вообще нет у Калимы. Они могут иметь крайне узкое распространение, например, *вина* (Лепшинский сельсовет Няндомского района Архангельской области) "ловушка на рябчика" < приоб.-фин., ср. фин. *viiru*, карел.-ливв. *viiru*, *vibu*, люд. *bibu*, вепс. *bibu*, *vibu* "ловушка – силок" [16, s. 1782]. И достаточно широкое: в басс. Онеги в значениях "иней, изморозь", а также "цветущая поверхность воды", "плесень" широко употребляется слово, зафиксированное в вариантах *харм*, *харма*, *харман*, *хармаха*, *хармега*, *хармех*, *хармеха*, *хармовина*, *хармоха*, *херма*, *хермеха*, *хермиха*, *хермотина*, *хермоть*, *херьмех*, *херьмеха*, связанное с фин. *härmä*, ливв. *härmü*, люд. *härm* "иней" [16, s. 99]. Богатство форм несомненно возникло на русской почве, но первоисточником могли послужить разные прибалтийско-финские слова: *härmä*, *härm*, а также **härmäh*, восстанавливаемое по модели фин. *huude*, но карел. *huueh*, люд. *hüdeh*, вепс. *hudeg* "иней", фин. *korte*, но карел.-ливв., люд. *korteh*, вепс. *korteh* "хвощ".

Это показывает, что в явно прибалтийско-финских по происхождению лексемах на РС могут быть свои особенности образования. К их числу прежде всего относится необычная суффиксация, например, *-ус* (<*-us*) в *вихтус*, *вихлус* "соломенный жгут для утепления входной двери" при фин., карел. *vihko*, люд., вепс. *vihk* "пук, связка", где произошла диссимиляция в нетипичной для русского языка группе *-хк* (<*-hk*-).

В некоторых случаях даже трудно восстановить первоначальный облик прибалтийско-финского слова, поскольку ближайшие аналогии в современных прибалтийско-финских языках обнаружить не удалось. Таково слово *рипало* "крышка пестеря, кузова", связанное с фин. *ripata*, вепс. *ripitada* "моргать" [16, s. 805], буквально "моргалo", причем эта этимология хорошо подтверждается другим названием крышки пестеря, распространенным среди русского населения, *веко*.

Наиболее существенно, однако, что зафиксирован ряд лексем, имеющих соответствия в прибалтийско-финских языках, но обладающих фонетическими отличиями от них, не объяснимыми ни на прибалтийско-финской, ни на русской почве. Таково прежде всего соответствие приоб.-фин. *e* – приоб.-фин. (на РС) *a*, зафиксированное, например, в *вахка*, *вахта* [см. 17], *вафка* "вахта трилистная" (растение) на всей западной половине РС, ср. *вехк* в Обонежье [13, с. 14] и фин. *vehka*, карел.-ливв. *vehka*, *vehku*, люд., вепс. *vehk*, эст. *võhk* "то же" [16, s. 1681], *вагмас* "заболоченный лес с буреломом и кустарником" – фин. *vehmasto* "очень густой лиственный лес или кустарник", эст. *võhtas* "остров в болоте" [16, s. 1682], *шалга* "возвышенность, покрытая лесом" и в других значениях – карел. *šalgä* "то же" [16, s. 995–996] и т.п. Как бы ни объяснять это соответствие (а оно находит параллели в саамском языке), приходится допустить, что в западной половине РС был распространен особый прибалтийско-

ко-финский диалект, хотя в целом он вряд ли значительно отличался от других прибалтийско-финских наречий того времени.

В конечном счете именно прибалтийские финны, судя по их многочисленному апеллятивному наследию в русских говорах, составляли прежде всего дорусское население, представлявшее собой сложный адстрат (по отношению к русским – субстрат). Можно допустить, конечно, что кое-где прибалтийские финны наслаивались на других прибалтийских финнов, но пока о таких случаях неизвестно.

В сущности та же картина обнаруживается и в топонимии. Поскольку о микротопонимических формантах прибалтийско-финского происхождения типа *-нема* "мыс", *-нелда* "поле", *-ранда* "берег" и т.п., а также микрогидронимах на *-оя* "ручей" написано уже много (подробности см. [18]), и в общем ни у кого не возникает сомнения в том, что и по этому показателю прибалтийско-финский пласт на РС должен считаться непосредственно предшествующим русскому, остановимся только на одной группе прибалтийско-финских топонимов, представляющей особый интерес – названиях на *-ла* (<*-la*, *-lä*). Она восходит к наименованиям с суффиксом места, типичным для прибалтийско-финских языков, но нехарактерным для саамского и поэтому ярко дифференцирующим. Названия эти в своем большинстве являются ойконимами или микротопонимами и очень широко распространены в прибалтийско-финской топонимии. На РС они также обычно обозначают населенные пункты или урочища, хотя есть и речные названия на *-ла* (ср. *Анила*, *Ошала*), происхождение которых спорно. Во всяком случае их надо отделять от ойконимов и микротопонимов на *-ла*.

Прибалтийско-финское происхождение этих довольно многочисленных названий (на РС более 70) подтверждается не только наличием специфического суффикса, но и бесспорно прибалтийско-финских основ, ср. *Веркола* – карел. *verko*, вепс. *verk* "сеть", *Ихала* (3 названия) – фин. *ihala* "чудный, дивный", ливв. *ihalu* "прекрасный, красивый", *Канъзело* < **Канъзела* – ливв. *kanzu*, вепс. *kanz* "семья", *Корбала* (2 названия) – карел.-ливв. *korbi*, вепс. *korb* "глухой лес", *Сетала* – фин. *setä* "дядя", *Хергала* – карел. *härgä*, вепс. *härg* "бык" и др. В прибалтийско-финской топонимии этим названиям нередко находим точные аналогии, ср. фин. *Härkälä*, *Ihala*, *Kansola*, *Korpela*, *Setälä* и т.п.

Показателен ареал названий на *-ла*. Они довольно равномерно распределены по всему РС, кроме бассейнов Мезени и Кулоя на северо-востоке, а также крайнего юго-востока. В последнем случае это прямо связано с отсутствием типичной прибалтийско-финской топонимии в бассейнах Юга, Малой Северной Двины и низовий Сухоны. Лакуна на северо-востоке более загадочна. Она, возможно, указывает на малочисленность прибалтийско-финского лингвоэтнического компонента в этих местах, где нет, кстати, и характерной прибалтийско-финской микротопонимии. Но на большинстве территорий РС названия на *-ла* фиксируются везде, хотя, разумеется, с той или иной степенью плотности. Их особенно много в низовьях Северной Двины, Пинеги, Онеги, по Ваге и Моше, где прибалтийско-финское население, видимо, было значительно. Важно отметить при этом, что ареал названий на *-ла* в целом совпадает с зоной распространения прибалтийско-финских микротопонимических формантов. Отсюда следует, что перед приходом русских основная часть территории РС была освоена прибалтийскими финнами, хотя русские в целом ряде случаев могли контактировать и с другим более древним населением, в частности, с саамами (см. об этом ниже).

И.И. Муллонен, ссылаясь на исследования В. Ниссиля [19], констатирует, что "скопления ойконимов на *-la*, *-lä* находятся в местах наиболее раннего оседлого земледельческого освоения" [20]. Вероятно это положение применимо и к территории РС, т.е. скопления названий на *-ла* указывают на места наиболее ранних поселений прибалтийских финнов. Однако надо заметить, что прибалтийско-финское продвижение на восток было достаточно поздним и что прочно освоены прибалтийскими финнами были только самые западные окраины региона (к западу от Онеги и Белого

озера). Об этом ясно свидетельствует анализ гидронимии. Хотя прибалтийско-финские гидронимы обнаруживаются и на восточных окраинах РС (ср. *Мустюга* почти на границе с Республикой Коми и фин. *Mustajoki* "Черная река") и в его центре (ср. *Мустозеро* в басс. Ваги и фин. *Mustajärvi* "Черное озеро"), в основном прибалтийско-финская гидронимия сосредоточена на западе региона. Именно там в большом количестве обнаруживаются такие типичные прибалтийско-финские названия, как *Вехозеро*, *Вехкуй* (ср. карел. *Vehkajärvi* "Озеро с вахтой", *Vehkaoja* "Ручей с вахтой"), *Салмозеро*, *Шалмозеро* (ср. карел. *Salmijärvi*, *Šalmijärvi* "Проливное озеро"), *Хабозеро* (ср. карел. *Hoabajärvi* "Осиновое озеро") и им подобные.

По-другому представлены в говорах РС саамские апеллятивные заимствования. Своего рода дополнение к работе Калимы – краткую сводку саамизмов русского языка – составил Т. Итконен [8]. В его работе приводится 90 слов, которые считаются саамскими и 26 – саамскими или прибалтийско-финскими. Подавляющее большинство из них, однако, относится к Кольскому полуострову, а также поморскому побережью и может рассматриваться как саамские экзотизмы. Кроме того, в статье Итконена довольно много общеизвестных слов, вошедших в русский литературный язык, и профессионализмов: *важенка*, *камбала*, *кабус*, *кумжа*, *морж*, *навага*, *няша*, *палтус*, *пикша*, *торос*, *тундра*, *ягель* и др. Лексем, относящихся к основной территории РС, мало. Они обычно широко распространены и могли также проникнуть на РС с Кольского полуострова и поморского побережья: *вальчак* "возрастная разновидность семги", *вачега* "суконная рукавица", *воюкса* "жир из вываренных рыбьих внутренностей", *кережка* "сани для езды на оленях", *кошка* "песчаная отмель", *нюра* "подводная мель", *ропак* "обледенелый камень", *торох* "порыв ветра", *чит* "подмерзший снег" и т.п. Таким образом, эти заимствования могут быть не связаны по своему происхождению с РС и древним саамским населением на его территории. Однако на территории РС засвидетельствовано и некоторое количество явно местных саамских апеллятивных заимствований, что хорошо коррелирует с относительной редкостью саамских микропонимов, засвидетельствованных только в нескольких микрорегионах, и в то же время обилием саамской гидронимии [21–23].

Прежде всего приведем такую яркую дифференцирующую лексему, как *чёлма* "пролив" <саам. норв. *čoaľ'bme*, кольск. *чуэльм* тж. Русский апеллятив в значениях "пролив, проток, залив", а также "горловая ловушка для рыбы" (ср.: "рыба в челму заходит в окошечко, а оттуда ей не выйти") распространен на РС западнее линии Емецк – Белое озеро, но не сплошным массивом, а отдельными вкраплениями, как правило, в районах больших озер (Андозеро, Воже, Мошинское, Ундозеро и др.). Эта зона изолирована от Поморья и Кольского полуострова, поэтому апеллятив *чёлма* должен считаться местным по происхождению. Примечательно, что в крайне северо-западной части региона (Онежский район Архангельской области) между зоной распространения апеллятива *чёлма* и Карелией у местного населения в ходу прибалтийско-финский по происхождению апеллятив *салма* (ср. фин. *salmi* "пролив").

Именно в этом "разорванном" ареале и встречаются прежде всего другие саамские апеллятивы, ср., например, в Белозерском крае: *мярда* "рыболовная ловушка" – саам. *mær'de* тж., *личма* "плавучий остров" – саам. *lisme*, *lišme* "ил, тина, грязь" [24–25]. Здесь же обычны географические термины *лохта* "залив" и *янга* "топкое болото", трудно отличимые от соответствующих прибалтийско-финских слов, хотя в настоящее время все больше свидетельств в пользу предположения, что русский апеллятив *лохта* "залив" (в роли топоформата *-лохта*) восходит в основном именно к саам. *luok'itá* "залив", а не к приоб.-фин. *lahiti* тж. (подробности см. [23, 26]).

Таким образом, есть основания думать, что в пределах очерченной зоны русские имели прямой контакт с местными саамами и ассимилировали их. Это хорошо подтверждается наличием в ряде микрорегионов (Андозеро, Воже, Мошинское) саамской микропонимии на *-лохта* "залив" (*Кулолхтá* "Длинный залив",

Пышелохта "Святой залив", *Чухлохта* <**Чухчлохта* "Глухариный залив"), *-соло*, *-солово* "остров" <саам. *suolo* тж. (*Кукосоло* "Длинный остров"), *-ринда* "берег" <саам. норв. *rid'do*, кольск. *рынтт* тж. (*Шандоринда*), *-личма* "плавучий остров" (*Челмаличма* "Проливный плавучий остров"), хотя в некоторых случаях (*Ундозеро*) саамов, видимо, ассимилировали прибалтийские финны, ср. ундозерские названия *Муталахта*, *Ребалахта* – фин. *Mutalahti* "Илистый залив", *Repolahti* "Лисий залив". Сказанное относится и к другим микрорегионам с вкраплениями саамской микропонимии – в низовьях Северной Двины, по средней Пинеге и в басс. Мезени, где в последнее время были засвидетельствованы такие типично саамские микропонимы, как *Шублохты* "осиновые заливы", *Явра* "Озеро" и т.п. Однако на большей части РС между Белым озером и средним течением Пинеги, где широко представлена гидронимия с типичными саамскими основами *нюхч* (*нюкш*) "лебедь", *чухч* (*чукл*) "глухарь", *челм* "пролив", *шунд* "талый" и т.п., саамская микропонимия или отсутствует или представляет собой спорные случаи. Так, названия типа *Чухчанема* "Глухариный мыс" могут быть интерпретированы и как собственно саамские и как саамско-прибалтийско-финские гибриды [23, с. 8–10].

Отсюда следует, что на большей части РС прибалтийские финны ассимилировали древнее саамское население, усвоив саамскую гидронимию (а частично и микропонимию) и заменив в ряде случаев саамские топоформанты на прибалтийско-финские, однако в некоторых "озерных" местностях саамское население держалось долго и было здесь ассимилировано русскими, усвоившими отдельные саамские апеллятивы и микропонимы.

Возникает, однако, еще одна трудная проблема. Кроме собственно прибалтийско-финских и саамских наречий, в древности на территории РС могли существовать и переходные формы. Обсуждается также возможность отражения в субстратной топонимии общего прибалтийско-финско-саамского языкового состояния. Так, И.И. Муллонен относит субстратные основы *шуб* – саам. *supb* "осина" *шид* – саам. *sijt* "поселение", *печ* – саам. *pieAts* "сосна" к периоду существования прибалтийско-финско-саамской общности, сформировавшейся на территории Европейского Севера к 1500 г. до н.э. [27]. Эта интересная версия несомненно достойна внимательного изучения. Но, во-первых, до сих пор не доказан сам факт существования прибалтийско-финско-саамского праязыка, хотя эту версию и разделяет такой авторитетный финно-угровед, как Э. Итконен [28]. Есть к тому же и другие точки зрения на вопрос о происхождении саамов и их языка [см. 29, с. 110–115, 172–174]. Во-вторых, русские в ряде микрорегионов РС, судя по языковым данным (см. выше), ассимилировали именно саамское население, причем говорившее на разных диалектах [23, с. 10], и это могло произойти не раньше начала II тыс. н.э. Если прибалтийско-финско-саамский праязык распался к середине I-го тыс. до н.э. [29, с. 202], то трудно допустить, что он сохранился на территории РС еще 1500 лет и был ассимилирован там русским языком.

Видимо, все-таки следует считаться с "феноменом мертвого языка", т.е. с тем, что в древних прибалтийско-финских и саамских диалектах могли сохраниться или развиваться явления, не свойственные ныне существующим языкам, а в условиях тесного контактирования появились общие изоглоссы (см. выше о звуке *a* в соответствии с прибалтийско-финским *e*). Эта идея четко сформулирована в работах А.И. Попова, где говорится о наличии на РС лексических реликтов из своеобразных финно-угорских языков и их многообразном варьировании в русской среде [30–31]. Только такой подход позволяет понять столь необычные факты, как апеллятив *чильма* "окно воды в болоте", "глазина" (русск, диал.) с саамским консонантизмом (*чалльм* "глаз") и прибалтийско-финским вокализмом (фин. *silmä* "глаз"). Финно-угорский сибилант **š* в прибалтийско-финском праязыке отвердел (**š* > *s*), а в саамском из **š* возникла аффриката *š̥* (*iš̥*) [32]. Поэтому слово *чильма* никак не может рассматриваться в качестве реликта прибалтийско-финско-саамского праязыка. Проблема в другом:

является ли это слово фактом древнесаамского языка до перехода $i > a$ [о нем см. 33] или вообще какого-то особого финно-угорского языка, промежуточного между прибалтийско-финскими и саамским.

Таким образом, и в заимствованных апеллятивах и в субстратных топонимах могут быть засвидетельствованы, во-первых, более древние стадии ныне существующих финно-угорских языков, а во-вторых, факты неизвестных нам вымерших финно-угорских языков. Именно поэтому до сих пор не интерпретированы многие иноязычные по происхождению компоненты севернорусской диалектной лексики.

Почти без внимания остались и малочисленные, но очень важные апеллятивы волжско-финского происхождения, открывающие новые возможности в изучении субстратной топонимии РС.

Сразу оговоримся, что в дальнейшем термин "волжско-финский" не будет употребляться прежде всего потому, что в свете новейших представлений существование волжско-финского единства весьма проблематично. Другая причина состоит в том, что в апеллятивных заимствованиях и субстратной топонимии РС пока не выявлены элементы, дифференцируемые как мордовские. Поэтому речь в настоящее время может идти только о марийских элементах на РС. Трудно сказать, однако, являются ли эти языковые факты действительно марийскими (древнемарийскими) или принадлежат промежуточным прибалтийско-финско-саамско-волжским (северофинским) языкам или, наконец, относятся и к тем и к другим. Поэтому пока предпочтительнее говорить только о языковых элементах, дифференцируемых как марийские (для краткости – "марийские").

"Марийские" лексические апеллятивы на РС встречаются нечасто, но среди них есть достаточно показательные: *туржа* "рыба голавль (реже язь)" – марийск. *туршо* "голавль"; *чинга*, *чинговатик*, *чингушка*, *чинговый* (*чинговатый*) *лес* "тонкое, но очень твердое еловое дерево" – марийск. *чинга* "мелкослоистое дерево (которое трудно пилить, колоть)"; *мыгра* "горка", "бугор" – горно-марийск. *мыгыр* "горб", восточно-марийск. "шишка, желвак" (распространенная в географической терминологии метафора); *равина* "наклонная жердь, шест, к которому крепится парус в лодке" – горно-марийск. *равы* "жердь, шест". Сюда же очевидно надо отнести засвидетельствованное в ряде лексикографических источников русское кольское *шардун* "некастрированный олень -самец". Подвысоцкий относит это слово к "лопарским" [11, с. 30], но саамские параллели отсутствуют, и фактически оно связано с финно-угорскими лексемами типа горно-марийск. *шарды* "лось" или морд. *сярдо*, *сярда*, на что было указано еще М. Фасмером [34, с. 408]. На РС в апеллятивной лексике никаких соответствий этому слову не обнаружено, но можно предполагать, что *шардун* мигрировало на Кольский полуостров с более южных территорий и было перенесено на разнovidность оленя, причем роль аборигенов и русских в деталях этого процесса определить трудно.

Эти лексемы особенно интересны в том отношении, что сопоставимы прежде всего с горно-марийским наречием, наряду с северо-западным, лучше сохранившим прамарийский вокализм [35]. В то же время они имеют ограниченные ареалы, приуроченные к самым различным микрорегионам РС (от Белозерья и Онеги до Мезени), что указывает на их большую древность. Возможно это реликты, усвоенные русскими через прибалтийско-финское и саамское посредство, хотя нельзя совсем исключить, что где-то у "марийцев" был прямой контакт с русскими. В любом случае на топонимическом уровне следует прежде всего предполагать "марийский" субстрат. Это означает, что в микротопонимии следы "марийского" типа маловероятны. И действительно доказательных фактов такого рода пока нет. Напротив, в гидронимии они засвидетельствованы неоднократно, но преимущественно в основах.

Дифференцируемый как марийский гидроформант отмечен только в одном случае: это гидронимы на *-енгарь* < марийск. *еҥер* "река" в басс. Устья на юге Архангельской области. Трудно решить, имеем ли мы здесь дело с субстратным реликтом или,

напротив, с суперстратом, привнесенным в более позднее время. Еще сложнее идентифицировать многочисленные названия на *-важ*, *-веж* в басс. Северной Двины между Вагой и Пинегой. Поскольку названия такого типа обычны на собственно марийской территории, где *важ* "корень", "приток", (ср. *Кожваж*, *Тадымваж*, *Шактемваж* в Горномарийском районе [36]), казалось бы, и этот тип следовало причислить к "марийским". Но, во-первых, в своем большинстве основы этих названий не интерпретируются как марийские, а во-вторых, топоформант может быть объяснен и на пермской почве (см. ниже). Нет сомнения, однако, что гидронимы на *-важ*, *-веж* принадлежат какому-то восточнофинскому языку.

Намного более показательны топоосновы. И это понятно: если "марийские" названия квалифицируются главным образом как субсубстратные, то многие топоформанты могли быть со временем утрачены [1]. Основы в этом отношении более устойчивы.

Так, на РС несколько раз зафиксировано название рек *Икса*, обычно вытекающих из озер, именуемых *Иксозеро*. Есть все основания сопоставить это название в силу его высокой частотности с марийским гидрографическим термином *икса*, засвидетельствованным в значениях "залив", "пролив"; "проток", "речка, соединяющая два водоема". Это предположение поддерживается костромским диалектизмом *вёкса* "межозерный приток", родственным марийскому *икса* и северно-русским гидронимам *Икса* [37]. Сюда же надо отнести рукав *Иксомы* в устье р. *Вожеги*, притока озера *Воже*, и два названия *Иксостров*, относящихся к разделенным проливом островам в центральной части Ундозера, что позволяет реконструировать и для этого пролива название **Икса*.

Столь же широко на РС распространены названия с основой *шард* "лось" (см. выше *шардун*): *Шарда* (4 реки), *Шардболото*, *Шардозеро*, *Шарденьга* (3 реки), *Шардовка*, *Шардома*, *Шардуша*. Кроме того, засвидетельствованы метонимические переносы: р. *Шардоверка*, соединяющая Сывтозеро и Шардозеро, т.е. в реконструированном виде **Шард(о)ер* (ср. марийск. *ер*, *йёр* "озеро"); ср. также "с *Шарденги* из *Быкокурского стану*" [38].

Можно привести еще целый ряд гидронимических соответствий, ср.: марийск. *келге*, *келгы* "глубокий" и *Келгозеро* (2 названия), *корно*, *корны* "дорога" и *Корна*, *Корнов*, *Корнома*, *Кужу*, *кужу* "длинный" и *Кужа*, *Кужозеро*, *Кужручей*, *ломбо*, *ломбы* "черемуха" и *Ломбозеро*, *Ломбуха*, *писте*, *писты* "липа" и *Пистерка*, *Пистома*, *Пыстозеро*, *Пыстома*, *пунчö*, *пёнжы* "сосна" и *Пунжеро*, *Пунжозеро*, *пучö*, *пучы* "олень" и *Пучега*, *Пученьга*, *Пучера*, *Пучозеро*, а также *Пучгора*, *шудо*, *шуды* "травы" и *Шуда*, *Щудболото*, *Шудозеро*, *юмо* "бог" и *Юмас*, *Юмата*, *Юмиш*, *Юмозеро* и многие другие.

К характеристике "марийских" элементов необходимо добавить, во-первых, что этот топонимический пласт должен рассматриваться в своей основе как предшествующий саамскому (частично, может быть, одновременный с ним), на что указывает и его более широкий ареал (почти весь РС), а во-вторых, что по крайней мере часть загадочных "речных суффиксов" (в частности, *-ма*, *-ша*) в свете "марийского" субстрата должна рассматриваться как словообразовательные аффиксы. В современном марийском языке имеются соответствия этим аффиксам [39], хотя, как и следовало ожидать, они не являются полными ни с формальной, ни с семантической стороны.

Проблема "марийского" субстрата тесно связана и со сложным вопросом о "севернофинских" языках (ср. выше), так как "марийские" основы обычны для многих глубинных топонимических типов (ср. *Шарденьга*). Таким образом, эта проблема в значительной степени является узловой для интерпретации субстратной топонимии РС в целом. В то же время она особенно сложна: чем глубже временная перспектива, тем сильнее действие "феномена мертвого языка". Проиллюстрируем это исключительно редкими примерами "марийских" микротопонимов.

В названии урочища *Удорбала* топооснова может быть сопоставлена с марийск. *удыр, ыдыр* "дочь", "девушка", но топоформант не имеет убедительной марийской этимологии [см. обзор 40]. Второй пример подкрепляет "марийскую" версию, так как содержит эффективную метонимическую кальку: "Волость Пенежская на волоку... в ней деревни черные: д. Чючюбала, д. Сеталская пуста"... (переписная книга 1678 г.). Так как марийское *чүчү, чычы* "дядя" фонетически ближе к основе *чючю*, чем, например, саам. *čæsse* "дядя", название деревни *Чючюбала* МОЖНО также предположительно отнести к числу "марийских" наименований, причем этимология основы хорошо подтверждается анализом названия соседней деревни *Сеталская*, которое легко реконструируется в виде *Сетала* < *Setälä* < приб.-фин. *setä* "дядя" + локативный суффикс *-lä*, т.е. "Дядино (место)". Название *Setälä* широко распространено в финской топонимии. Тем не менее и в этом, казалось бы, прозрачном случае затруднение снова вызывает формант *-бала* с неясной этимологией. Самое простое видеть в *-бала* аналог локативного суффикса *-la, -lä*, но эта версия не находит материального подтверждения ни в марийском, ни в других финно-угорских языках. Более вероятно, что здесь скрыто слово типа саам. *bælle* "сторона", "половина" (ср. саам. норв. *Dažå-bælle* "норвежская сторона"), но и это пока гипотеза. Анализ названий на *-бала* наглядно показывает, что подходить с одной только марийской меркой к "марийским" названиям нельзя.

Особое место среди заимствованных апеллятивов на РС занимают коми-зырянские и ненецкие по происхождению слова.

В свое время Калимой были изучены коми заимствования в русском языке [7]. Он их называет "зырянскими", не дифференцируя коми-зырянские и коми-пермяцкие слова. Всего Калима анализирует 90 заимствований, из которых половина относится к РС (архангельским и вологодским говорам), остальные – к Уралу и другим регионам. В работе встречаются ошибочные этимологии (*курья, няша*), много дискуссионных, тем не менее Калима выявил довольно значительный пласт коми-зырянских элементов в севернорусской лексике, преимущественно в мезенских, пинежских, а также печорских говорах. Среди них такие широко распространенные на крайнем востоке РС близ границ с Республикой Коми слова, как *бака* "древесный гриб-трутовик", *быгатъ* "сохнуть на ветру", *виска* "проток, соединяющий озеро с рекой", *кулема* "ловушка, западня", *лузан* "вид охотничьей накидки", *мег* "мыс на изгибе реки", *мышерина* "сырой смешанный лес", *тупьсь* "ситный хлебец", *чир* "тонкая ледяная корка на снегу" и др. Сборы СТЭ позволили добавить еще некоторое количество явно коми-зырянских слов, за редким исключением зафиксированных восточнее Северной Двины. Главным образом это лексика природы и охотничьего промысла, ср.: *еговна тропа* "охотничья тропа" – к.-зыр. *яг* "бор, лес", *керас* "высокий берег, поросший лесом" – к.-зыр. *керос* "возвышенность, лес", *норса* "лыжное крепление – кольцо, надеваемое на ногу" – к.-зыр. *норыс* "шнурки, связки для ног (на лыжах)", *лызь-норыс* "петля на лыжах", *норта* "осиновый челнок-волокуша, в котором охотники по снегу возят припасы" – к.-зыр. *норт* "нарты" и некоторые другие. Довольно значительный апеллятивный материал наводит на мысль о том, что в восточной части РС должна быть обильная пермская микропонимия и гидронимия. На самом деле наличие коми топонимии в восточной части РС, кроме Лешуконского и Ленского районов Архангельской области, крайне проблематично.

В XIX в. А.И. Шегрен, изучая субстратную топонимию РС, пришел к выводу, что в ее состав входят пермские (зырянские) названия, при этом пермская топонимия сосредоточена к востоку от Северной Двины. В дальнейшем эта версия была поддержана М. Фасмером, А.И. Поповым, а также автором статьи [41]. В настоящее время она в какой-то мере разделяется Л.Н. Жеребцовым [42]. Против высказанного взгляда в ряде статей выступил Б.А. Серебрянников. Однако для решения проблемы

в то время было недостаточно материалов, поскольку фронтальный сбор топонимов в этом регионе еще только начинался.

К настоящему времени собрана обширная информация не только по субстратной топонимии, но также по этнонимии и этнотопонимии РС. Установлено, что этноним *пермь* сохранен в ряде этнотопонимов на востоке региона (д. *Перемское* в басс. Пинеги и др.), а этноним *зырь* (*зыряне*) закрепился в качестве коллективного прозвища жителей ряда деревень на юге Архангельской области (Коношский и Устьянский районы). Однако анализ местной топонимии и параллельных этнонимических прозвищ (например, *кайки* – одно из русских наименований велсов) свидетельствует о том, что в данном случае этноним *зырь* прилагался не к пермскому, а к какому-то иному финскому населению [43].

Зоны бесспорно пермской (коми-зырянской) субстратной микротопонимии и гидронимии, притом очень многочисленной и явно довольно поздней, выявляются прежде всего на северо-востоке региона (по верховьям Мезени и в низовьях Вашки), а также на юго-востоке в Ленском районе Архангельской области [44, 45]. На других территориях восточного Подвинья явных следов пермской топонимии почти нет. Особенно показательным полное отсутствие здесь такого яркого различителя пермских названий, как гидроформант *ты* "озеро". Анализ пермских этимологий Шегрена и Фасмера свидетельствует о том, что они в своем большинстве должны быть пересмотрены.

Тем не менее поиск древнепермских топонимов в Подвинье должен быть продолжен. В этом плане наиболее перспективен юго-восток РС между Северной Двиной и верхним течением Пинеги. Летопись упоминает здесь городок *Тоимокары* (ср. дифференцирующий коми топоформант *-кар* "город"). В этих же местах зафиксирован ряд коми заимствований в русских народных говорах (*керас, норса, норта* и др.). На юго-востоке РС отмечен также гидроформант *-важ, -веж*, который образует плотный ареал и сопоставляется с коми *вож* "исток, рассоха". Однако аналогичный гидроформант есть и в марийском языке (ср. выше), а, главное, гидроосновы этого типа не содержат характерных пермских лексем. Поэтому нельзя исключить, что в данном случае мы имеем дело с особым языком, промежуточным между пермскими и другими финскими языками. Так или иначе изучение пермских элементов в топонимии РС должно развиваться по двум направлениям: поиск поздних коми-зырянских адстратных и субстратных включений в приграничных районах с Республикой Коми, которые в значительной части уже выявлены, и предположительно пермских или близких к ним субстратных топонимов на юго-востоке Архангельской области, существование которых, однако, проблематично. На остальной территории РС пермские элементы в топонимии не прослеживаются.

Как же тогда объяснить проникновение достаточно многочисленных апеллативов коми происхождения в говоры РС, нарушающее установленный принцип: заимствованные в большом количестве апеллативы восходят к языку субстратной микротопонимии?

Работа Калимы свидетельствует о том, что коми заимствования на РС относятся прежде всего к географической и метеорологической терминологии, растительному и животному миру, охотничьему снаряжению, приспособлениям, быту. Сборы СТЭ подтверждают со своей стороны эти наблюдения. Хорошо известна мобильность и активность коми, замечательных охотников и путешественников, немало сделавших в свое время для открытия путей в Сибирь. Но охотничьи пути коми пролагались и на запад – в восточную часть Заволочья. Здесь могли возникать временные и даже постоянные поселения отдельных групп коми, однако это не вело к прочному освоению территории и формированию собственной топонимической системы. Более того, апеллативные заимствования из языка коми, видимо, не относятся к очень раннему времени, будучи уже связаны с довольно поздними русско-пермскими (коми-зырянскими) контактами. Именно поэтому они должны квалифицироваться в основном

как адстратные. Здесь уместнее другая формула: наличие большого числа апеллятивных заимствований при отсутствии микротопонимии свидетельствует об адстрате.

Еще больше эта формула имеет отношение к ненецким апелляциям на РС, образующим западный фланг заимствований, проникших также в русские говоры Припечорья и Нижнего Приобья, поскольку зона расселения тундровых ненцев протянулась на тысячи километров вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Ненецкие заимствования достаточно последовательно помечаются в словаре Подвысоцкого как "самоедские", правда, их конкретный источник указывается не всегда. Ряд ненецких по происхождению русских слов рассматривается в этимологическом словаре М. Фасмера. В итоговой для своего времени статье А.А. Пантелеевой [46], учитывающей и материалы СТЭ, приводится более 50 ненецких заимствований, из них более половины были записаны в басс. Мезени. За истекшие после этой публикации годы на северо-востоке РС было собрано еще около 30 ненецких слов, проникших в русские говоры.

Суммируя все эти данные, можно сделать вывод, что ненецкие слова, за немногими исключениями, бытуют на РС только в русских говорах Мезенского и Лешуконского районов Архангельской области. Здесь, в басс. Мезени, зафиксировано уже более 60 ненецких заимствований. Тематически почти все они связаны с терминологией оленеводства и бытом оленеводов. Это объясняется как знакомством русских старожилов с оленеводством, так и постоянными русско-ненецкими контактами. За пределы мезенской зоны проникают только отдельные слова, прежде всего названия одежды, которые фиксируются, например, в смежном Пинежском районе.

В своем большинстве ненецкие слова легко опознаются и этимологизируются, ср. из новых сборов: *амдер* "свернутая оленья шкура, которую кладут на нарту как сиденье" <ненец. *намдёр* тж., *беньдя* "пучок волос под шеей оленя, оленья "борода" <ненец. *пемдя* тж., *мора* "начинающий расти мягкий олений рог" <ненец. *мора* тж. и т.п. Судя по отсутствию рефлексов начального *ң* (ср. *амдер*), источником заимствований на Мезени явились крайнезападные говоры тундрового наречия ненецкого языка, в которых начальный заднеязычный сонант утрачен.

Ненецкие элементы в русских говорах Примезенья в большинстве случаев должны рассматриваться как относительно поздние: они были освоены после того, как русские познакомились с оленеводством. Несомненен и их адстратный характер: ни в микротопонимии, ни в гидронимии Примезенья СТЭ не зафиксировала у русских ненецких географических названий. Это и позволяет находить общее между ненецкими и коми-зырянскими заимствованиями на РС.

Подводя некоторые итоги всем этим наблюдениям, отнюдь не преувеличивая их значение, можно тем не менее сделать вывод, что сопоставление апеллятивных заимствований с микротопонимией и гидронимией, а также учет их относительной частоты могут в известной мере способствовать построению или подтверждению стратиграфической схемы субстратной топонимии.

Применительно к РС намечается такая ретроспективная последовательность пластов: русский, прибалтийско-финский, саамский, "марийский". Вместе с тем есть основания думать, что в намечаемой последовательности были нарушения, связанные с неравномерностью ассимиляционных процессов, поэтому русские могли в некоторых местах иметь непосредственный контакт и с саамским и с "марийским" населением: еще до прихода русских лингвоэтническая карта и топонимический ландшафт РС образовывали сложную мозаику.

Естественно, что в субстратной топонимии РС могут быть столь древние элементы, что они не имеют и не способны иметь апеллятивных соответствий в русской диалектной лексике. Поэтому, например, отсутствие древнеугорских и древнесамодийских апеллятивных заимствований в русских говорах доказывает, что древнеугорские и древнесамодийские гидронимы, если они существовали, предшествовали "марийскому" слою.

В русской диалектной лексике имеется также множество явно заимствованных апеллятивов, которые пока не истолкованы. По крайней мере часть таких апеллятивов с течением времени найдет объяснение на финно-угорской почве. Так, зафиксированное на РС слово *чарокса* "топкое непроходимое болото", представленное в других местах РС, а также южнее вплоть до Поволжья аналогом *чарус*, *чаруса* в том же и близких значениях вполне может оказаться родственным саам. норв. *čærro*, кильд *čärr* "тундра", изменившему свою семантику в иных климатических условиях.

Есть, однако, широко распространенные апеллятивы, которые вообще не находят сколько-нибудь убедительных соответствий в финно-угорских языках. Например, обычное в северо-западной части РС слово *пенус* "сенокосное болото" Калима, правда, под вопросом сравнивает с карел. *rainođ* "болотистое место между двумя возвышенностями", хотя тут же замечает, что приб.-фин. *ai* передается русским *ай*, *ой* [6, с. 183]. Параллельную форму *пендус* Калима считает "странной, необычной" (*befremdend*). Фактически же *пендус* и наряду с ним столь же частое *пентус* широко распространены в южной части региона. А.И. Попов, конечно, прав, отвергая прибалтийско-финскую этимологию Калимы и предполагая в этом случае заимствование из какого-то вымершего финно-угорского языка [31, с. 16–17]. Однако соответствий словам *пенус*, *пендус*, *пентус* пока не удалось найти ни в финно-угорских, ни в самодийских языках. Зато можно привести литовское *piainys* "сенокосное болото", *pianis* "ложбина", которое Э. Френкель считает балтийским и индоевропейским по происхождению [47]. Если эти слова действительно связаны (пока не объяснено чередование *n* – *nd* – *nt*), то речь может идти о поиске ранее неизвестных балтизмов в вымерших финских языках.

Проблема происхождения субстратной топонимии РС теснейшим образом связана с изучением апеллятивных заимствований, представляющих, к тому же, и очень большую самостоятельную научную ценность. В этом отношении будущее принесет еще много нового, особенно когда будут опубликованы достаточно полные словари говоров РС, а также "Словарь финно-угорских и самодийских заимствований в говорах русского Севера", подготавливаемый Уральским университетом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Матвеев А.К. Финно-угро-самодийская топонимия на территории СССР как объект лингвистического исследования // Вопросы финно-угорской ономастики. Ижевск, 1989. С. 8–10.
2. Попов А.И. Материалы по топонимике Карелии // СФУ. V. Петрозаводск, 1949. С. 62–63.
3. Попов А.И. Географические названия. М.-Л., 1965. С. 92–95.
4. Матвеев А.К. Этимологизация субстратных топонимов и апеллятивные заимствования // Этимология 1971. М., 1973.
5. Матвеев А.К. Субстрат и заимствование в топонимии // ВЯ. 1993. № 3.
6. Kalima J. Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen // MSFOu. XLIV. Helsinki, 1919.
7. Kalima J. Syrjänisches Lehngut im Russischen // FUF. XVIII. Helsinki, 1927.
8. Itkonen T. Lappische Lehnwörter im Russischen // Suomen Tiedeakatemia Toimituksia. XXVII. Helsinki, 1932.
9. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. I–IV. М., 1955.
10. Куликовский Г.И. Словарь областного олонечского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.
11. Подвысоцкий А.И. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
12. Сало И.В. Влияние прибалтийско-финских языков на севернорусские говоры поморов Карелии. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1966.
13. Мызников С.А. Лексика прибалтийско-финского происхождения в русских говорах Обонежья. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1994.
14. Рут М.И. Вепские географические термины в русской апеллятивной лексике и топонимии Вытегорского района Вологодской области // Ономастика европейского Севера СССР. Мурманск, 1982. С. 21–23.

15. *Матвеев А.К.* Субстратная микротопонимия как объект комплексного регионального исследования // ВЯ. 1989. № 1.
16. *Suomen kielen etymologinen sanakirja*. I–VII. Helsinki, 1955–1981.
17. *Меркулова В.А.* Очерки по русской народной номенклатуре растений. М., 1967. С. 37–38.
18. *Матвеев А.К.* Русская топонимия финно-угорского происхождения на территории севера Европейской части СССР. Дис. ... д-ра филол. наук. М., 1970.
19. *Nissilä V.* Suomalaista nimistöntutkimusta. Helsinki, 1962. S. 96.
20. *Муллонен И.И.* Вепские ойконимические форманты // Вопросы финно-угорской ономастики. Ижевск, 1989. С. 106.
21. *Vasmer M.* Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. IV. Die ehemalige Ausbreitung der Lappen und Permier in Nordrußland // SPAV. Phil.-hist. Klasse. XX. Berlin, 1936.
22. *Матвеев А.К.* Этимологизация субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем // ВЯ. 1976. № 3.
23. *Матвеев А.К.* Древнее саамское население на территории севера Восточно-Европейской равнины // К истории малых народностей Европейского Севера СССР. Петрозаводск, 1979.
24. *Nissilä V.* Die Dorfnamen des alten lüdischen Gebietes // MSFOu. 144. Helsinki, 1967. S. 46–47.
25. *Itkonen T.* Suomen lappalaiset vuoteen. Helsinki, 1948. S. 99.
26. *Матвеев А.К.* Об отражении одного финско-русского фонетического соответствия в субстратной топонимике русского Севера // СФН. 1968. № 2.
27. *Муллонен И.И.* Этноисторические мотивы топонимии Межозерья // *Голубева Л.А., Кочкуркина С.И.* Белозерская весь. Петрозаводск, 1991. С. 190–192.
28. *Inkonen E.* Die Herkunft und Vorgeschichte der Lappen im Lichte der Sprachwissenschaft // Ural-Altäische Jahrbücher. XXVII, 1–2. Wiesbaden, 1955.
29. *Хайду П.* Уральские языки. М., 1985.
30. *Попов А.И.* Из истории лексики языков Восточной Европы. Л., 1957.
31. *Попов А.И.* Из истории славяно-финно-угорских лексических отношений // Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. V. 1–2. Budapest, 1955.
32. *Szinnyei J.* Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Berlin und Leipzig, 1922. S. 22.
33. *Wiklund K.B.* Entwurf einer urlappischen Lautlehre. 1. // MSFOu. X. 1. Helsingfors, 1896. S. 252–256.
34. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. IV. М., 1973. С. 408.
35. *Грузов Л.П.* Историческая грамматика марийского языка. Введение к фонетике. Йошкар-Ола, 1969. С. 85–87.
36. *Куклин А.Н.* Названия физико-географических объектов Марийской АССР (с комментариями) // Вопросы марийской ономастики. Йошкар-Ола, 1985. С. 127, 129.
37. *Матвеев А.К.* К этимологии коми-зыр. *вис(виск-)* // Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. XXIV. 1–4. Budapest, 1974.
38. Акты Холмогорской и Устюжской епархий. Кн. 3. // РИБ. XXV. СПб., 1908. С. 904.
39. *Галкин И.С.* Историческая грамматика марийского языка. Морфология. Часть II. Йошкар-Ола, 1966. С. 22, 47–49, 52–54.
40. *Гордеев Ф.И.* Этимологический словарь марийского языка. Т. 1. Йошкар-Ола, 1979. С. 190–191.
41. *Матвеев А.К.* Есть ли древнепермская топонимика в Заволочье? // СФУ. 1965. № 3.
42. *Жеребцов Л.Н.* Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами. X – начало XX в. М., 1982. С. 26–34.
43. *Матвеев А.К.* Еще об этимологии этнонима *зырянин* // Этимологические исследования. Свердловск, 1984.
44. *Туркин А.И.* Топонимия Нижней Вычегды. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1971.
45. *Гусельникова М.Л.* Еще раз о топонимах на *-луг/-лук* в Ленском районе Архангельской области // Этимологические исследования. Екатеринбург, 1991.
46. *Пантелеева А.А.* Ненецкие заимствования в севернорусских говорах // Взаимодействие языков. Уч. зап. УрГУ. № 80: Серия филологическая. Вып. 8. Свердловск, 1969.
47. *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. I–II. Heidelberg – Göttingen, 1955. S. 584.

© 1995 г. Л.Л. КАСАТКИН

**НЕКОТОРЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСОНАНТНЫХ
СОЧЕТАНИЯХ В РУССКОМ, ДРЕВНЕРУССКОМ
И ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКАХ,
СВЯЗАННЫЕ С ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕМ СОГЛАСНЫХ
ПО НАПРЯЖЕННОСТИ/НЕНАПРЯЖЕННОСТИ**

0. Начиная с открытия младограмматиками фонетических законов некоторые исследователи при реконструкции фонетических процессов прошлого ограничиваются утверждением типа: в данном языке (диалекте) звук *a* изменился в *b* в такой-то позиции. Для современной науки такая констатация лишь начало решения проблемы. Исследователь должен постараться ответить и на следующие за этим вопросы: почему произошло данное изменение, как оно происходило, связано ли это изменение с особенностями фонологической системы, артикуляционной базы, качеством данного звука и др. Не всегда и не на все эти вопросы исследователь может ответить, хотя и должен стремиться к этому.

Данная статья представляет попытку по-новому ответить на вопросы о причинах и путях некоторых, в большинстве своем давно известных фонетических процессов русского, древнерусского и праславянского языков.

1. Во многих современных севернорусских говорах согласные противопоставлены не по глухости/звонкости, как в южнорусских и среднерусских говорах и в русском литературном языке, а по напряженности/ненапряженности. Это проявляется в целом ряде фонетических особенностей севернорусских говоров. Есть основание считать, что противопоставление согласных по напряженности/ненапряженности было свойственно праславянскому и древнерусскому языку, а затем в части русских говоров заменилось на противопоставление по глухости/звонкости [1–6].

Дифференциальные признаки напряженность/ненапряженность и глухость/звонкость реализуются целым набором одних и тех же артикуляционных и акустических параметров. Различие между двумя этими системами проявляется в первую очередь в конкретных значениях этих параметров, свидетельствующих о том, какой из них является ведущим в этом комплексе. Так, в системе, где противопоставление согласных осуществляется по признаку глухость/звонкость, наиболее контрастным является различие согласных по отсутствию/наличию голоса. Другие же параметры этого признака, в частности, большая/меньшая напряженность языка и стенок глотки, большая/меньшая степень длительности согласного, большая/меньшая сила струи выдыхаемого воздуха и др. лишь сопутствуют основному параметру, так как контраст глухих и звонких согласных по каждому из этих параметров гораздо менее яркий. В системе же, где противопоставление согласных осуществляется по признаку напряженность/ненапряженность, именно эти параметры являются ведущими, контраст согласных по этим параметрам гораздо более яркий, чем в системе противопоставления согласных по отсутствию/наличию голоса [7–10].

Одной из важных особенностей системы противопоставления согласных по напряженности/ненапряженности является то, что в консонантных сочетаниях первый согласный является сильным по напряженности, а второй слабым. Это проявляется, в

частности, в преобладании длительности первого согласного над вторым, тогда как в системе противопоставления согласных по глухости/звонкости, наоборот, первый согласный обычно короче второго [1, с. 128–131].

2. Долгота смычного согласного перед согласным может реализоваться в удлинении фазы смычки или послевзрывной фазы. В языках, знающих противопоставление согласных по напряженности/ненапряженности, может использоваться преимущественно тот или иной способ продления взрывных согласных. Так, в некоторых финских языках продление фазы смычки приводило к возникновению геминат, в германских языках продление послевзрывной фазы приводило к возникновению придыхательных. В севернорусских говорах зафиксированы оба эти способа продления глухих взрывных согласных: *а п'имбф, эт'ого, ка'б'ой; п'под'и, т'ам, к'ак* [1, с. 124–128].

2.1. В позиции перед согласным использование того или иного способа может быть связано с характером следующего согласного. Так, в севернорусских говорах перед смычным согласным у глухих взрывных может удлиниться послевзрывная фаза и возникать эффект придыхания: *вот' куды, а как' тоже, ак'н'е, к'н'аг'ин'а*. После [к], имеющего сравнительно с [п] и [т] наиболее длительную послевзрывную фазу (см. [1, с. 127–128]), придыхание может превратиться в глухой щелевой заднеязычный согласный, образующий вторую фазу аффрикаты: *н'ик'хто, ак'х'пр'одал'и*¹. Вероятно, о таком произношении говорят и отмеченные в материалах Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ) на территории северного наречия примеры типа *к^х пов'аск'е, к^х проймам, к^(х) том'у, к^(х) ком'у, к^(х) кор'ове, к^(х) коз'е* [13, с. 223].

В современных русских говорах известно произношение [х] на месте *к, г* перед глухими смычными согласными: [х] *кому, мя[х]кая, [х]то, но[х]ти, [х] парню, [х] чему, мя[х]че* и т.п. [13; 14, карта 88]. Явление это отмечено и в письменных памятниках древнерусского языка [15]. Оно было свойственно и литературному языку XVIII–начала XX вв. [16], но, потеряв позиционную обусловленность, стало уходить из литературного произношения, сохраняясь сейчас лишь в корнях *легк-/легч-, мягк-/мягч-: лёгкий, легче, мягкий, мягче* и др., а в словах *квохтать* и *клохтать* (из **klokъtati*, см. [17; 18]) закрепилось и в написании. По данным ДАРЯ, это явление широко распространено в русских говорах, кроме Западной и Северной диалектных зон, где оно встречается гораздо реже.

Наряду с этим явлением наблюдается также произношение [γ] на месте *к, г* перед звонкими взрывными: [γ] *городу, то[γ] да, [γ]болоту* и т.п. однако области распространения этих двух явлений не совпадают, различны, очевидно, и причины их возникновения. Так, произношение [γ] на месте [г] перед смычным согласным "в основном не характерно для говоров, имеющих фонему /г/. [γ] вместо [г] < [к] в этом положении в южнорусских говорах очевидно связано с наличием в них фонемы /γ/ в соответствии с /г/ литературного языка, так как сплошное распространение [γ] вместо *к* перед звонким почти не выходит за пределы говоров с фонемой /γ/" [13, с. 22; см. также 14, карта 87]. Такая же разница в реализации предлога *к* перед глухими и звонкими взрывными отмечается в говорах Сибири, унаследовавших эту черту от севернорусских и среднерусских говоров: перед глухими произносится [х], перед звонкими – [г] [19, с. 242–243, 318–319].

Многие лингвисты, рассматривавшие произношение [х] на месте *к* перед смычными согласными, его причиной называли диссимиляцию: взрывной перед смычным изменялся в щелевой [15; 19, с. 470; 20, с. 163–164; 21]. Можно предложить и иное объяснение происхождения данного явления.

¹ Об аффрицированности придыхательных, распространенной в различных языках, см. [11]. Замена глухих взрывных аффрикатами отмечается, например, в некоторых немецких диалектах: [p]>[pf], [t]>[ts], [k]>[kx] [12, с. 33–39, 255–256].

В древнерусском языке в период, когда на всей территории его распространения ~~согласные~~ противопоставлялись по напряженности/ненапряженности, произношение аффрикаты [кх̣] на месте ⟨к⟩ перед гласным должно было быть обычным явлением. Произношение [кх̣] на месте ⟨к⟩, ⟨г⟩ перед глухим смычным согласным в словах типа *кхто, кх кому, кокхти* (из *къто, къ кому, когъти*) и т.п. было характерно и для эпохи после падения редуцированных.

Возникшая, по-видимому, еще в праславянскую эпоху тенденция к изменению артикуляционной базы [см. 22] привела к тому, что противопоставление согласных по напряженности/ненапряженности заменялось противопоставлением по глухости/звонкости. В ходе этого процесса первый согласный консонантного сочетания сокращался. При этом должна была утратить часть своей долготы и аффриката.

По-видимому, в некоторых говорах аффриката [кх̣] сокращалась за счет ее целевой фазы: [кх̣] > [к]. Как указывалось, в современных говорах Западной и Северной диалектных зон обычно произношение [к]то, [к] кому, ле[к]ко, ко[к]ти и т.п., хотя в некоторых говорах и здесь в позиции перед смычными согласными встречается произношение [х] на месте к, г [14, карта 88; 23]. В большей же части говоров произошла утрата первой фазы аффрикаты [кх̣] – фазы смычки: [кх̣] > [х]. Так из *кхто, кх кому, л'ехко, кокхт'и* возникло произношение *хто, х кому, л'ехко, кохт'и* и т.п. Явление это отмечается в памятниках письменности с XIV в. [15; 24, с. 374].

Подтверждением именно такого пути возникновения данной диалектной особенности могут служить изменения и других аффрикат в щелевые согласные в позиции перед смычными согласными в русском языке. Так, широко распространены в русских диалектах и известны литературному языку примеры изменения [ч'] в [ш'], а затем в [ш] (в связи с его отвердением) перед [н] и [т]: *коне[ч'н]о > коне[шн]о, ску[ч'н]о > ску[шн]о, моло[ч'н]ый > моло[шн]ый* и т.п., а также [ч'то] > [што] [14, карты 83–86; 25; 26]. В древнерусском *чъбан* после падения редуцированных глухой [ч'] перед звонким [б] озвончился: [д'ж'бан], а затем аффриката изменилась в щелевой, позднее отвердевший: *жбан* [18]. В цокающих говорах, где в соответствии с [ч'] произносятся [ц], [ц'], [ц''] на их месте перед [н], [н'] отмечаются [с], [с'], [с'']: *пшени[с]ный, моло[с]ный, яш[с']ница, я[с']невый, ове[с'']ник, ши[с'']ник* и т.п. [26; 27].

Так же, как и при ослаблении аффрикаты [кх̣], могла утрачиваться щелевая фаза у аффрикаты [ц'] (= [т'с']), [ц] (= [тс]). Так, в псковских и тверских говорах, характеризующихся цоканьем в настоящем или в прошлом, встречается произношение [т], [т'] на месте аффрикаты. Чаще всего такой [т], [т'] отмечается перед смычным согласным или на конце слова: *атёт, маладёт, кузнёт, братет, дот и доть, нёметь, кирнёт, дятники* и др. [28, с. 348, 349, 352, 354–358, 361, 364, 368, 377]; *лисётка, натнёт, атёт, немет, братит ты мой, клот'* и др. [29]; *малотный, пшенитный, наротно, скотно, смотно, яётня, мутная, рятнэй, натнэй, чернитник, натнй* и др. [26, с. 29; 30].

Подобная утрата щелевой фазы аффрикаты [ц'], [ц''] и произношение [т'], [т''] на ее месте отмечена и в архангельских говорах: *с'т'итал'и, н'ит'евó, на гран'ит'е, т'йшю, птйт'ка, т'еса́ (= часа) [31]; пр'ит'итат'* (= причитать), *т'еп, т'ас, кат'ул'у, кол'ёт'ко, опкát'ивайу* и др. [32; 33]; *прит'итан'йо, с пал'т'ей* (= с пальцев), *с'т'иха, йет'ийа* (= ячейка), *т'йш'ч'о* (= чище), *кút'а, т"ут'* (= чудь), *т"óрной* и др. [34].

Характерно, что произношение [т], [т'], [т''] на месте [ц], [ц'], [ц''] встречается в тех же говорах, где обычно и произношение [к] перед глухими смычными: [кто] и т.п. Это еще раз подтверждает вероятность того, что так же, как [т], [т'] возникли здесь в

результате ослабления аффрикаты и утраты ее второй, щелевой фазы², подобный путь прошло и произношение [к] перед смычными согласными: этот [к] не сохранение старого звука, а результат сокращения аффрикаты [кх̣].

Диссимиляцией обычно объясняют изменение **tt* > **st* в праславянском языке: **metti* > **mesti*, **vedti* > **vetti* > **vesti* и т.п. Отсюда чередование [t], [d] || [s] перед [t] в современных славянских языках: русск. *мету* – *мести*, *плету* – *плести*, *веду* – *вести*, *упаду* – *упасть*, *чтить* – *почесть*, *владесть* – *власть*, *завидовать* – *зависть*, *сладкий* – *сласть* и т.п. Однако очевидно, что в праславянском языке, знавшем корреляцию согласных по напряженности/ненапряженности, в сочетании *tt* первый согласный был напряженным и, следовательно, долгим. Долгота этого согласного не могла проявиться в увеличении фазы смычки и отсутствии взрыва, так как в этом случае на месте *tt* произносился бы согласный со смычкой тройной долготы. Поэтому долгота первого согласного должна была приводить к увеличению его послевзрывной фазы, что между двумя одинаковыми по месту образования переднеязычными согласными реализовалось в возникновении щелевого призвука того же места образования, то есть [s]: сочетание **tt* произносилось как [t̪s̪]. А при ослаблении аффриката теряла смычку: [t̪s̪] > [st]. Таким образом, диссимиляцией можно называть только результат этого изменения. Механизм же самого этого процесса и его причины обусловлены другими закономерностями.

Подобный процесс изменения напряженного смычного взрывного, получившего придыхательность, в аффрикату, а затем в щелевой согласный происходил и в других языках, в частности, в немецких диалектах, где зафиксировано изменение [p] > [p̪f] > [f], [t] > [t̪s̪] > [s], [k] > [k̪x̣] > [x], [ç] – так называемое второе передвижение ("перемой") согласных [12, с. 323; 36].

2.2. В позиции перед щелевым согласным того же места образования удлинение взрывного не могло реализоваться путем возникновения аффрикаты, так как это приводило бы в действительности к удлинению не первого, а второго согласного: сочетание ⟨ts⟩ в этом случае произносилось бы как [t̪ss̪]. А в системе противопоставления согласных по напряженности/ненапряженности, как указывалось выше, второй согласный консонантного сочетания короче первого. Поэтому в таком сочетании у смычного согласного увеличивалась фаза смычки: [t̪s̪]³.

При переходе от системы противопоставления согласных по напряженности/ненапряженности к системе противопоставления по глухости/звонкости в русском языке судьба сочетания [t̪s̪] была различной в разных положениях в слове.

Стык приставки и корня, стык разных основ обычно хорошо осознается говорящими. Здесь фонемный состав сочетания согласных ⟨ts⟩, ⟨ds⟩ не менялся, а происходило лишь ослабление первого согласного и как следствие этого – сокращение долготы фазы смычки: [t̪s̪] > [ts̪]; ср.: *отсыпать*, *надсадить*, *подсолнух*, *пятьсот*. Таков же был стык корня и возвратного постфикса в повелительной форме глагола, где выступает сочетание ⟨t'c'⟩: *паться*, *меться*, *позаботься* и т.п.

² Описывая это явление в псковских говорах, В.И. Чернышев считает причиной его возникновения гиперкоррекцию: "Звук мягкий *t* на месте мягких *ц* и *ч* является в силу существования рядов *лечь* и *лиць*, *пить* и *пиць*, *ночь* и *ноць*, *дочь* и *доць*. Подновляя говор по типам литературного произношения, переходят не только от *лиць* к *лечь*, но и от *доць* к *дочь*, от *немець* к *неметь*. Вместе с отвердением звуков *ц* и *ч* получается и твердое *t* в замену этих звуков" [28, с. 348]. Действительно, отход от цеканья, распространенного в псковских говорах, мог приводить к замене [ц'] на [t'] не только в тех словах, где это соответствовало нормам литературного языка, но и в тех, где это противоречило литературному произношению [ср. 35]. Однако твердые [ц], [ч] никак не могут ассоциироваться у говорящих с цеканьем. Поэтому происхождение твердого [t] на месте аффрикат не может объясняться гиперкоррекцией. Между тем в псковских и тверских говорах в большинстве примеров на месте аффрикат отмечается именно твердый [t].

³ Здесь [t̪] – импловивный согласный, то есть фактически лишь смычка артикулирующих органов, лига над [t̪] указывает, что этот неоднородный звук с увеличенной смычкой соответствует одной фонеме.

На стыке же ⟨т⟩ окончания 3-го лица глаголов с ⟨с'⟩ возвратного постфикса произошла трансфонологизация, сама же последовательность звуков осталась прежней: [т̄тс'] – ⟨тс'⟩ > [[т̄тс'] – ⟨тц'⟩. Очевидно, что при этом происходило и смягчение зубного перед мягким зубным: [т̄тс'] > [т'т'с']. Последующее отверждение [т'с'] (= [ц']) > [т̄с'] (= [ц]), происшедшее во многих русских говорах, в том числе и легших в основу литературного языка, привело к ⟨тц⟩: *смеется – смея[тц]а*. В инфинитиве, как и при произношении [т'] в окончании 3 лица, характерного для древнерусского языка, позднее лишь для южнорусских говоров, конечный результат был тот же: [т'т'с'] – ⟨т'с'⟩ > [т̄т'с'] – ⟨т'ц'⟩. В связи с отверждением [ц'] во многих говорах это сочетание изменялось в [т̄тс] – ⟨тц⟩: *смеяться – смея[тц]а*⁴. Такое же изменение происходило с этим сочетанием звуков и в других случаях, когда его фонемный состав был затемнен; ср. *дѣвъ на десяте > двенадцать*.

3. Увеличенная напряженность щелевых согласных перед согласными во многих севернорусских говорах проявляется в их значительной долготе, что особенно ярко видно у глухих щелевых согласных: *ч'иѣта, н'еѣком, л'еѣна, н'ер'ен'оѣла, н'ейѣком, з'д'ейны, уѣла, худ'айшчой, хл'евá, Вѣфка* и т.п. [см. 1, с. 129–131]. Напряженность щелевого язычного согласного проявляется и в увеличении напряженности мышц языка, что приводит к его "распуханию" и к спорадической смычке с зубами или нёбом. Если эта смычка возникает в начале щелевого согласного, то образуется аффриката. Так, в архангельских говорах встречается произношение [ц] на месте [с] перед согласным: *Моцквѣ, поцкѣт'ина, цкот, цкáзывала, ц косѣй, ц р'ек, тац вот* и т.п. Произношение [ц] или [ц'] на месте [с], [с'] часто наблюдается во многих архангельских говорах в суффиксе *-ск-* после сонорных согласных: *д'ер'ев'ѣнцкой, д'ер'ев'ѣн'ц'ка, по д'ер'ев'ѣн'ц'к'и, жѣн'ц'ко, Л'ешукѣн'ц'ком, (в) Мурманцк'и, морцкѣй, мас'т'ерц'кой, базáрц'ка, бойáрц'кайа, ф Сѣрц'ком, ц'оноварц'ко, ц'еногѣр'ц'к'их, с'ѣл'цк'ий, Тѣл'ца облас', В'ел'ц'к, кон'ешчѣл'цкой, по-нахál'цк'и, забыл'ц'кѣй, палашчѣл'ц'к'и*, а также после исконной [j], представленной звуком [й]: *латв'ийц'ка* либо нулем звука, возникшим в результате стяжения [й] и предшествующего [й]: *англ'йцка, áгл'йц'к'и, в Мар'йц'кой эсэсэр*. Однако после исконных шумных щелевых согласных, ассимилированных следующим [с], [с'] и выпавших, произносится только [с], [с']: *руска, по-руск'и, францѣс'к'и, мус'кѣй, мус'кѣ, кѣйн'ес'ка* (от названия села *Койнас*). Таким образом, усиление напряженности на стыке сонорного согласного и следующего за ним [с'] перед [к] приводило к образованию смычки в начале щелевого согласного и изменению его в аффрикату [ц'].

Напряженность [с], [з] перед [р] приводила к образованию смычки языка с верхними зубами или с альвеолами после щелевого согласного. Результатом этого было возникновение еще в праславянском языке в сочетаниях **sr, *zr* эпентетических *t, d*, вследствие чего **st > *str, *zr > *zdr*. Подобные сочетания известны самым различным русским говорам, наиболее последовательно произносятся они в севернорусских говорах: *стрѣб-от, стрѣбл'оно, стрѣбовѣй, строк, отстрѣц'ил'и, строн'ила* (= уронила), *настр'ѣту* (= навстречу), *стр'етáла, постр'етáлас', стрáка, зáстрал'и, нáстрал; наздр'ѣла, здр'ет* (= зреет), *доздр'ѣют, выздр'ѣют, здр'а, роздр'ѣзало, издр'ѣи* и др.

Также связано с напряженностью первого согласного возникновение эпентетического *d* в сочетании **nr > *ndr*: *ндрав, пондрáв'илас'*. Однако механизм этого изменения иной. Повышенная долгота смычки языка с верхними зубами (или альвеолами) при произнесении первого согласного не совпадает с артикуляцией нёбной занавески, которая поднимается и закрывает носовую полость раньше, чем заканчивается смычка. В результате конечная фаза смычного совпадает с отсутствием назальности. Так возникает "вставной" [d].

⁴ Здесь фонема [ц], так как [ц] выступает перед гласным, то есть в сигнификативно сильной позиции. Иная точка зрения высказана А.А. Реформатским [37].

4. Во многих русских говорах, главным образом южнорусских, начальные сочетания согласных в слове могут не сохраняться. Их изменение может происходить двояким образом: в одних случаях перед сочетанием согласных возникает протетический гласный, в других – сочетание разбивается вставным гласным. Каждый из этих способов изменения консонантного сочетания характерен для разных диалектных групп.

Слово *ржаной* с протетическим гласным [а], [о], реже [у], [и], [ъ], образующим 2-й предударный слог (*аржаной* и т.п.), распространено на всей территории южнорусского наречия и в части среднерусских и севернорусских говоров [14, карта 14]. Протетический гласный, чаще всего [и], образующий 1-й предударный слог (*иржы́* и т.п.), встречается, как правило, лишь в Юго-Западной диалектной зоне, составляющей часть ареала этого явления, известного также большинству белорусских и украинских говоров [14, карта 15; 24, с. 260–264; 38–40]. Большинство примеров составляют слова с первыми сонорными согласными, главным образом [р] и [л]: *иржи, иржать, иржавый, ирта, илгать, илба, ильдом* и т.п., а также [м], [н], [w]: *имгла, имха, имчать, инавиться, ивнук, ивьюга* и т.п. Встречаются примеры с протетическим гласным и перед шумным согласным: *Иглеб, игнать, игруша, иткем, иштука, ижну, издесь, изделать, истужа, исправка ис песнями, из яечками, ик вам, ик сараям* и т.п. [40; 41, с. 15–17].

Вставка гласных внутрь консонантного сочетания типа *п[ъ]латок, г[ъ]речиха, к[ъ]рапива, н[а]равиться, м[ы]ного, с[и]вет* и т.п. чаще всего встречается "в обширной зоне, включающей восточную группу южного наречия вместе с территорией к югу и востоку от нее, а также примыкающие к ней восточные среднерусские говоры – акающие и окающие (южную часть последних)" [42, с. 94]. Более широко к западу, чем в этом юго-восточном ареале, распространено произношение с гласными вставками лишь некоторых слов: *п[ъ]шенница, с[ъ]морщина, п[ъ]шеню* и некоторых других, обычно с вставным [ъ], образующим 2-й предударный слог, реже с [ы], [а], [у] [14, карта 13].

Происхождение протетического гласного перед сочетанием согласных с первым сонорным А.А. Шахматов связывал с исконной, как он считал, слоговостью начальных сонорных, стоящих перед *ъ, ь*: оставшиеся перед выпавшим *ъ* и *ь* слоговые сонорные в начале слова перед согласными "устранялись с течением времени в различных русских говорах более или менее однообразными способами, а именно посредством изменения" слоговых сонорных в сочетании гласная слоговая + сонорная неслоговая [43; 44]. Примеров с протетическим гласным перед сочетанием согласных с первым шумным А.А. Шахматов не рассматривал.

Е.Ф. Карский выдвинул сходное объяснение появления протетического гласного перед сочетанием согласных с первым сонорным, указав при этом, что в результате выпадения *ъ* или *ь*, стоящего после сонорного, возникала "группа согласных, трудная для произнесения в начале слов". "В таком положении *р, л, в, м* способны становиться слоговыми", поэтому "перед ними появляется гласный звук... естественно развившийся перед слоговыми согласными". Появление протетического гласного перед сочетанием согласных с первым шумным происходило, по мнению Е.Ф. Карского, "по аналогии случаев, имеющих в начале приставочные звуки" [24, с. 260]⁵.

Новое объяснение может быть основано на особенностях системы противопоставления согласных по напряженности/ненапряженности. В такой системе шумный согласный, стоящий в начале консонантного сочетания, был напряженным: [ст]ужа, [см]ородина, [шт]ука, [р]уша, [з'д']есь, [т'в]орог, [к'л]очки, [к'в]ам. Напряженный же согласный может восприниматься как слоговой. Так, в южнорусских говорах (главным образом юго-восточных), как в литературном разговорном языке, гласный, стоящий в позиции, где обычна наиболее сильная его редукция, может ослабляться до

⁵ Л.Л. Васильев считал, что "во всех этих случаях надо исходить не из слоговых звуков, а из неудобного сочетания согласных, которое образовалось после выпадения *ъ (ь)*" [41, с. 18].

нуля, не произносятся [14, карта 32; 45; 46]. При этом количество слогов в слове часто остается прежним, так как слоговость с утраченного гласного переходит на согласный. (Это, к сожалению, почти не отмечается в материалах ДАРЯ.) В этих случаях слоговыми могут быть не только сонорные согласные – *n[r]дава́ть, мо[л]тоббе́ц, вы[н]су (продава́ть, молотобоец, вынесу)*, но и шумные звонкие – *[γ]вори́ть, [з]зуби́ть (говори́ть, зазуби́ть)* и шумные глухие – *[ç]поги́, [ц]толбо́к, [т]поры́ (сапоги, потолок, топоры)*. По-разному произносятся *[з]дава́ть (сдавать)* и *[з]дава́ть (задавать), вы[γ]нем (выгнем)* и *вы[γ]ним (выгоним)*, *[п]лева́ли* и *[ц]лива́ли (поливали)*, *зя[т'] пусти́л* и *зя[т'] пусти́л (зятя)*. Слоговые согласные в этих парах отличаются от неслоговых большей напряженностью: щелевые – долгой, взрывные – придыхательностью.

Напряженность первого согласного консонантного сочетания обычна в системе противопоставления согласных по напряженности/ненапряженности. Когда же эта система стала заменяться системой противопоставления согласных по звонкости/глухости, напряженность первого согласного в таких сочетаниях стала восприниматься как его слоговость. Но слоговые согласные не типичны для русского языка. Поэтому возникло стремление перенести слоговость с согласного на гласный, которому обычно и присуща эта функция. Так возникли неэтимологические гласные – протетические в Юго-Западной диалектной зоне и эпентетические в Юго-Восточной. То, что эпентетические гласные возникали чаще в начальном слоге слова, хотя возможны и в других слогах [см. 42, с. 97–98; 47, с. 213–216, 218–219, 221–223; 48], объясняется, по-видимому, тем, что начало слова характеризуется повышенной интенсивностью по сравнению с другими его частями. Здесь напряженность первого согласного консонантного сочетания, поддержанная словесной просодической интенсивностью, напряженностью, была особенно заметна.

Протетические и эпентетические гласные известны почти исключительно южнорусским и части среднерусских говоров. Это связано, очевидно, с тем, что во многих севернорусских говорах до сих пор существует противопоставление согласных по напряженности/ненапряженности, другие же севернорусские говоры утратили это противопоставление недавно.

5. В говорах, знающих противопоставление согласных по напряженности/ненапряженности, второй согласный консонантного сочетания, как указывалось, слабый по напряженности, ненапряженный. В некоторых позициях, еще более ослаблявших его, второй согласный утрачивался. Так, почти во всех севернорусских говорах и в ряде среднерусских и южнорусских известна утрата [т] в сочетании <ст> на конце слова: *мос, хвос, лис, баянис, артис* и т.п. при сохранении этого [т] перед гласным: *моста, хвоста, листа* и т.п. Еще шире распространена утрата конечного [т'] в сочетании <с'т'>: *шерсь, чась, кись* и т.п. при *шерсти, части, кисти* [14, карта 80].

Наблюдается в севернорусских говорах утрата и других согласных в консонантных сочетаниях на конце слова, главным образом сонорных, которые обладают наименьшей напряженностью артикуляции среди согласных: *добра – доп, мотоцýкла – мотоцýк, с"п'екта́кл'а – с"п'екта́к, насмы – нас*, а также *из за́кса – в зак*. Закрепилась эта особенность в русском языке в глагольных формах прошедшего времени мужского рода; [л] после согласных, оказавшись после падения редуцированных на конце слова, утратился: *несла – несль > нес, везла – везль > вез, утихла – утихль > утих* и т.п.

Широко известно в севернорусских говорах ослабление до полного выпадения смычного [т], [т'], стоящего после [с], [с'], [с''] перед щелевым сонорным: *рожес'во́, ворос'во́, нача́л'с"во, с ростро́йс"ва, хоз"аис"в'енны; л'ис"йо, шч́ис"йо, кúс"йо (= кусты), кос"йо́ (= кости), за́н'ир'с"йо (от перст); ср. также н'ер'еды́з"йо (от изба)*.

6. С напряженностью первого и ненапряженностью второго согласного консонантных сочетаний связаны, очевидно, разнообразные случаи прогрессивной ассимиляции согласных, типичные для севернорусских говоров.

В этих говорах наблюдается прогрессивное оглушение сонатов: *n'ju, но́uju, сош́юш*, *от́ жéдак, пр́шдýй, тр'и, т'ипл́о, ушл'и, сфójó, с'ф'э́жу* и т.п. [1, с. 131–132]. Эта закономерность проявилась и в произношении [хф], [хф] на месте *хв* в ряде русских говоров: [хф]ос, [хф]ос (= *хвост*), [хф]о_я, *сара[хф]ан* и т.п., в том числе и в написании типа *Тихфин* (*Тихвин*), *Тферь* (*Тверь*, из **тьхв'ьрь*) в севернорусских памятниках письменности [49]. В северных рукописях XII–XIV вв. встречаются примеры, отражающие прогрессивное оглушение и шумных согласных: *кт'ь* (<*къд'ь*), *сторовъ* (<*съдоровъ*), *сторови* [50; 5, с. 158].

В севернорусских говорах наблюдаются различные случаи прогрессивного смягчения согласных. Так, в архангельских говорах встречается произношение [с'н'], [ш'н'], [ш'н'] на месте *чън* с мягкостью [н'], возникшей в результате уподобления предшествующему мягкому: *нарóс'н'о, врус'н'у* (= *вручную*), *колóд'еш'н'а, до урóш'н'ого, р'еш'н'а* и т.п. [27]. В этих же говорах встречается прогрессивное смягчение и других согласных: *пóл'з'а, пóл'з'оват'* (мягкость [з'] здесь, по-видимому, вторична), *пó л'д'у, изо л'д'у, со л'д'ом, подо л'д'ом, пал'т'о, Ус'-В'ашка* (<*Усть-Важка*). Широко распространено здесь известное и в других севернорусских говорах [14, карта 79] произношение [л'н'] на месте *л'н*: *пó л'н'у, картóф'ел'н'а, мýл'н'а водá, мýл'н'ий, од'д'ел'н'о, отвáл'н'о, уд'ив'ит'ел'н'о* и т.п. Широко распространено в исконно севернорусских говорах прогрессивное смягчение первого согласного суффикса *-ск-*: *жé[н'с']кая, деревé[н'с']кая, рý[с']кая* (<*русская*) и т.п. [14, карта 78] и суффикса *-ств-*: *начá[л'с']во* (<*начальство*), *воро[с']вó* (<*воровство*) и т.п.

Встречается в севернорусских говорах прогрессивная ассимиляция и по другим признакам. Так, в архангельских, вологодских, вятских, костромских говорах я наблюдаю произношение [шч] и [ждж] на месте *шт, жд* (ассимиляция по способу образования): *шчаны́, шчо, пошчó, шчóбы, шчáб'ел', шчоко́туры* (= *штукатуры*), *шчúка* (= *штука*), *пошчáйн'ик'и* (= *подштанники*), *шчóфн'ик; жóжат', жóжут, дожджáлас', нужóжá, Над'ёмóжа*.

Почти исключительно в говорах, знающих произношение [л'н'] на месте *л'н* отмечено и произношение [л'л'] на месте этого сочетания: *учíte[л'л']ица, бо[л'л']ица, колоко́[л'л']я, исполните[л'л']ий лист, понеде́[л'л']ик, [л'л']яной* [14, с. 183].

В севернорусских говорах спорадически произносятся долгие мягкие согласные на месте сочетаний мягких согласных с [j]: *свáт'т'а, тр'ém'т'а, тр'ém'т'ого, Тат'т'ана, дв'ижен'н'о, в'ес'эл'л'а* и т.п. [14, карта 74]. Встречается это явление и в говорах Сибири [19, с. 262–263, 348–349]. В отличие от говоров Юго-Западной диалектной зоны, где произношение таких долгих согласных отмечено большим количеством примеров и представляет собой результат прошедшего в прошлом фонетического изменения, охватившего эти говоры вместе с украинскими и белорусскими говорами, – в севернорусских говорах долгие согласные на месте сочетаний согласных с [j] возможны лишь как один из вариантов произношения, обычно более редкий.

В севернорусских говорах взрывной глухой согласный, стоящий после щелевого, может изменяться в щелевой: *с фáр'евом* (= *с паревом*), *йес'флáт'жо-то* (= *платье*), *усвáв'илсь* (= *установился*) [1, с. 131].

7. Смягчению согласных в праславянском языке посвящено значительное количество работ. Не вдаваясь в дискуссию, попытаюсь интерпретировать некоторые детали и этапы этого смягчения, исходя из особенностей системы противопоставления согласных по напряженности/ненапряженности.

В период 1-й палатализации заднеязычных согласных фонемы <к> и <г> были про-

тивопоставлены как напряженная и ненапряженная. Перед гласным не после согласного фонема ⟨к⟩ реализовалась напряженным придыхательным звуком, у которого фаза придыхания совпала с [x]. Таким образом, на месте *к перед гласными не после согласных произносилась аффриката [k̥x]. Ее смягчение перед гласными переднего ряда дало тоже аффрикату [tʃ] = [č].

Такой результат 1-й палатализации был обусловлен близостью или совпадением зон артикуляции палатальных [t] и [k] (как и [d] и [g]). Следствием этой близости являются разнообразные замены ⟨t⟩ на ⟨k⟩ и наоборот (и ⟨d⟩ на ⟨g⟩ и наоборот) в различных славянских языках. Так, в разных русских говорах отмечена замена [к'] на [т'] типа *р[т']и*, [т']*ислый*, *с[т']ирдá* и т.п. и замена [т'] на [к'] типа [к']*етрáдь*, [к']*еáтр*, *апе[к']út*, [к']*яжелó*, [к']*éсто*, [к']*úна*, *поч[к']ú*, [к']*енéрь* и т.п. (а также замена [г'] на [д'] типа *нó[д']и*, *мо[д']úла*, [д']*úбель* и т.п., [д'] на [г']: *óр[г']ен* и т.п.) [14, карты 68, 69; 51, с. 61–68].

Вторая фаза аффрикаты [k̥x] изменялась при этом так же, как и *ch [x] по 1-й палатализации. Передвигаясь в палатальную зону, звук [x] заменялся на [ç], при этом даже незначительное удлинение щели в зоне сближения языка с нёбом приводило к замене его на [š].

В этой же позиции на месте *g произносился ненапряженный звук. Взрывные ненапряженные согласные произносятся с вялой артикуляцией языка и имеют склонность к спирализации. Так, в современных севернорусских говорах на месте [г] отмечается произношение [γ] [см. 1, с. 133–135; 2]. Поэтому по 1-й палатализации *g изменялся в щелевой [ž], таков и обычный рефлекс этого звука, отвердевшего в большинстве говоров современных славянских языков. Предполагаемой многими исследователями предшествующей стадии аффрикаты [dž] у этого согласного, по-видимому, не было.

Перед *j фонема ⟨к⟩, как и перед гласным, была представлена напряженным звуком [k̥x]. Его смягчение и переход в палатальную зону под влиянием следующего [j] ([i]) приводило к изменению в [tʃ] = [č]. Этот звук, в свою очередь, вызвал оглушение следующего [j] и изменение его в [š]; возникало сочетание [tʃš]. Однако в этом сочетании второй согласный, совпавший со второй фазой аффрикаты, оказался более долгим, чем первый. Это нарушало закономерность, по которой соотношение длительности первого и второго согласных должно было быть обратным. В связи с этим длительность [š] сокращалась: [tʃš] изменялось в [tʃ] = [č], ставший представителем одной фонемы.

Иной результат давало сочетание *tj. Перед [j] звук [t] был напряженным, придыхательным, но не аффрицированным. Поэтому его палатализация (палатация) приводила к изменению его в [t']. Последующее прогрессивное воздействие [t'] на [j] (ассимиляция [j]) приводила к его оглушению, то есть изменению в [ç], и сближению места его артикуляции с [t']. В результате на месте [j] возникал палатальный щелевой глухой согласный – в одной части диалектов праславянского языка [š], в другой части диалектов [ś]. Так образовались бифонемные сочетания [tʃ] в восточном ареале и большей части южного диалектного ареала праславянского языка и [tʃ] в западном.

Дальнейшее развитие этих бифонемных сочетаний привело в большинстве славянских языков, знающих эти сочетания, к изменению их в монофонемные: [tʃ] > [tʃ] = [č], [tʃ] > [tʃ] = [č], а также к их отвердению в части этих языков. В большинстве же древнеболгарских говоров произошла метатеза и дальнейшее отвердение согласных сочетания: [tʃ] > [št] > [st], хотя в некоторых западных болгарских говорах такой метатезы не было [см. 52; 53]. Так из праслав. *světja возникли русск. *свеча*, блр. *свечка*, укр. *свіча*, серб.-хорв. *свѣћа*, словен. *svēča*, чеш. *svíce*, словац. *svieca*, польск. *świeca*, в.-луж. и н.-луж. *swěca*, болг. *свещ*, болг. диал. *свеча*.

Особой была и судьба сочетаний **gj* и **dj*. Звонкие [g] и [d] были ненапряженными сравнительно с напряженными [k] и [t] перед [j], но более напряженными, чем следовавший за ними [j].

Ненапряженный [g], произносившийся, как и перед гласным, близко к [ɣ], палатализуясь, изменялся в [ǰ]; в подобный же звук изменился в результате прогрессивной ассимиляции [j]: [gj] > [ǰǰ]. Сокращаясь, это сочетание давало [ǰ].

Сочетание [dj] изменялось в [dǰ] в восточном диалектном ареале и большей части южного ареала праславянского языка и в [dʒ] в западном. Дальнейшее развитие этих сочетаний, как и сочетаний, возникших из **tj*, приводило к монофонемным аффрикатам – [dǰ] в восточном и части южного диалектного ареала, [dʒ] в западном, где позднее в части диалектов аффрикаты утратили смычку, изменились в [ǰ], [ǰ] и отвердели. В праболгарском языке произошла метатеза и отверждение согласных: [dǰ] > [ǰd] > [ǰd]. Так из праслав. **medja* возникли русск. *межа*, блр. *мяжа*, укр. *межа*, серб.-хорв. *меџа*, чеш. *mez*, словац. *medza*, польск. *miedz*a, в.-луж. *tjeza*, н.-луж. *tjaza*, болг. *межда*.

Сочетание **kt* произносилось как [kxt]. Перед гласным переднего ряда произошла палатализация обоих согласных, в результате чего [kxt] > [tʃt]. В большинстве диалектов праславянского языка второй согласный этого сочетания, ненапряженный в этой позиции, в результате прогрессивной ассимиляции спирантизовался: [tʃt] > [tʃʃ]. Дальнейшее изменение этого сочетания было различным в восточном диалектном ареале и части южного, где [tʃʃ] > [tʃʃ] > [tʃ] = [č], и в западном ареале, где [tʃʃ] > [tʃʃ] > [tʃ] = [c]. В праболгарском в сочетании [tʃt] произошла утрата смычки у аффрикаты, позднее сочетание отвердело: [tʃt] > [tʃt] > [st]. Так из **nokъ* возникли русск. *ночь*, блр. *ноч*, укр. *ніч*, серб.-хорв. *ноћ*, словен. *ноč*, чеш., словац., польск., в.-луж. и н.-луж. *нос*, болг. *нощ*.

В сочетаниях **stj*, **zdj* звуки [st], [zd] под влиянием следующего [j] ([j]) передвигались в палатальную зону и, кроме того, [ś] и [ǰ], более напряженные, чем вторые согласные, произносились с удлинненной щелью, что, как и в сочетаниях **sj*, **zj*, приводило к их изменению в [ś], [ǰ]. В сочетаниях [śj], [ǰj] ([śj], [ǰj]) второй согласный был ненапряженным, поэтому он не ассимилировал следующий [j] ([j]). Так, в современных севернорусских говорах, где после одного глухого согласного сонант обычно оглушается: *п'я́ный*, *Крым*, *трёйо*, *кд́ал'и*, *кфашн'а*, после двух глухих согласных сонант обычно не оглушается: *с п'я́ным*, *ф Крым*, *стрёмим*, *скл́али*, *ф квашн'ах* [1, с. 132].

Звук [j], в котором могла реализоваться фонема ⟨j⟩ этих сочетаний [см. 54, с. 61–74], совпал с начальной фазой следующего гласного и в результате этого сократился до нуля. Об [i]-образной начальной фазе гласных, стоящих после мягких согласных, могут свидетельствовать древние кириллические написания букв **ѡ**, **ѣ**, **ю**, **ѣ**, **ѣ**: первая часть этих диграфов образована буквой **і**, обозначающей ⟨i⟩. Об этом же могут говорить и данные современных говоров. Так, в севернорусских говорах, сохраняющих древнее противопоставление гласных по ряду и не знающих противопоставления согласных по твердости/мягкости, гласные фонемы переднего ряда могут воплощаться в звуках неоднородного тембра с первой [и]-образной или [е]-образной частью: *м[и̯а]со*, *л[и̯о]н*, *н[и̯у]х*, *с[и̯е]но* или *м[е̯а]со*, *л[е̯о]н*, и т.п. При этом начальная фаза гласного может совпадать с реализацией ⟨j⟩ перед гласным [55]. Такие же неоднородные гласные [и̯а], [и̯о], [и̯у], [и̯е] встречаются и в южнорусских говорах [56].

Таким образом, сочетания **stj*, **zdj* изменились в [st], [zd], а следующий гласный, если он был непреднего ряда, изменил ряд на передний. Такой же результат дали сочетания **skj*, **zgj* вследствие совпадения палатальных [k], [g] с [t], [d]. В некоторых славянских языках эти новые сочетания могли отвердевать (гласный при этом вновь изменял свой ряд): ср., например, старославянские формы **тъштѧ** (<**tbstja*), **гнѣждѧ**

в результате прогрессивной ассимиляции изменялся второй согласный.

Во многих русских говорах сочетание [ш"т"] изменилось в [ш"т"ш"] = [ш"ч"], а [ж"д"] в [ж"д"ж"]. В некоторых современных русских говорах в словах *щука, ищу, ящик, леца и езжу, возжи, дрожжи, дождик* и т.п. до сих пор сохраняется произношение сочетаний [ш"т"ш"], [ж"д"ж"] или [ш"т"ш'], [ж"д"ж'] либо возникших в результате их отвердения [штш], [ждж] [51, с. 29–33; 14, карты 48, 49, 52, 53]. Прогрессивное изменение второго согласного произошло и в заимствованных из старославянского языка словах с [ш"т"], возникшим из *tj и *kt: слова типа *свеща, ночь, помощь, общий, вращать, горящий* произносились в русском церковнославянском языке с [ш'т'ш'] [57].

Прогрессивная ассимиляция в таких сочетаниях во многих севернорусских говорах – живая фонетическая закономерность. В этих говорах произносятся [шч] и [ждж] не только на месте литературных [ш'] и [ж'], [ж] в таких словах, как *щү́ка, шча́с'ю, т'о́шча, пушчу́* и т.п., *во́жджы, дро́жджы, в'ижджа́т до́жджык* и т.п., но, как указывалось выше, и в соответствии с литературными [шт], [жд]: *шчаньы, шчо, жджат', одна́жджы* и т.п. Сочетания [шч], [ждж] возникают на месте [шт], [жд] и на стыке слов при отсутствии паузы: *уш чак* (= *уж так*), *пр'ид'о́ж джа* (= *приде́шь да*), *надо́иж джак* (= *надоишь дак*) — записано мною в архангельских говорах.

Л.Э. Калнынь и Л.И. Масленникова отметили такое произношение в говоре деревни Мелешково Тотемского района Вологодской обл. При скандировании местные жители могли делить слова на слоги так, что согласные этих сочетаний оказывались в разных слогах. В этих случаях на месте аффрикат [ч], [дж] произносились взрывные: *пошчо́* и *поштó*, *йе́шче* и *йе́шт'е*, *шчы́рл'иц'* и *зашт'у́рл'иц'а*; *до́жджык* и *до́жд'ик*, *ро́жджэн'ю* и *ро́жд'ен'ю*, *пр'и́йежджа́йот* и *пр'и́йежд'ай*, *дро́жджы* и *дро́жд'и* и др. Это свидетельствует о том, пишут исследователи, что "переднеязычные аффрикаты являются позиционными реализаторами зубных взрывных фонем в позиции после ш, ж" [58, с. 97–98]. Об этом же говорит и то, что произношение [шч] распространено в говорах с мягким цоканьем, где в [ц'] ([ц'']) совпали прежние фонемы <ч'> и <ц'>. Если бы [ч] был представителем <ч>, то он не сохранился бы. Итак, севернорусские [шч], [ждж] представляют сочетания фонем <шт>, <жд> [см. 59].

Встречающееся в русских говорах произношение [шт'], [шт], [жд'], [жд] в соответствии с литературными [ш'], [ж'], [ж] (*ле[шт']я, ле[шт]а – леца, во[жд']и, во[жд]ы – возжи* и т.п.) обычно объясняется как результат утраты конечного щелевого элемента [20, с. 127; 60; 51, с. 32–33]. Возможно, это так и есть, и тогда отпадение конечного щелевого элемента может быть связано с утратой прогрессивного воздействия первого согласного на второй при ослаблении первого согласного в связи с переходом от системы противопоставления согласных по напряженности/ненапряженности к противопоставлению по звонкости/глухости. Возможно также, что произношение таких [шт'], [шт], [жд'], [жд] представляет собой сохранение древнейших вариантов сочетаний со вторым взрывным согласным.

7. Как известно, в позднем праславянском языке действовал закон открытого слога, которым объясняются многие фонетические изменения того времени. Этот закон отразил, в частности, передвижение слогораздела внутри слова с сочетанием согласных: если раньше слогораздел был между согласными, то затем он стал проходить перед сочетанием согласных. Причиной этого передвижения слоговых границ и формирования самого закона открытого слога было, по-видимому, изменение артикуляционной базы [ср. 22] и связанное с ним изменение фонологической системы: противопоставление согласных по напряженности/ненапряженности заменялось противопоставлением по глухости/звонкости.

Подтверждением этого может служить разное членение на слоги последовательности ГССГ в словах типа *место, пастух, Пасха, брусника, кофта, девушка, дружба* и т.п. в разных русских говорах. В севернорусских говорах, знающих более

дружба и т.п. в разных русских говорах. В севернорусских говорах, знающих более древнее противопоставление согласных по напряженности/ненапряженности, слогораздел проходит в таких словах между согласными, а в русских говорах и в литературном языке, где согласные противопоставлены по глухости/звонкости, слогораздел проходит перед сочетанием согласных. Предположение о таких различиях в слогоразделе в русских говорах было высказано Р.Ф. Пауфошимой [61], а затем было подтверждено экспериментально ею же [47] и Л.Э. Калнынь и Л.И. Масленниковой [58; ср. также 62; 63].

Объясняется эта особенность слогораздела артикуляционной особенностью – типом примыкания согласного к предшествующему гласному. В севернорусских говорах наблюдается сильное примыкание, а в остальных говорах и в литературном языке – слабое. Для сильного примыкания характерна, в частности, долгота, напряженность согласного (и связанная с этим краткость предшествующего гласного) в последовательности ГС, следовательно: ГССГ. Для слабого примыкания характерна краткость, ненапряженность согласного (и долгота предшествующего гласного) в последовательности ГС, следовательно: ГССГ [ср. 47; 61; 64].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф. Противопоставление согласных по напряженности/ненапряженности в севернорусских говорах // Русистика сегодня. Функционирование языка: лексика и грамматика. М., 1993.
2. Andersen H. Lenition in Common Slavic // Language. 1969. V. 45.
3. Andersen H. On Some central innovations in the Common Slavic period // Slovansko jezikoslovje. Nachtigalov zbornik. Prispevki z mednarodnega simpozija v Ljubljani, 30 junija – 2 julija 1977. Ljubljana, 1977.
4. Krajevčič R. K teoriji potikladu fortis – lenis v praslovančine a slovanskyh jazykoch // Československé přednášky pro VII mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Lingvistika. Praha, 1973.
5. Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980. С. 43–44, 58–60, 161–168.
6. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М., 1981. С. 46–47, 61, 80–81.
7. Якобсон Р., Фант Г.М., Халле М. Введение в анализ речи. Различительные признаки и их корреляты. Гл. 2. Опыт описания различительных признаков // Новое в лингвистике. М., 1962. С. 207.
8. Бондарко Л.В., Зиндер Л.Р. О некоторых дифференциальных признаках русских согласных фонем // ВЯ. 1966. № 1. С. 12.
9. Кодзасов С.В. Об универсальном наборе фонетических признаков // Экспериментальные исследования в психолингвистике. М., 1982. С. 82.
10. Князев С.В. О связи особенностей артикуляционной базы говора с характером противопоставления глухих и звонких, твердых и мягких согласных // Современные русские говоры. М., 1991. С. 28.
11. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979. С. 120.
12. Жирмунский В.М. Немецкая диалектология. М.; Л., 1956.
13. Бурова Е.Г. Диалектные изменения и замены *к* при сочетании его с последующими взрывными согласными (в предложно-падежных конструкциях) // Очерки по фонетике севернорусских говоров. М., 1967.
14. Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР: В 3-х вып./Под ред. Р.И. Аванесова и С.В. Бромлей. Вып. 1. Фонетика. М., 1986.
15. Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. 4-е изд. М., 1907. С. 105–106.
16. Панов М.В. История русского литературного произношения: XVIII–XX вв. М., 1990. С. 126–128, 223–224, 386–388.
17. Этимологический словарь славянских языков: Праoslavянский лексический фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. Вып. 10. М., 1983.
18. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. 3-е изд. М., 1975.
19. Селіщев А.М. Избранные труды. М., 1968.
20. Аванесов Р.И. Очерки русской диалектологии. М., 1949.

21. *Иванов В.В.* Историческая грамматика русского языка. 3-е изд. М., 1990. С. 173.
22. *Касаткин Л.Л.* Одна из тенденций развития фонетики русского языка // ВЯ. 1989. № 6.
23. Общеславянский лингвистический атлас: Серия фонетико-грамматическая. Вып. 2а: Рефлексы *ѣ. М., 1990. Карта 16 *m/ѣ/къкъ(-жь). С. 138–139.
24. *Карский Е.Ф.* Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 1: Исторический очерк звуков белорусского языка. М., 1955.
25. *Обнорский С.П.* Избранные работы по русскому языку. М., 1960. С. 234–250.
26. *Бурова Е.Г.* К вопросу о сочетании *чн* в русских говорах // Русские говоры: К изучению фонетики, грамматики, лексики. М., 1975.
27. *Касаткин Л.Л.* К истории сочетания *чън* и шепелявения в русском языке («с'н' на месте *чън* и смежные фонетические явления в одном архангельском говоре) // Диалектография русского языка. М., 1985.
28. *Чернышев В.И.* Избранные труды. Т. 2. М., 1970.
29. *Копорский С.А.* Цоканье в Калининской области // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. 3. М.; Л., 1949. С. 167–168.
30. *Бьёрнфлатен Я.И.* Псковские говоры в общеславянском контексте // Норвежские доклады на XI съезде славистов, Братислава, сентябрь 1993 г. Oslo, 1993. С. 11–12.
31. *Кузнецов П.С.* О говорах Верхней Пинеги и Верхней Тоймы // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. 1. М.; Л., 1949. С. 29.
32. *Кузнецова А.М.* О способах реализации аффрикат и соотносительных согласных в одном севернорусском говоре // Исследования по русской диалектологии. М., 1973. С. 126, 131, 133–134.
33. *Кузнецова А.М.* Разновидности способа образования согласного в русских говорах // Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977. С. 170–172.
34. *Колесов В.В.* Расшифровка фонетической системы современного говора (на материале севернорусского цоканья) // Севернорусские говоры. Вып. 2. Л., 1975. С. 12–13.
35. *Касаткин Л.Л.* Об одном фонетическом гиперизме в смоленских и калининских говорах («с'т' на месте [с'с']»). К методике реконструкции диалектов прошлых эпох // Диалектология и лингвогеография русского языка. М., 1981.
36. *Серебренников Б.А.* Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974. С. 121, 131–137.
37. *Реформатский А.А.* Фонологические заметки // ВЯ. 1957. № 2.
38. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963. Карта 26.
39. Атлас української мови. Т. 1. Київ, 1984. Карта 24; Т. 2. Київ, 1988. Карта 23.
40. *Бурова Е.Г.* Протетические гласные в позиции первого предупредного слога в русских говорах // Русские народные говоры: Лингвогеографические исследования. М., 1983.
41. *Васильев Л.Л.* К характеристике сильно-акающих говоров. Варшава, 1907 (Отд. оттиск из журн. "Русский филологический вестник").
42. *Бурова Е.Г.* Гласные вставки в начальных группах согласных в русских говорах // Диалектология и лингвогеография русского языка. М., 1981.
43. *Шахматов А.А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка [Энциклопедия славянской филологии. Вып. 11.1.]. Пг., 1915. С. 229–230, 233–235, 242–243.
44. *Шахматов А.А.* К истории звуков русского языка. О полногласии и некоторых других явлениях. СПб., 1903. С. 176.
45. *Строганова Т.Ю.* О вокализме 2-го предупредного слога после твердых согласных в акающих говорах // Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977.
46. *Голубева Н.Л.* О консонантном окружении гласных, редуцируемых до нуля // Диалектография русского языка. М., 1985.
47. *Пауфошима Р.Ф.* О структуре слога в некоторых русских говорах // Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977.
48. *Калынин Л.Э.* Вставные гласные как обеспечение консонантности звуковых цепей в русских диалектах // Проблемы фонетики. I. М., 1993. С. 212–215.
49. *Орлова В.Г.* Губные спиранты в русском языке // Труды Ин-та русск. яз. АН СССР. Т. 2. М.; Л., 1950. С. 203–205.
50. *Самуйлова Н.И.* Развитие соотносительной категории глухости–звонкости согласных в русском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1963.
51. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров / Отв. ред. В.Г. Орлова. М., 1970.
52. *Кульбакин С.М.* Древне-церковно-славянский язык. 2-е изд. Харьков, 1913. С. 89.
53. *Стойков Ст.* Българска диалектология. София, 1962. С. 62, 106–108, 111, 112.
54. *Чекман В.Н.* Исследования по исторической фонетике праславянского языка. Минск, 1979.

55. Касаткин Л.Л. Гласные одного вологодского говора, не знающего противопоставления согласных по твердости–мягкости // Исследования по русской диалектологии. М., 1973. С. 65–67, 70–72.
56. Касаткин Л.Л. Утрата ⟨ѣ⟩ в связи с процессом монофтонгизации дифтонгов в русском языке // Современные русские говоры. М., 1991.
57. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München, 1987. С. 87.
58. Калнынь Л.Э., Масленникова Л.И. Опыт изучения слога в славянских диалектах. М., 1985.
59. Касаткин Л.Л. Прогрессивное ассимилятивное смягчение заднебных согласных в русских говорах. М., 1968. С. 102–103.
60. Кузнецов П.С. Русская диалектология. М., 1960. С. 175.
61. Пауфошима Р.Ф. Некоторые вопросы, связанные с категорией глухости–звонкости согласных в говорах русского языка // Экспериментально-фонетическое изучение русских говоров. М., 1969. С. 207.
62. Аванесов Р.И. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956. С. 42.
63. Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка. М., 1977. С. 129–137.
64. Князев С.В., Шатайкина М.С. О "сильном" примыкании // Проблемы фонетики. I. М., 1993.

© 1995 г. А.С. ГЕРД

**РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ
В КРУГУ СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН**

(на материале псковских говоров)

В 1960 г. была опубликована программная статья Б.А. Ларина “Историческая диалектология русского языка в курсе лекций акад. Шахматова и наши современные задачи” [1]. Прошло 35 лет со времени ее появления, но почти все ее положения актуальны и сегодня.

Поскольку основные этапы и черты развития русской исторической диалектологии выделены ярко и образно Б.А. Лариным в этой статье, а также в вышедших позднее книгах Ф.П. Филина и Полторака, остановимся ниже прежде всего только на отношении исторической диалектологии к близкородственным дисциплинам¹ [2–4].

Традиционная русская описательная диалектология зародилась не в среде филологов, а еще в XVIII в. в путешествиях первых русских академиков-естествоиспытателей. Именно во время экспедиций И. Георги, С.Г. Гмелина, И.И. Лепехина, П.С. Палласа, Н.Я. Озерецковского было собрано большое количество местных слов и выражений, опубликованных впоследствии в их трудах [5–10].

Позднее эта традиция была успешно продолжена Н.Я. Данилевским, Н.Я. Варпаховским, М.А. Мензбиром, Л.С. Бергом [11–14].

С активизацией работ Второго Отделения Российской. Имп. Акад. Наук, с началом подготовки в его стенах Опыта областного великорусского словаря все более уверенно становится на ноги диалектология как дисциплина филологическая. И здесь нельзя еще раз не отметить принципиальное различие между целями истории языка, исторической грамматикой и историей литературного языка. Задача общей истории языка – реконструкция основных исторических процессов и закономерностей развития языка (например, для славянских языков – это история “ѣ”, редуцированных, системы склонения и спряжения, отдельных групп слов). Классическими примерами таких работ являются монографии С.П. Обнорского, С.Д. Никифорова, В.И. Борковского, Н.П. Гринковой, П.С. Кузнецова, В.В. Колесова, многие диссертации [15–21].

Общие труды по исторической грамматике и лексикологии, даже когда в них содержится диалектный материал, если они не ориентированы на конкретный ареал, на тот или иной лингвистический ландшафт, крайне полезны для общей истории языка, но имеют все же косвенное отношение к исторической диалектологии.

Более сложными являются отношения исторической диалектологии к трудам по истории праславянского языка, по формированию отдельных славянских языков. В таких исследованиях язык рассматривается как совокупность диалектов и вследствие этого они уже по объекту описания имеют историко-диалектологический характер. Ярким примером таких работ являются монографии [22–24].

¹ Проблематика даже только русской исторической диалектологии столь многоаспектна и дискуссионна, что в настоящей статье позволим себе ограничиться только ею, тем более, что многие общие положения имеют равное отношение и к славянской исторической диалектологии в целом.

И все же наиболее ценными для исторической диалектологии являются исследования прямо и определенно ориентированные, спроецированные на те или иные говоры, диалекты.

Можно отметить несколько видов таких направлений. 1. Чисто синхронические описания диалектов и их особенностей вне сопоставления с другими говорами и без исторических комментариев; это: а) статьи, книги, диссертации по фонетике, грамматике, лексикологии отдельных говоров; б) областные словари, в) региональные атласы. 2. Синхронические, ареально-типологические исследования, построенные на сравнении, сопоставлении с данными других диалектов. 3. Описания языка местных памятников письменности. 4. Исследования, построенные в сравнительно-историческом аспекте.

Как уже отмечалось, традиционная диалектология долгое время оставалась наукой описательной, чисто синхронической по своему методу. В то же время в части полевых, лексикологических и лексикографических исследований она всегда была тесно связана с этнографией и краеведением, и в этом была ее сила. Диалектологические описания, шедшие бок о бок с историей края, с этнографией и сегодня дают нам наиболее глубокие и полные материалы по языку отдельных областей. Нигде мы не найдем больше сведений о том или ином диалекте, чем в его монографическом описании и в его областном, региональном словаре. Монографические описания отдельных диалектов, вопреки раздающейся порой критике в их адрес, навсегда останутся бесценными источниками для будущих исследователей самых разных направлений.

Здесь нельзя не вспомнить большое число статей, диссертаций, выполненных в русле создания Диалектологического атласа русского языка и посвященных системному описанию отдельных говоров.

За последние десятилетия, несмотря на все трудности, наметился резкий сдвиг в области русской региональной лексикографии; по количеству ареалов и разнообразию диалектных словарей русская лексикография в славянском мире очевидно идет впереди. Этого пока не скажешь о русских региональных лингвистических атласах, их у нас совсем немного [25–29]².

Практически вопрос о методе анализа в исторической диалектологии был поставлен еще в конце XIX начале XX века в известной дискуссии о том, на базе каких источников должна строиться общая история языка – на основании памятников письменности или – народных говоров. Сегодня мы знаем, что в равной степени важны оба типа источников. Однако следует сказать, что именно описания языка и диалектных особенностей местных памятников письменности и по сей день остаются хронологически наиболее точными и ценными исследованиями по истории тех или иных диалектов [30–40].

Прямо и непосредственно на задачи исторической диалектологии ориентированы исследования, построенные на широком ареальном и сравнительно-историческом фоне. Наибольшее число такого рода работ выполнено в области исторической и региональной лексикологии [41–44 (последняя работа ориентирована на Полесье)].

Особое место в исторической диалектологии занимают работы по топонимике.

Поскольку они всегда по самой своей сути привязаны к конкретной территории, к ареалу, их результаты нередко оказываются наиболее актуальными для истории того или иного диалекта. Именно здесь в последние десятилетия достигнуты весьма ощутимые успехи [45–48].

Но подлинная историческая диалектология немыслима без постоянного сопряжения и взаимоcontactирования с различными собственно историческими дисциплинами. И здесь значительно больше, чем собственно диалектологические исследования филологов для исторической диалектологии привнесли в свое время капитальные труды по

² Подготовлены Атласы Архангельской области (под ред. Л.П. Комягиной) и Атлас говоров среднего и нижнего Поволжья (под ред. Л.И. Баранниковой).

исторической географии, так как они, как правило, были ориентированы на историю конкретных областей, ареалов [49–52].

В общем кругу вспомогательных историко-диалектологических дисциплин должны быть названы многочисленные этнографические, краеведческие и статистические описания отдельных краев, губерний, уездов, которые стали появляться во второй половине XIX века. Большое число таких работ приведено в списке источников Словаря русских народных говоров [53].

Особое источниковедческое место среди них занимают материалы архива Русского географического общества. В целом, именно краеведение является одной из важнейших источниковедческих дисциплин для исторической диалектологии.

Как ни покажется странным, но общие лингвистические исследования, ориентированные на этногенез славян или отдельных славянских народов (белорусов, болгар, поляков) при всей важности их данных для исторической диалектологии, истории отдельных славянских диалектов имеют несколько косвенное отношение. Они, как правило, слабо привязаны к отдельным диалектам, к истории конкретного ареала. Между ними и работами по исторической диалектологии такая же разница, как между капитальными исследованиями по истории России и работами по истории Смоленской или Рязанской земли. И в этом смысле объект изучения исторической диалектологии и теории этногенеза, должен быть разграничен.

Историческая диалектология изучает историю диалекта в принципе вне привязок к этносу, конкретному народу. Предмет исторической диалектологии – не история этноса, а история формирования диалекта. Предмет теории этногенеза – история этноса по результатам разных наук о человеке, в том числе этнографии, языкознания, археологии и антропологии.

Таким образом, историческая диалектология, этногенез и этническая история должны описываться своими методами в своих понятиях и единицах и методах анализа [54, 55].

Сегодня после долгих лет забвения идей А.А. Шахматова историческая диалектология, идущая в наши дни теперь уже бок о бок с археологией, этнографией и прежде всего с одним из самых старых классических направлений – сравнительно-историческим языкознанием, все более явственно становится на ноги. Применение в диалектологии методов сравнительно-исторического языкознания, ареальной лингвистики, выход за пределы “своего, нашего” диалекта не только породили диалектологию и сравнительно-историческое языкознание, но обогатили новыми фактами, подходами, решениями как диалектологию, так и само сравнительное языковедение.

По мере становления исторической диалектологии оживают старые проблемы, появляются новые.

Одной из главных среди них является проблема методов исследования, характера самой процедуры анализа данных. Именно в этом вопросе наиболее ясно проявляется различие в понимании как задач исторической диалектологии, так и ее места в кругу других дисциплин.

Рассмотрим ниже эти проблемы на материале русских псковских диалектов.

Среди различных восточнославянских диалектов трудно найти диалект более изученный, чем язык Пскова и его области. Он не раз служил полигоном, на котором впервые отрабатывались и проверялись те или иные идеи в отечественной диалектологии. Результаты многолетних исследований псковских и сопредельных диалектов представлены в сериях тематических сборников [56–58].

С другой стороны, история языка такого крупного славянского культурного центра средневековья, как Псков и его область, построенная на хронологически адекватном общеславянском фоне, имеет также и большое общезнаменательное значение, так как открывает пути описания истории региональных языков других славянских локальных центров.

Какова исходная ареальная единица исторической диалектологии? В принципе, в

качестве такой единицы могут быть избраны любое современное наречие, диалект, группа говоров, отдельный говор. Обычно такие исследования строятся ретроспективно, отталкиваясь от данных современных говоров, и постепенно проникают на ту или иную глубину их исторического развития. В этих работах, как правило, не ставится вопрос о границах тех древнейших диалектных объединений, в которые входил ранее исследуемый диалект на разных этапах своего развития.

Иной подход предусматривает в качестве первоначального этапа – выделение, экспликацию и историческое обоснование границ того диалекта, который избирается объектом исследования, а затем уже все исследование строится как анализ истории этого древнейшего диалекта. И здесь сразу же встает первый вопрос – о самом выделении и определении границ диалектов древнейшей дописьменной эпохи.

Комплексные исследования, проведенные в последние десять лет антропологами, лингвистами, археологами и этнографами Санкт-Петербурга показывают, что диалекты дописьменной эпохи могут быть выделены только на базе предварительной реконструкции древнейших историко-культурных зон, на основе синтеза результатов, достигнутых в языкознании, археологии, этнографии, антропологии, палеогеографии и ряде других наук о человеке. Найти и выделить древнейшие диалекты исключительно на основании языковых данных невозможно. И древнерусские диалекты и им предшествующие объединялись, формировались и вырастали в рамках эволюции тех или иных древнейших историко-культурных зон [59, 60].

Рассмотрим в свете этих положений кратко дославянскую историю культурно-географического ландшафта в районах к северу от Западной Двины и верховьев Днепра.

В бассейне Западной Двины на протяжении ряда тысячелетий сформировалась устойчивая Днепро-двинская историко-культурная зона. Северная граница Днепродвинской зоны проходит через верховья реки Великой, далее на верховья Ловати в районе Великих Лук, несколько севернее озер Двиньё, Жижицкое, на верховья Западной Двины и далее к озерам Волго, Пено, Вселуг. В IV–III тыс. до н.э. здесь частично проходила граница двинского варианта нарвской культуры, с середины III тыс. до н.э. – культуры ямочно-гребенчатой керамики, с середины II тыс. до н.э. частично границы фатьяновской культуры; в первой половине I тыс. до н.э. граница между культурой штрихованной керамики и керамики текстильной, в VII в. до н.э. до III в. н.э. – северные границы днепро-двинской культуры, в VI–VII вв. н.э. – культуры Тушемля – Банцеровщина и южная граница культуры длинных курганов смоленско-полоцкого типа, в IX–X вв. – курганов с трупосожжениями и лепной и гончарной керамикой.

На севере псковского ареала граница Псков (Середка) – Порхов, среднее течение Шелони, нижнее течение Ловати довольно точно совпадает с границей между Нарвской и Прибалтийской культурами в IV–III тыс. до н.э., с южной границей текстильной керамики в конце II тыс. до н.э., с западной границей псковско-боровичских длинных курганов, позднее новгородских сопок и жальников. Таким образом, формирование границы Псков (Середка) – среднее течение Шелони, низовье Ловати, Верхневолжские озера также относится еще к эпохе неолита. Преимущество, устойчивость и стабильность границ в зоне вокруг Пскова восходят к эпохе неолита и непрерывно поддерживались на протяжении многих веков.

Все приведенные данные убедительно свидетельствуют о существовании на протяжении многих тысячелетий особой устойчивой зоны именно в бассейне среднего течения реки Великой не южнее Опочки и не севернее среднего течения Шелони, не восточнее левых притоков Ловати. Так постепенно сформировалось и выделилось ядро будущего псковского диалекта. Эта территория по реке Великой, вокруг будущего Пскова, скорее всего, и представляла собой центр древнего неславянского диалекта [61]. Именно определение границ древнейших историко-культурных зон на основе синтеза данных разных наук позволяет во многих случаях реконструировать новые, ранее не отмеченные диалектные зоны, границы которых далеко не

обязательно совпадают с современными диалектами. Таким путем и была выделена, например, единая Днепро-двинская диалектная зона в бассейне Западной Двины [62].

Восстановление языковых состояний и черт этих диалектов от эпохи к эпохе и составляет предмет исторической диалектологии.

Так, чисто лингвистическим путем мы можем вскрыть основные дославянские языковые пласты в истории того или иного славянского диалекта. Например, по данным разных источников в истории псковского диалекта достаточно определенно вскрываются такие пласты, как финно-угорский, балтийский и, возможно, добалто-финский.

В то же время следует подчеркнуть иллюзорность ограничения историко-диалектологических исследований рамками только русистики или славистики. Лингвистическая история большинства восточнославянских ареалов не может быть вскрыта без обращения к фактам финно-угроведения, балтистики, тюркологии.

В то же время, даже самые богатые диалектные материалы, извлеченные из отдельных источников XIX–XX вв. дают нам только сами факты и иногда их географию. Гораздо более сложной задачей является дальнейшее проникновение в глубь истории диалекта. И здесь первым шагом на этом пути является выявление внутриареального членения данных диалектов. Так по итогам многолетних исследований в области фонетики, грамматики и в особенности лексики на территории псковских говоров выделяются следующие основные типы изоглосс и микрозон между ними [63].

1. Себеж, Пустошка, Невель, Великие Луки на восток иногда до Торопца, Холма;

2. Красногородское, Опочка, Пушкинские Горы, Новоржев и далее на юг до Великих Лук, Торопца, Холма;

3. Красногородское, Пыталово, реже до Острова, Печор, Новоржева, на восток до Великих Лук, Торопца, Порхова, реже до Струг Красных, изредка захватывая Псков. Эта зона дугой огибает самый центр Псковщины, ядро вокруг Пскова;

4. Великие Луки, Торопец, Холм, на севере – до Ашево, Дедович, но не севернее, на западе до Локни, Новоржева, Дедович;

5. Великие Луки, на севере полудугой до Холма, Новоржева, Дедович, Плюссы, Гдова, на юго-западе иногда (редко) до Пустошки, Опочки, Себежа;

6. Опочка, Локня, Великие Луки;

7. Печоры, Псков, Остров, Порхов;

8. Псков, Порхов, иногда до Дедович, Новоржева, реже до Холма, Торопца;

9. Гдов, Ляды, Плюсса, на восток к Порхову до Холма, Торопца, Локни, изредка полудугой до Себежа;

10. Гдов, Ляды, узкой полосой вдоль Чудского и Псковского озер по берегу, вдоль озера, к Печорам, реже до Острова, Пыталова;

11. Гдовский угол, исключая все другие говоры Псковщины;

Следующий этап реконструкции истории диалекта связан с определением разных типов междиалектных связей данного диалекта с другими диалектами и прежде всего связей с другими славянскими языками и диалектами. Так, например, согласно результатам ряда исследований преимущественно в области лексики и словообразования в определенный исторический период диалекты предков псковичей временно оказались именно в той группе праславянских диалектов, которая находилась в особо тесных контактах с предками всех восточнославянских, а также сербохорватских, словенских (пск.-вост.-сл., чаще пск.-укр.-сербохорв.-словенск. изоглоссы), частично польских, чешских и словацких диалектов [64–66].

Впоследствии диалекты предков псковичей вместе с диалектами некоторых групп восточных и западных славян и нижнелужичан переживают период сильного сближения между собой, по-видимому, уже после отделения основной массы южных славян (псковско-вост.-сл.-зап.-сл. изоглоссы).

Не менее сложной, а, по-своему, более пестрой и мозаичной оказывается картина связей псковских говоров с другими восточнославянскими диалектами.

Здесь псковские говоры обнаруживают два основных типа междиалектных связей: а) с севернорусскими говорами и б) с диалектами, лежащими к югу и западу от Опочки, Великих Лук, Калуги, Орла, Брянска. При этом чисто структурно-типологически выделяются севернорусские явления, известные не южнее линий: а) Псков (Середка) – Порхов (таких большинство); б) Остров – Пушкинские Горы – Новоржев; в) Опочка (Себеж) – Пустошка – Великие Луки; г) преимущественно в восточнопсковских говорах; д) только южнее Опочки – Великих Лук на востоке области и только севернее Пскова – Порхова; е) повсеместно. Южнорусские и юго-западные факты образуют следующие структурно-типологические группы слов, известных а) не севернее Себежа, Невеля, Пустошки; б) Опочки, Великих Лук; в) Красногородского – Опочки, Пушкинских Гор, Великих Лук, Торопца; г) Пыталова, Острова; д) Пскова (Середки) – Порхова.

Отмечая активные связи псковских говоров, в особенности среднепсковских и южнопсковских и восточнопсковских со смоленскими, калужскими, брянскими, курскими, орловскими диалектами, следует сказать, что в целом здесь выделяется одна из самых крупных восточнославянских диалектных зон к югу от Пскова, Острова – Новоржева, включая западнорусские диалекты, а также северобелорусские и восточнобелорусские говоры [54].

Определение типов междиалектных связей – это первый серьезный шаг к проникновению в историю диалекта. Этот этап историко-диалектологического анализа впервые позволяет выйти за рамки “своего” диалекта и увидеть его на широком ареально сопоставительном фоне [67].

Зная заранее из литературных источников относительную хронологию отдельных типов, а также виды ареалов, можно сделать уже первые шаги по их относительно-хронологическому распределению. Однако перед историком диалекта стоит более сложная задача определить, какие из выявленных типов связей, ареалов являются первичными, какие вторичными, как они соотносятся хронологически.

В определенной степени это можно сделать, опираясь на историю отдельных языковых явлений, на историю форм, этимологию слов. При этом история диалекта как системы не может строиться только на истории отдельных изолированных явлений.

Данные, полученные в результате установления междиалектных связей, свидетельствуют, в частности, о том, что для истории диалекта одинаково релевантны все языковые факты, как собственно диалектные, локально ограниченные, так и недифференциальные явления широкого распространения.

Однако в абсолютном большинстве случаев, даже будучи выявленными, сами по себе эти типы связей нередко еще ничего не говорят ни о направлении процессов, ни об их истории или хронологии. В целом они представляют собой лишь абстрактную структурную схему, скелет междиалектных отношений. Например, все источники сходятся в том, что исторически псковский диалект был в своей основе севернорусским по своему языковому типу [68–72].

В то же время по всем лингвистическим данным в XVIII–XX веках к югу от Пскова он таковым не являлся. В современных псковских говорах их севернорусский облик определенно проявляется только к северу от Пскова – Порхова. Таким образом, если опираться только на схему диалектного членения и междиалектных связей исторически необъясненными остаются не только типы дальних междиалектных связей, но даже и сама карта современного диалектного членения.

И здесь на следующем этапе анализа для решения этого вопроса с лингвистической точки зрения необходимо, опираясь на все известные ранее литературные данные, условно принять в качестве исходного положение о первичности одних типов связей и о вторичности других.

Так, примем для истории псковских говоров в качестве исходного традиционное

положение о первичности севернорусского языкового типа и о вторичности типа южнорусского. Если не ограничиваться констатацией приведенных фактов, а постараться определить пути и хотя бы относительную хронологию их проникновения, то оказывается, что и на этом этапе сделать это только на почве языкознания, не привлекая археологию, историю как таковую и этнографию, невозможно.

Так, с одной стороны, факты диалектного членения западных среднерусских диалектов свидетельствуют о том, что многие слова известны в бассейне Западной Двины, в ее верховьях в районе озера Селигер и далее к северу от среднего течения Шелони, Порхова, Пскова и не известны как раз в зоне основного псковского ядра [61; 63].

С другой стороны, по археологическим и антропологическим данным начиная уже с V–IV тыс. до н.э. бассейн Верхневолжских озер, реки и волоки служили здесь как бы коридором, воротами, через которые направлялись потоки древнейших миграций различных народов как с запада на восток, так и с востока на запад.

Селигерский путь был одним из основных путей неоднократных миграций финно-угорских народов на запад. Все это свидетельствует о том, что славянская колонизация на север шла не прямо по Великой и Ловати на север, а сначала по Днепру, Десне, затем по Сожу на верховья Западной Двины, Днепра, на озера Пено, Вселуг, Стерж, а затем уже по древнему Селигерскому пути и рекам Пола, Явонь, Ловать, на Ильмень. Ср. например, к северу от Порхова в Шелонь впадает именно с востока река Полонка.

Весьма показательно, что и в XII в. прочный Селигерский путь был хорошо известен. Так в 1199 г. этим путем ехал из Новгорода во Владимир новгородский архиепископ Меркурий, скончавшийся на Селигере. В 1216 г. этим же путем князь Мстислав из Новгорода пошел братъ Ржев, Зубцов и Торжок. Даже Батый в 1238 году после взятия Торжка пошел тем же Селигерским путем на Новгород, а затем на пороге больших болот за деревней Рвеницы (существующей и сегодня) повернул тем же Селигерским путем назад на Ржев. Такой устойчивый путь мог сложиться только постепенно, в течение многих веков.

Таким образом, можно предположить, что севернорусский языковый тип проник на север в Приильмень с верховьев Днепра, Западной Двины тем же Селигерским путем. Тогда первые носители севернорусского языкового типа, предки новгородских словен, шли с верховьев Днепра на верховья Западной Двины, в обход центра основной территории Днепро-Двинской зоны в район озера Селигер и далее Селигерским путем на Ильмень, Волхов, по которому спустились к его низовьям, где и основали Старую Ладугу. Таким образом, на этом раннем этапе предки новгородских словен обошли кривичей Днепро-двинской зоны по ее южной периферии. Новгородские словене ушли на Волхов [73, 74].

Как же Псков стал севернорусским по своему языковому типу? Ответить на этот вопрос тоже можно только при сопоставлении данных лингвистических и исторических. Многие факты говорят об относительно более позднем севернорусском освоении Пскова. Об этом свидетельствуют и многие карты ДАРЯ и большое количество изоглосс, которые волнами набегают и надвигаются со всех сторон на Псков, оставляя нетронутым только само ядро вокруг Пскова. Все типично севернорусские явления располагаются ступенчато с севера на юг: больше всего их к северу от Пскова – Порхова, на Плюссе, в нижнем течении Шелони, на верхней Луге; несколько меньше их уже в районе Острова, гораздо меньше их к югу от Пушкинских Гор, Новоржева, резко убывают они к югу от Опочки, Себежа, Пустошки. И, видимо, не случайно многие из севернорусских явлений хорошо известны в бассейне Ловати, к востоку от Порхова, Локни, Холма, Торопца.

Таким образом, даже чисто лингвистический анализ структурной схемы расположения севернорусских явлений на территории псковских говоров свидетельствует в пользу принятия точки зрения, согласно которой севернорусскими псковские говоры становятся именно с севера, а не с юга.

Начиная с VIII в., с наступлением активных славяно-скандинавских связей на базе языка словен возникает севернорусское новгородское наречие, формируются севернорусы Поволховья.

По-видимому, скорее всего именно совместные походы скандинавских дружинников вместе с новгородскими словенами из Ладogi и Новгорода на юг по Луге и Плюссе и занесли севернорусское наречие сначала на Лугу, а затем и во Псков. До прихода носителей севернорусского наречия на территорию Пскова Псков славянской речи не знал³.

На базе смешения северно-русских диалектов, шедших с севера от Пскова с субстратными неславянскими типами, а также в итоге встречи с диалектами смоленско-полоцких кривичей, шедших с юга, зарождается особый псковский диалект. Днепро-двинская кривичизация районов среднего течения р. Великой и была первым мощным южным влиянием на севернорусский диалект Пскова. Постепенно диалекты днепро-двинских смоленско-полоцких кривичей возобладали в бассейне Великой верхней, средней и Ловати. Этот период по памяти поколений и зафиксирован в Повести временных лет. Со временем продвижение и закрепление днепродвинских кривичей на север было поддержано неоднократными новыми миграциями с юга.

Окончательная славянизация субстратного узла вокруг Пскова произошла лишь постепенно. В то же время нельзя не отметить, что все факты диалектного членения псковских говоров и говоров в бассейне озер Ильмень, Селигер свидетельствуют о том, что славяне по своему приходе вписывались в те же старые поселения и зоны, освоенные еще задолго до них.

История диалекта в эпоху средневековья тесно связана с историей тех или иных феодальных княжеств и их границ. С началом эпохи феодальной раздробленности с XIII века на северные границы Днепро-двинской зоны легли северные границы Смоленского и Полоцкого княжеств, южные границы Псковского княжества, в XIV–XV веках – великого княжества Литовского, позднее в XV–XVII веках – Польско-Литовского государства, Речи Посполитой. Все это укрепляло и стабилизировало псковскую диалектную зону. С 1348 г. по древним северным, восточным и южным рубежам Псковской диалектной зоны пролегли границы Псковского княжества.

Всё это вело теперь уж не только к упрочению и закреплению черт псковского диалекта, но и к его дальнейшему обособлению. Присоединение Пскова в 1510 г. к Москве прервало тенденции, ведшие к формированию на территории вокруг Пскова особого славянского микроязыка. С образованием единого Московского централизованного государства постепенно окончательно оформляется западная псковская группа севернорусского наречия.

Таким образом, как история внутриареального членения диалекта, так и его связей с другими диалектами может быть вскрыта только путем постоянного поэтапного, параллельного сочетания и сопряжения данных языкознания и смежных исторических наук. Потенциально возможный отказ от попытки нарисовать конкретно-историческую картину формирования диалекта приведет лишь к ограниченным внехронологическим, схематическим, чисто структурным выводам о контаминации одних типов изоглосс с другими, о совместимости и противопоставленности тех или иных ареалов.

На определенном этапе в истории отдельных локальных культурных центров появляется местная письменность, областная литература. С этого момента история диалекта и история письменного языка тесно переплетается, сплетаясь постепенно в единую историю регионального языка.

³ Хотя в принципе ничто не мешает гипотетически предполагать наличие определенной небольшой волны полабских славян, проникших некогда на территорию восточной Прибалтики.

Все сказанное выше относится в равной степени и к говорам раннего первичного образования и к диалектам территорий позднего, вторичного заселения, хотя разница между первыми и вторыми довольно условна. Естественно, что для говором ареалов позднего заселения внешние исторические факторы проявляются еще более явно и ощутимо⁴.

В конечном счете, современная русская историческая диалектология, вооруженная новыми методами и подходами, должна сегодня вернуться на стезю региональных исследований и подобно тому, как описательная диалектология шла от этюдов и очерков об отдельных говорах XIX–XX веков к сводным описаниям по русской диалектологии, шаг за шагом пройти свой путь от региональных описаний к обобщающим трудам, сводным работам по истории русских диалектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ларин Б.А. Историческая диалектология русского языка в курсе лекций акад. Шахматова и наши современные задачи // Очерки истории языка. Л., 1960. С. 3–16.
2. Филин Ф.П. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962.
3. Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.
4. Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньорускої мови. Київ, 1988.
5. Георги И. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. I–III. СПб., 1799.
6. Гмелин С.Г. Путешествие по России для исследования трех царств естества. Т. I–III. СПб., 1771–1785.
7. Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства. Ч. I–IV. СПб., 1771–1805.
8. Озерецковский Н.Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. СПб., 1792.
9. Озерецковский Н.Я. Путешествие на озеро Селигер. СПб., 1817.
10. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. I–III. СПб., 1773–1788.
11. Данилевский Н.Я. Рыбные и звериные промыслы в Белом и Ледовитом морях // Исследования о состоянии рыболовства в России. Т. VI. СПб., 1862.
12. Варнаховский Н.Я. Определитель пресноводных рыб Европейской России. СПб., 1898.
13. Мензбир М.А. Птицы России. Т. I–II. СПб., 1893–1895.
14. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Т. 1–3. М.; Л., 1948–1949.
15. Обнорский С.П. Именное склонение в современном русском языке. Вып. 1–2. Л., 1927–1931.
16. Обнорский С.П. Очерки по морфологии русского глагола. М., 1953.
17. Никифоров С.Д. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века. М., 1952.
18. Борковский В.И. Синтаксис древнерусских грамот. Львов, 1949.
19. Гринкова Н.П. Вопросы исторической лексикологии русского языка // Уч. зап. ЛГПИ. Т. 231. 1962. С. 3–244.
20. Кузнецов П.С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959.
21. Колесов В.В. История русского ударения. Л., 1972.
22. Кузнецов П.С. Очерки по морфологии праславянского языка. М., 1961.
23. Мартынов В.В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963.
24. Мартынов В.В. Праславянский язык и его место в западнобалтийском диалектном континууме. Минск, 1982.
25. Мальцев М.Д., Филин Ф.П. Лингвистический атлас района озера Селигер. М.; Л., 1949.
26. Орлов Л.М. Диалектологический атлас русских народных говоров Волгоградской области. Волгоград, 1969.
27. Мельниченко Г.Г. Некоторые лексические группы в современных говорах на территории Владимиро-Суздальского княжества XII–нач. XIII в. Ярославль, 1974.
28. Здобнова З.П. Территориальное варьирование русского языка в Башкирии. Уфа, 1977.
29. Войтенко А.Ф. Лексический атлас Московской области. М., 1991.

⁴ Из последних обобщающих работ по говорам позднего расселения [см. 75].

30. *Шахматов А.А.* Исследование о языке новгородских грамот XIII–XIV века // Исследования по русскому языку. Т. I. СПб., 1885–1895.
31. *Каринский Н.Я.* Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909.
32. *Собинникова В.И.* Склонение существительных в Псковской судной грамоте // Тр. Воронежского ун-та. Т. 16. Вып. 1. 1948. С. 19–21.
33. *Кандаурова Т.Н.* Из истории древнепсковского диалекта: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1951.
34. *Мжельская О.С.* Местная лексика в псковской деловой письменности: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1956.
35. *Жуковская Л.П.* Из истории языка северо-восточной Руси в середине XIV века (Фонетика галичского говора по материалам Галичского евангелия 1357 г.) // Тр. Ин-та языкознания АН СССР. М., 1957. Т. 8. С. 5–106.
36. *Князевская О.А.* К истории московского говора русского языка в северо-восточной Руси в середине XIV в. // Тр. Ин-та языкознания. М., 1957. Т. 8. С. 107–177.
37. *Елизаровский И.А.* Язык беломорских грамот XVI–XVII веков. Архангельск, 1958.
38. *Максимов В.И.* Лексика Псковской I летописи: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1958.
39. *Котков С.И.* Южновеликорусское наречие в XVII веке. М., 1963.
40. *Горикова К.В.* Очерки исторической диалектологии Северной Руси. М., 1968.
41. *Чайкина Ю.И.* Лексика Белозерья в историческом аспекте. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1974.
42. *Лутвинова И.С.* Комплексное лингвистическое исследование названий кушаний в псковских говорах: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1977.
43. *Мокшенок В.М.* Лингвистический анализ местной географической терминологии. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1969.
44. *Толстой Н.И.* Славянская географическая терминология. М., 1969.
45. *Матвеев А.К.* Русская топонимика финно-угорского происхождения на территории Севера Европейской части СССР. Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Свердловск, 1970.
46. *Муллонен И.И.* Гидронимия бассейна реки Ояти. Петрозаводск, 1988.
47. *Агеева Р.А.* Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации. М., 1989.
48. *Чумакова Ю.П.* Расселение славян в среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. Уфа, 1992.
49. *Любавский М.К.* Историческая география России в связи с ее колонизацией. М., 1909.
50. *Середонин С.М.* Историческая география. Пг., 1916.
51. *Спицын К.Л.* Русская историческая география. Пг., 1917.
52. *Жекулин В.С.* Историческая география. Предмет и методы. Л., 1982.
53. *Словарь русских говоров.* Вып. 1. М.; Л., 1965.
54. *Герд А.С., Лутвинова И.С.* и др. Этническая история Русского Севера в трудах языковедов и некоторые вопросы теории этногенеза // Советская этнография. 1985. № 6.
55. *Герд А.С.* О некоторых вопросах теории этногенеза // Славяне. Этногенез и этническая история. Л., 1989. С. 5–12.
56. Псковские говоры. Псков, 1962, 1968, 1973, 1979, 1988, 1991.
57. Севернорусские говоры. Вып. 1–6. Л., 1970–1994.
58. Среднерусские говоры. Калинин Вып. 1985, 1986, 1988, 1989; Тверь, 1992.
59. *Герд А.С., Лебедев Г.С.* Экспликация историко-культурных зон и этническая история Верхней Руси // Советская этнография. 1991. № 1.
60. *Герд А.С.* Этногенез и историческая география // *Philologia slavica*. М., 1993.
61. *Герд А.С.* История формирования диалектных границ вокруг Пскова // Среднерусские говоры. Калинин, 1988. С. 77–87.
62. *Герд А.С.* К реконструкции Днепро-двинской диалектной зоны // Псковские говоры в их прошлом и настоящем. Л., 1988. С. 118–122.
63. *Герд А.С.* Лингвогеографическое членение Псковской области по данным лексики // Проблемы русской лингвистической географии. СПб., 1992. С. 71–78.
64. *Мжельская О.С.* О лексических связях псковских говоров с западными славянскими языками (слово “скорлупа”) // Вестник ЛГУ: Сер. ист. яз и лит.-ры. Вып. 3. 1963.
65. *Герд А.С.* Из истории связей псковских говоров с другими славянскими языками и диалектами // Псковские говоры. Вып. 2. Псков, 1968. С. 127–143.
66. *Герд А.С.* Словообразовательные модели имен существительных с суффиксами с детерминативами *х, ш, н* в псковских говорах в сравнении с другими славянскими языками и диалектами // Псковские говоры. Вып. 3. Псков, 1973. С. 138–159.
67. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. М., 1970.

68. *Шахматов А.А.* Введение в курс истории русского языка. Ч. I. Петроград, 1916. С. 55–69.
69. *Дурново Н.* Очерк истории русского языка. М.; Л., 1924. С. 74.
70. *Филин Ф.П.* Очерки истории русского языка до XIV столетия. Л., 1940. С. 31.
71. *Аванесов Р.И.* Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник МГУ. 1947. № 9. С. 109–158.
72. Русская диалектология. М., 1964.
73. *Булкин В.А., Герд А.С.* К этноисторической географии Белоруссии // Славяне. Этногенез и этническая история. Л., 1989. С. 67–76.
74. *Булкин В.А., Герд А.С.* Очерк древнейшей истории района озера Селигер // Вопросы изучения среднерусских говоров. Тверь, 1993. С. 4–13.
75. *Здобнова З.П.* Судьба русских переселенческих говоров в Башкирии: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1982.

© 1995 г. Т.Г. НИКИТИНА

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИОННОЙ СХЕМЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

Говоря о развитии отечественной идеографии в последние десятилетия, нельзя не отметить определенные достижения в области разработки общей теории словарей-тезаурусов и создания оригинальных методик построения идеографической классификации [1–5], реализацию авторских концепций в идеографических словарях разных типов [4, с. 276–298], в том числе тематико-идеографических одноязычных и двуязычных [7–10].

С полным правом можно говорить и об оформлении фразеологической идеографии как самостоятельного направления.

В мировой практике есть прецеденты включения в статьи идеографических словарей вместе с лексическими единицами и фразеологизмов, на что иногда указывают сами названия словарей [11–13], но как операционный прием лингвистического (в том числе идеографического описания) обоснованно утвердилось и выделение фразеологии из лексикона по принципу “сверхсловности”, “раздельнооформленности” [14, с. 37], а совсем недавно выдвинут такой веский аргумент в пользу создания автономной идеографической классификации фразеологии, как возможность именно на материале обширных идеографических массивов фразеологии выявить особенности культурно-национального мировидения и миропонимания, специфику их отражения в языке [15, с. 313].

Фразеологическую идеографию называют стыковым участком (идеография – фразеология – фразеография) современного языкознания, а задачу ее определяют как изучение объективной картины семантического пространства фразеологии, отражения во фразеологии связей и отношений внеязыковой действительности, а также разработку теории фразеологического идеографического словаря и ее практическое воплощение [16, с. 68; 17, с. 1].

Несмотря на детальную разработанность русской фразеологии в семасиологическом и ономасиологическом плане (А.М. Бабкин, М.М. Копыленко, Л.И. Ройзензон, В.П. Жуков, В.М. Мокиенко, В.Н. Телия, А.М. Мелерович и др.), ее целостная собственно идеографическая систематизация (в том числе словарная) находится на стадии разработки теоретических основ (А.С. Аксамитов, С. Влахов, В.М. Мокиенко, А.М. Эмирова, Д.О. Добровольский, А.И. Ивченко и др.).

Отсутствие до настоящего времени идеографического словаря русской фразеологии можно было бы объяснять тем, что фразеологические единицы (ФЕ) с их кумулятивной, синкретичной семантикой, на которую накладываются прагматические интенции, сложнее поддаются идеографическому описанию [16, с. 65–66], но мировая практика все же предлагает образцы подобных словарных описаний, осуществленных на немецком [18], польском [19], чешском [20] материале В. Фридрихом, Т. Игликовской и Г. Курковской, Ф. Чермаком. Правда, здесь речь не идет о словарях тезаурусного типа, макроструктура которых отражала бы строго иерархическую многоярусную логико-понятийную классификацию материала во всей его полноте. Семантический

указатель Ф. Чермака приближается к словарям аналогического типа¹, в работе В. Фридриха реализуется чисто тематический принцип группировки ФЕ, а словарь Т. Игликовской и Г. Курковской правильнее было бы назвать тематико-идеографическим².

Что касается фразеологического состава русского языка, то лишь часть его, а именно ФЕ, отображающие эмоции, свойства и качества человека, характеристику явлений и ситуаций, распределенные по 17 тематическим разделам, зафиксированы в "Словаре-справочнике по русской фразеологии" Р.И. Яранцева [22], а также в его русско-чешском варианте, выполненном в форме учебного пособия [23].

Фрагментарные же идеографические или близкие к ним описания ФЕ в монографиях, диссертационных исследованиях, статьях, вероятно, охватывают уже большую часть фразеологического состава и могли бы, наверное, покрыть почти всю идеографическую сетку (если бы таковая для фразеологии была разработана). Так, русские ФЕ, характеризующие человека ("антропокваликативные"), в полном объеме исследованы в "системно-семантическом" аспекте М.С. Горе [24] и на диалектном материале С.А. Бойцовым [25] и Н.В. Богдановской [26]. В работах Ю.П. Солодуба, Г.А. Багаутдиновой, И.В. Кашиной, Э.Н. Покровской, А.И. Кудрявцевой, Т.А. Зуевой систематизированы ФЕ, покрывающие такие важные понятийные зоны сферы "Человек", как "Качественная оценка лица [27], "Психические процессы и свойства личности" [17], "Эмоциональное состояние лица" [28], "Психическое состояние человека" [29], "Процесс речи" [30], "Трудовая деятельность человека" [31]³. Объектом систематизирующих описаний стали также группировки ФЕ, отображающих количество [33–35], временные [36; 37] и пространственные отношения [38]. Д.З. Арсентьевым, Т.В. Бахваловой и Р.Н. Поповым, а также А.И. Федоровым были предприняты попытки описания в тематическом отношении целостных фразеологических систем русских народных говоров – орловских [39, 40] и сибирской фразеологии [41].

Итак, фразеология вплотную подошла к созданию идеографического словаря на своем материале. Хорошо представимы, как отмечает С. Влахов [42, с. 22], этапы работы по его составлению: это определение микро- и макроструктуры и полнейший семантический анализ всех ФЕ, параллельное формирование идеографической схемы, разбивка ФЕ по семантико-тематическим группам, т.е. непосредственно идеографическая классификация, лексикографическое оформление результатов. Однако на каждом этапе составитель сталкивается с большим количеством нерешенных проблем и не меньшим количеством различных, порой взаимоисключающих путей, методик их решения.

В данной статье мы остановимся на особенностях формирования идеографической схемы, которая, как принято считать, отражает "картину мира", свойственную определенной языковой общности [43], или ее часть, "статический компонент" [4, с. 259].

Под картиной мира вслед за исследователями роли человеческого фактора в языке мы будем понимать целостный, глобальный образ мира, который является результатом всей духовной активности человека, всех его контактов с миром – бытовых, предметно-практической деятельности, созерцания, умопостижения мира [44, с. 19], т.е. формируется в процессе синтеза результатов познавательных и оценочных процессов [45, с. 171]. Для обозначения этого глобального образа мира, существующего в сознании человека, этой "информационной базы", "информационного тезауруса" человека [46, с. 44] нам кажется вполне уместным использование термина концептуальная или понятийная картина мира, так как складывается она из кон-

¹ В данной статье используется типология идеографических словарей, предложенная В.В. Морковкиным [1, с. 27].

² Принципы построения и особенности макроструктуры этих словарей анализирует В.М. Мокиенко [21, с. 111].

³ ФЕ, характеризующие интеллектуальные способности человека, исследованы в рамках соответствующего лексико-фразеологического поля орловских говоров Т.В. Бахваловой [32].

цептов понятий⁴, вычлняемых сознанием в структуре действительности и в свою очередь состоящих из различных элементов в их взаимосвязи. Такая трактовка концептуальной картины мира (ККМ) шире чисто логической [4, с. 272–274; 44, с. 176], когда ККМ признается инвариантной, независимой от конкретного языка, и лишь языку отводится в этом случае роль национального модификатора, окрашивающего “через систему своих значений и их ассоциаций концептуальную модель мира в национальные цвета” [44, с. 176]. Мы же понимаем под ККМ не только систему основных логических категорий, которые, действительно, универсальны. На “нижних этажах” ККМ непременно найдут отражение национальные особенности мироощущения, мировосприятия, миропонимания. А значит, языковая картина мира (ЯКМ) будет не национальным воплощением инвариантной ККМ, а экспликацией национально-специфической ККМ в ее окончательном национально-специфическом оформлении средствами языка.

Говоря о ЯКМ как об упорядоченной совокупности языковых средств экспликации ККМ, отметим многочисленные справедливые утверждения о том, что в действительности ККМ богаче, объемнее языковой в силу большей “подвижности”, “текучести” мышления, наличия невербальных типов мышления, которые участвуют в формировании ККМ и т.п. [44, с. 6, 104; 46, с. 44; 47, с. 10; 48, с. 69–83]. Более того, существует мнение, что “на основе единиц языка можно восстановить в лучшем случае лишь приблизительные, размытые контуры элементов мира вне деталей и связей” и лишь на основе продуктов речи, являющейся коррелятом мышления, можно получить голографическое отражение действительности, реконструировать ККМ достаточно полно, точно, детально, взаимосвязанно [49, с. 57–60]⁵.

Что же касается упорядоченности элементов ЯКМ, т.е. ее структуры, то она отражает не только структуру ККМ, но и закономерности системы языка. Более того, ЯКМ организована по законам языка, тогда как ККМ – по законам физического мира [44, с. 138]. И если крупные рубрики идеографических словарей соответствуют естественному членению физического мира, то ККМ не должна здесь подменять языковую, сглаживать ее специфику. Поэтому теоретики и практики идеографии указывают на необходимость использования двух взаимообусловленных и взаимодополняющих путей при идеографической систематизации языкового материала – дедуктивного – от понятийной схемы, отражающей ККМ, к группировке средств выражения того или иного понятия и индуктивного – от языкового материала, объединяемого в поля по смысловой близости, в поля, восходящие к рубрикам – именам понятийных классов и подклассов [2, с. 18; 51, с. 17; 52, с. 10].

В настоящее время все еще нельзя говорить об окончательном оформлении методики “индуктивного восхождения”, на что еще 10 лет назад указывал П.Н. Денисов [53, с. 122]. Он отмечал “эмпирически нащупанную” Ю.Н. Карауловым методику отыскания смысловых связей между словами путем анализа словарных дефиниций, которая за эти годы совершенствовалась и использовалась на практике [54]. К числу специфических особенностей ЯКМ, которые необходимо учитывать, идя при идеографической систематизации от языкового материала, относится взаимодействие в реальном функционировании языка трех видов полей – понятийных, семантических и ассоциативных, как и лежащие в основе структурной организации ЯКМ парадигматические, синтагматические и эпидигматические отношения языковых единиц [44, с. 136–139]. Имеются попытки привнесения в идеографическую классификацию и коммуникативно-функциональных характеристик материала [55]. Словарное воплощение идеографической классификации с коммуникативно-функциональным фоном может

⁴ Здесь, как и во многих лингвистических работах, термины “концепт” и “понятие” отождествляются, так как речь идет прежде всего о содержании понятия.

⁵ Реконструкция голографической ККМ на материале текстов какой-либо культурной традиции (см., например, 50) и идеографическая систематизация языкового материала, эксплицирующего ККМ, изучение “плоскостного” языкового картирования мира – не взаимоисключающие, а взаимодополняющие способы исследования соотношения и взаимовлияния языка – мышления – мира.

приблизить словарь языковой таксономии – идеографический к словарю активного типа, ономаσιологическому в полном смысле слова [53, с. 129].

Что же касается второй составляющей формирования идеографической схемы – дедуктивного пути от понятийного членения действительности, т.е. от ККМ, то здесь необходимо учитывать существование ККМ в двух разновидностях – научной и обыденной, житейской, где концепт представляет собой “актуальную интерпретацию понятия” в народном сознании, когда в концепт входит лишь часть понятия – выработанная общественной практикой совокупность свойств предмета, существенных для определенной области человеческого опыта [56, с. 72].

Сам термин “картина” мира, как отмечает Л.А. Микешина [57, с. 64], антропоморфен, так как фиксирует прежде всего потребность человека в наглядности представлений о мире. Картина мира – не зеркальное отражение мира, а некоторая его интерпретация. Она одновременно космологична (представляет собой глобальный образ мира) и антропоморфна (несет в себе черты своего создателя, отражает специфику человеческого способа миропостижения). Тем не менее, в научной картине мира, хотя и не лишенной антропоморфизма, но базирующейся на общенаучных понятиях и принципах, данных частных наук и философских категориях, понятию “Человек” далеко не всегда отводится центральное место. Как показал произведенный Ю.Н. Карауловым [4, с. 34–55, 242–259] анализ классификационных схем идеографических словарей, созданных в XIX–XX веках западноевропейскими авторами, которые ориентировались на научное мировоззрение и идеологические установки, наиболее антропоцентричной является схема словаря Р. Халлига и В. фон Вартбурга [43], где основными составляющими “Универсума” являются рубрики “Вселенная”, “Человек”, “Человек и вселенная”.

В полной мере антропоцентричность мышления и языка могла бы отразиться в идеографической схеме, отражающей иерархическую систему понятий обыденной, “наивной” картины мира. Ее связывают с уровнем обыденного сознания, под которым понимается житейский здравый смысл, определенный конформизм и прагматическое мироощущение. Это сознание управляет повседневными занятиями людей, их поведением в быту, в труде, на отдыхе, в общении с другими людьми, с социумом [53, с. 121; 58, с. 23]. Концепт “Человек” является ключевым в обыденной картине мира. Идеографическая схема, построенная на ее основе, зафиксировала бы исключительно антропоцентрическое концептуальное структурирование действительности, выделение приоритетов с точки зрения житейского опыта. В качестве рабочего термина будем использовать определение “антропоцентрические” для схем такого типа, условно обозначив его как тип А.

Основная же масса западноевропейских идеографических словарей [4, с. 242–259] и схемы, предлагаемые отечественными авторами, воссоздают в определенной мере безличностную, космологизированную картину мира, где в основу структурирования действительности положено научное мировоззрение. Это схемы типа Б – “неантропоцентрические”, “безличностные”. В качестве иллюстраций приведем основные рубрики некоторых из них, базирующихся на естественнонаучных понятиях и/или логических категориях.

В схеме Э.М. Солодухо [59, с. 6] двум крупным блокам “Поле” (гравитационное, ядерное и т.п.) и “Вещество/антивещество” (микротела, макротела, мегатела и пр.) подчинены блоки “Биологические системы” (белковые тела, ... клетки, ... растения, животные) и “Социальные системы и элементы” (социосфера, техносфера, ноосфера).

Коллектив авторов комплексного учебного словаря “Лексическая основа русского языка” [11] и разработчики автоматизированного русского тезауруса на базе семантического анализа метаязыка толкового словаря [60] на первый план своих классификаций выдвигают “Абстрактные отношения и формы существования материи” (время, пространство, движение, свойства, отношения, порядок и др.). Остальные рубрики (“Неорганический мир”, “Органический мир” и “Человек”) в первой из этих схем объединяет крупный блок “Материальный мир”. Во втором случае материальный

мир членится на микромир (физический и биологический, куда входит и сфера "Человек") и макромир (макромир и солнечная система).

Классификационная схема В.В. Морковкина [2, с. 20–21] представляет собой "эскиз понятийной картины мира", построенный в виде цепочки бинарных оппозиций, отражающих базисные отношения между основными понятийными классами (Вселенная: абстрактные отношения и материальный мир – неорганический и органический, в котором выделяются классы растений и живых существ, последний составляют живые существа, лишённые разума, и, наконец, человек).

В идеографическом словаре О.С. Баранова [61], построенном по типу словаря П.М. Роже [12], названия всех 16 разделов передают абстрактные понятия, отражающие всеобщие связи и взаимообусловленность явлений, категории философии, логики, информатики: например: "Сущности и связи", "Состав", "Система", "Существование", "Время", "Организованные системы", "Информация" и др.

Для лексикологии, полностью покрывающей понятийное пространство, дедуктивный подход – от понятийной схемы готовой или создаваемой заново – как одна из составляющих идеографической систематизации вполне оправдан. Приемлен ли он для фразеологии⁶, известной своей избирательностью [55, с. 52; 22, с. 110; 62, с. 8]? На этот счет существуют прямо противоположные мнения. Описание "сверху вниз", как отмечают Д.О. Добровольский и А.Н. Баранов, вряд ли приемлемо в области идиоматики, поскольку априори трудно предсказать, какие понятийные поля окажутся для нее актуальными. Следовательно, применительно к идиоматике целесообразно использовать методы описания, связанные с исследовательской эвристикой "снизу-вверх" [63, с. 12–13].

По мнению Э.М. Солодухо, во фразеологической идеографии можно использовать и дедуктивный подход, исходя при этом из "существующих классификационных схем форм и уровней неживой и живой природы, общественного сознания, в основе которых лежат современные представления о структуре объективной реальности" [65, с. 23]. А.М. Эмирова [66, с. 25] пишет о возможности заимствования фразеологами систематики и номенклатуры семантических полей конкретной готовой, наиболее совершенной, на ее взгляд, идеографической схемы, составленной авторами коллективной монографии "Анализ метаязыка словаря с помощью ЭВМ" [60].

Таким образом, фразеолог, приступающий к идеографическому описанию своего материала, имеет возможность выбора стратегии в зависимости от конечной цели исследования – выявить роль и место фразеологии в языковом отображении действительности или же представить "фразеологическую картину мира" (ФКМ).

Первая из них может быть достигнута путем наложения фразеологии на наиболее совершенные классификационные схемы, разработанные для лексической системы и на базе лексической системы. Такое наложение даст, с одной стороны, определенное количество "пустых клеток" – фразеологических лакун (в силу такого категориального свойства ФЕ, как экспрессивность, и даже преобладания у многих ФЕ экспрессивной функции над номинативно-информативной почти не заполненными фразеологией останутся такие идеографические темы, как, например, "Космос", "Материя", "Неорганические субстанции" и т.п. [22, с. 110]), с другой стороны – "очагов фразеологичности" – участков наиболее плотно покрытых фразеологией, способной отображать более детальное членение отдельных фрагментов действительности, чем лексика. Это прежде всего понятийные зоны сферы "Человек", связанные с физическими качествами, психическими проявлениями личности, отношениями между людьми, допускающими, предполагающими оценку, какое-либо эмоциональное отношение, причем ФЕ тяготеют к отрицательному полюсу оценочности и негативному спектру чувств-отношений [16, с. 310; 22, с. 110]. И соответствующие нижние "этажи" универсальных классификационных схем при наполнении фразеологией будут расширяться,

⁶ Под фразеологизмом мы понимаем относительно устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, обладающее (как правило) целостным значением [64, с. 18].

углубляться, образуя новые ступени. Словарное воплощение идеографической классификации фразеологии по универсальной схеме, т.е. практически на фоне лексики, было бы чрезвычайно громоздким, но оправданным с точки зрения выявления специфики лексических и фразеологических единиц как средств экспликации картины мира, языкового картирования мира.

Возможно и компактное идеографическое представление фразеологии, предполагающее редукцию универсальной классификационной схемы с одновременным расширением и усложнением отдельных ее фрагментов в зависимости от материала. В этом случае можно говорить о сочетании дедуктивного и индуктивного подходов в процедуре систематизации.

Несовершенство существующих классификационных схем как исходного пункта дедуктивного пути заставляет исследователей предпринимать все новые и новые попытки выработки оптимального варианта идеографической схемы путем корректировки и синтеза имеющихся разработок в этой области. На наш взгляд, верхние “этажи” системы идеографических полей, к которым будет идти индуктивное восхождение от материала, могли бы выглядеть следующим образом:

- I. **Неорганический мир:** I.A. Земля. I.B. Водные ресурсы. I.B. Атмосфера. I.G. Космос.
- II. **Органический мир:** II.A. растительный мир. II.B. Живые существа. II.B.a. Животный мир. II.B.б. Человек.
- III. **Абстрактные сущности:** III.A. Бытие. III.B. Качество. III.B. Соотношение, взаимосвязь. III.G. Количество. III.D. Пространство. III.E. Время. III.Ж. Причина. III.З. Цель.

Приведем и более дробную рубрикацию раздела “Человек” – до 6-го уровня, хотя она допускает проработку местами до 12–13 уровней [к такому выводу мы пришли, систематизируя фразеологический материал псковских говоров – общелитературные и диалектные ФЕ (более 5 тыс. единиц), отобранные из картотеки “Псковского областного словаря”].

II.B.б. ЧЕЛОВЕК.

II.B.б.1. Физические характеристики.

II.B.б.1.1. Анатомия и физиология.

II.B.б.1.1.1. Строение тела. II.B.б.1.1.2. Развитие и функционирование организма. II.B.б.1.1.3. Физические ощущения и физиологические состояния.

II.B.б.1.2. Человек в пространстве.

II.B.б.1.2.1. Статическое положение, поза. II.B.б.1.2.2. Передвижения.

II.B.б.1.3. Физические действия.

II.B.б.2. Психика.

II.B.б.2.1. Эмоционально-психические проявления человека.

II.B.б.2.1.1. Психическое состояние. II.B.б.2.1.2. Эмоциональное состояние. к кому-л., чему-л.

II.B.б.2.2. Душевный склад, характер человека.

II.B.б.2.2.1. Психические свойства. Нравственность. II.B.б.2.2.2. Поведение.

II.B.б.2.3. Разум.

II.B.б.2.3.1. Мыслительный потенциал человека. II.B.б.2.3.2. Внимание.

II.B.б.2.3.3. Память. II.B.б.2.3.4. Мышление. II.B.б.2.3.5. Знание.

II.B.б.2.4. Воля.

II.B.б.2.4.1. Хотение, желание. II.B.б.2.4.2. Волеизъявление.

II.B.б.3. Социальная сфера жизнедеятельности.

II.B.б.3.1. Трудовая и творческая деятельность.

II.B.б.3.1.1.1. Труд. II.B.б.3.1.1.2. Народное творчество, досуг.

II.B.б.3.2. Бытовая сфера.

II.B.б.3.3. Социальное положение.

II.B.б.3.3.1. Материальное положение. II.B.б.3.3.2. Социальный статус.

II.B.б.3.3.3. Жизненный опыт.

II.B.б.3.4. Межличностные контакты.

II.Б.б.3.4.1. Отношения между людьми. II.Б.б.3.4.2. Взаимодействие людей в социальной сфере.

II.Б.б.3.5. Общественное устройство.

II.Б.б.3.5.1. Социальные институты. II.Б.б.3.5.2. Система хозяйства

II.Б.б.3.5.3. Территориальное деление государства.

Можно ли обозначить компактное идеографическое представление фразеологии без эксплицитного лексического фона не совсем устоявшимся в плане содержания, но вполне официальным термином “фразеологическая картина мира”?

С середины 80-х годов авторы работ по самому широкому кругу проблем фразеологии активно оперируют этим понятием. Н.Н. Кириллова утверждает, что «фразеологию можно рассматривать как один из способов “языкового мировидения” (термин В. Гумбольдта), что дает основания говорить о существовании в каждом языке ФКМ как специфического фрагмента ЯКМ» [68, с. 57–58]. Д.О. Добровольский пишет о наличии в идиоматике любого языка двух картин мира, как бы наложенных друг на друга: ФКМ-1 на уровне прототипов ФЕ и ФКМ-2 на уровне поверхностной денотации [15, с. 96–97]. В связи с идеографической классификацией фразеологии нас будет интересовать последняя. Именно о ней А.М. Эмирова говорит как о предмете изучения фразеологической идеографии [17, с. 68].

Результат идеографической систематизации фразеологии по схеме типа Б в той же мере может отождествляться с ФКМ, в какой безличностная, космологизированная идеографическая классификация лексики – “универсальная таксономия семантики” [69, с. 26] может отождествляться с ЯКМ. Если фразеология покрывает “субъективно значимые” фрагменты действительности, то ее компактное идеографическое представление логичнее было бы строить по схеме, отражающей членение не “объективной реальности”, а “субъективного” образа мира, сложившегося в обыденном, крайне антропоцентричном сознании, т.е. по схеме типа А, которая, как уже отмечалось, для русского языка пока не разработана.

О структуре такой схемы можно говорить пока лишь в плане постановки вопроса и экспериментальных разработок, одной из которых является предлагаемая ниже версия, разработанная на псковском материале. Ее фрагмент – понятийная зона “Время” будет представлен в сравнении с аналогичным участком уже рассмотренной неантропоцентрической классификационной схемы, при разработке которой использовался опыт идеографического описания лексико-семантического класса обозначений времени В.В. Морковкина [2, с. 86–90], семантические, структурно-семантические и семантико-грамматические классификации “временных” фразеологизмов [36; 37; 70–73], классификации способов выражения временных отношений в функциональной грамматике [74; 75, с. 210–295; 76, с. 225–246].

Итак, раздел **III.Е. Время** неантропоцентрической классификации во всей глубине детализации нам представляется таким:

III.Е.1. Периоды, отрезки времени: 1) ‘ранняя осень’: *бабье лето, бабья межень*
2) ‘сумерки’: *чернецы по углам забегали, поп на сивой кобыле ездит.*

III.Е.2. Временная характеристика действия.

III.Е.2.1. Локализованность действия во времени.

III.Е.2.1.1. Прямое время: 1) ‘рано устром’: *с петуном (с петунами), ни свет ни заря, черт в ладоши не хлопал*; 2) ‘поздно вечером’: *на ночь глядя*; 3) ‘в сумерках’: *по серому часу, солнце за лес, ворона на кусту кемарит*; 4) ‘в течение светового дня’: *от зари до зари, от росы до росы*; 5) ‘в течение года’: *с хлеба до хлеба.*

III.Е.2.1.2. Относительное время.

III.Е.2.1.2.1. Предшествование.

III.Е.2.1.2.1.1. Предшествование относительно момента речи: ‘очень давно’: *в прадедах, в стариках, при царе Косаре (Горохе).*

III.Е.2.1.2.1.2. Предшествование относительно конечной точки действия: 1) ‘до утра,

до рассвета': *до петуха, до первых петухов*; 2) 'до конца жизни, навсегда': *по гроб жизни, до гроба, до гробовой доски, до могилы*; 3) 'до определенного момента': *до поры до времени*.

Ш.Е.2.1.2.2. Следование.

Ш.Е.2.1.2.2.1. Следование относительно момента речи: 1) 'скоро, в недалеком будущем': *не за горами, не за горадами*.

Ш.Е.2.1.2.2.2. Следование относительно начальной точки действия: 1) 'с давних пор, издавна': *с-под Адама, из веки веков, с навеку веку, с тех пор как свет стоит, с Ноева топопа, с роду родинского (родского), от роду родящего, со стариков*; 2) 'с раннего утра': *с петуна (с петухов)*.

Ш.Е.2.2. Нелокализованность действия во времени: 1) 'всегда': *веки векам (по векам), адамовы веки*; 2) 'редко, иногда': *в годы да в ряды (в годы-ряды), раз в год по завету, изредка в редкость*; 3) 'никогда': *ни в кои веки, в годы в ляды, после дожличка в четверг, при царе Косаре (Горохе)*.

Ш.Е.2.3. Количественно-временная характеристика действия.

Ш.Е.2.3.1. Большая продолжительность: 1) 'долго, в течение долгого времени': *конца краю не видно, умрем не уживемся*; 2) 'надолго': *до морковкиных заговен*.

Ш.Е.2.3.2. Небольшая продолжительность: 1) 'недолго': *без году неделя*; 2) 'ненадолго': *на волосок (заснуть), на одну упряжечку*.

В структуре этого фрагмента классификации в первую очередь отражаются свойства времени как философской категории – последовательность, длительность, необратимость и изучаемые функциональной грамматикой семантические категории, которые, как отмечают авторы коллективной монографии "Теория функциональной грамматики" [75], в конечном счете отражают объективную реальность: в частности, в значении нелокализованности находят отражение периодические процессы в человеческой деятельности, в окружающей среде, объективное существование повторяемости процессов и явлений. Значение локализованности отражает одномерность, асимметричность и необратимость времени [75, с. 210–211].

В антропоцентрической же классификации прежде всего отразится не универсальная философская или функционально-семантическая категория времени, а "время человеческого бытия", феномен "времени жизни" как одна из определяющих категорий обыденного сознания.

Процесс постижения временной реальности человеком и особенности ее отображения в языке анализировались на материале разных эпох и языков (см., например, [50, 77, 78, 79]), в том числе на материале русской фразеологии. Ее историко-этимологическая интерпретация, предпринятая В.М. Мокиенко [80, с. 6–60], раскрывает особенности бытового восприятия времени, позволяет увидеть следы его мифологического осмысления человеком в образах идиом. Обращаясь к записям диалектной речи, отражающим народные представления о времени, способы измерения времени, отношение к времени и т.п., В.М. Мокиенко обнаруживает экспликацию культурно-национального фона многих русских временных ФЕ: По месяцу, по петунам да по солнцу раньше время узнавали. Пск., ср.: *(вставать) с первыми петухами, (просидеть) до петухов* и т.д. [80, с. 21–23].

Продолжая работу в этом направлении, по диалектным контекстам из картотеки "Псковского областного словаря" мы установили, что одной из наиболее частотных временных характеристик действия является количественно-временная характеристика (*долго, надолго – недолго, ненадолго*). Временная нелокализованность действия тоже выступает для носителей говора как количественно-временной параметр [*всегда – долго, иногда – мало, немного* (о количестве времени)]. Временная локализованность в диалектных контекстах – это прежде всего локализованность в пределах суток или года. А относительность времени связана в народном сознании не с отношениями следования за чем-либо или предшествования чему-то, а с планом

прошлого или будущего (такие ФЕ нередко поясняются, дублируются в контекстах наречиями *давно, скоро*).

Данные небольшого ассоциативного эксперимента, проведенного среди студентов Псковского пединститута (50 чел.) и жителей Псковского, Островского, Гдовского районов Псковской области (20 чел.)⁷, подтверждают устойчивость ассоциативных связей времени и продолжительности (*долго, тянуться* – наиболее частотные реакции на словостимул *время*), времени и отрезков времени в рамках суток, года (*утро, рано, осень*), времени, прошлого и будущего (*давно, скоро*)⁸.

Это общечеловеческие ассоциативные связи (ср., например, количественные данные об ассоциациях на слово *время* у носителей литовского языка, приводимые С. Степонавичене [81, с. 50–51]: *время* → *короткий* – 103, *долгий* – 80, *скоро* – 76, *час* – 23, *вскоре* – 16, *минута* – 11, *годы* – 9, *поздно* – 6, *век, секунда* – 4, *ночь* – 3 и т.д.), которые отразятся на уровне рубрик антропоцентрической идеографической классификации, тогда как национально-специфические ассоциации (например, русск. *время* → *ни свет ни заря*, литов. *время* → *быстроногое*) – на уровне семантических рядов, структурно-семантических моделей.

С учетом перечисленных выше факторов и источников информации о восприятии и интерпретации времени в бытовом народном сознании, данный фрагмент идеографической схемы, построенной по типу А (т.е. антропоцентрической) мог бы выглядеть следующим образом:



В соответствии с приоритетами, выделенными обыденно-эмпирическим сознанием, будут наполнены “низовые” рубрики:

Б.4.2.1.1. Большая продолжительность: Сюда войдут ФЕ со значением:

- 1) ‘долго, в течение долгого времени’; 2) ‘всегда’; 3) ‘надолго’; 4) ‘навсегда’; 5) ‘до конца жизни’.

Б.4.2.1.2. Небольшая продолжительность: 1) ‘недолго’; 2) ‘ненадолго’; 3) ‘иногда’.

Б.4.2.2.1. Временная нелокализованность: 1) ‘всегда’ (см. Б.4.2.1.1)¹⁰; 2) ‘иногда’ (см. Б.4.2.1.2) ‘никогда’.

Б.4.2.2.2. Временная локализованность.

Б.4.2.2.2.1. Локализованность в плане прошлого/будущего.

Б.4.2.2.2.1.1. Прошкое: 1) ‘давно’; 2) ‘с давних пор, издавна’.

Б.4.2.2.2.1.2. Будущее: 1) ‘скоро, в недалеком будущем’.

Б.4.2.2.2.2. Локализованность в рамках периода времени.

⁷ Эксперимент упоминается здесь лишь в качестве примера одной из возможностей выявления особенностей бытового восприятия времени, когда отдельным носителям диалекта предлагается в устной форме как бы своего рода “игра в слова”, начинающаяся с “вопроса-стимула”: “Что Вам вспоминается, что приходит в голову, когда Вы слышите слово: *белый – снег, хлеб, черный; время – ...?*”

⁸ Эти выводы подтверждают и данные “Словаря ассоциативных норм” русского языка” [82, с. 77].

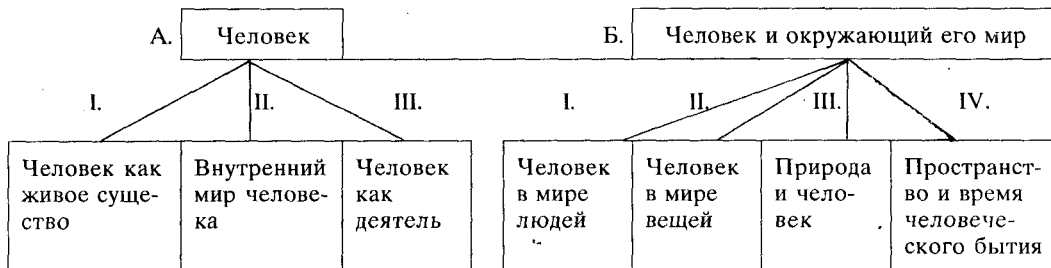
⁹ Здесь приводится индексация в соответствии общей схемой, которая приводится ниже.

¹⁰ Такие отсылки даются при наполнении схемы материалом.

Б.4.2.2.2.1. Время в рамках суток: 1) 'рано утром'; 2) 'поздно вечером'; 3) 'в сумерках'; 'сумерки'; 4) 'в течение светового дня'; 5) 'до утра, до рассвета'; 6) с раннего утра'.

Б.4.2.2.2.2. Время в рамках года: 1) 'в течение года'; 2) 'ранняя осень'.

В целом же классификационную схему идеографического словаря фразеологии псковских говоров, построенную по типу А индуктивным путем с учетом особенностей структурирования действительности народным сознанием, выявленных по образцам диалектной речи и данным ассоциативных экспериментов, можно было бы представить так:



А.. Человек

А.1. Человек как живое существо.

А.1.1. Жизненный цикл. А.1.1.1. Рождение. А.1.1.2. Молодость, взросление. А.1.1.3. Зрелость. А.1.1.4. Старость. А.1.1.5. Смерть.

А.1.2. Строение тела. А.1.2.1. Фигура. А.1.2.2. Части тела.

А.1.3. Самочувствие. А.1.3.1. Здоровье, сила. А.1.3.2. Слабость, болезненность. А.1.3.3. Болезнь. А.1.3.4. Усталость.

А.1.4. Процессы жизнедеятельности, естественные потребности человека. А.1.4.1. Еда, пища. А.1.4.2. Сон. А.1.4.3. Половая жизнь. А.1.4.4. Дефекация.

А.1.5. Способность передвигаться. А.1.5.1. Ходьба. А.1.5.2. Бег.

А.1.6. Восприятие окружающего мира. А.1.6.1. Зрение. А.1.6.2. Слух. А.1.6.3. Температурные ощущения.

А.1.7. Голос, речь. А.1.7.1. Говорение. А.1.7.2. Крик. А.1.7.3. Молчание.

А.II. Внутренний мир Человека.

А.II.1. Характер человека и его проявления. А.II.1.1. Склад характер. А.II.1.2. Нравственные качества. А.II.1.3. Особенности поведения.

А.II.2. Эмоции, чувства. А.II.2.1. Психическое состояние. А.II.2.2. Положительные эмоции. А.II.2.3. Отрицательные эмоции. А.II.2.4. Чувства-отношения.

А.II.3. Разум. А.II.3.1. Умственные способности. А.II.3.2. Память. А.II.3.3. Знания.

А.II.4. Воля. А.II.4.1. Желание. А.II.4.2. Требование.

А.II.5. Магические способности человека.

А.III. Человек как деятель.

А.III.1. Человек в труде. А.III.1.1. Трудовые процессы. А.III.1.2. Профессионализм, качество работы. А.III.1.3. Количество работы. А.III.1.4. Организация труда.

А.III.2. Досуг, народное творчество. А.III.2.1. Отдых. А.III.2.2. Народная музыка. А.III.2.3. Устное народное творчество.

А.III.3. Бездействие. А.III.3.1. Безделье. А.III.3.2. Тунеядство.

Б. Человек и окружающий его мир.

Б.1. Человек в мире людей.

Б.1.1. Человек в обществе, коллективе. Б.1.1.1. Отношения между людьми. Б.1.1.2. Взаимодействие людей в коллективе. Б.1.1.3. Нормы морали, поведения и их нарушение. Б.1.1.4. Социальный статус.

Б.1.2. Человек в семье. Б.1.2.1. Родители и дети. Б.1.2.2. Супруги. Б.1.2.3. Дальние родственники. Б.1.2.4. Свадьба. Б.1.2.5. Отсутствие семьи.

Б.1.3. Человек и государство. Б.1.3.1. Социальное обеспечение. Б.1.3.2. Служба в армии.

Б.II. Человек в мире вещей.

Б.II.1. Вещи вокруг человека. Б.II.1.1. Одежда, обувь. Б.II.1.2. Предметы обихода. Б.II.1.3. Транспортные средства.

Б.II.2. Качества вещей. Б.II.2.1. Размер. Б.II.2.2. Форма. Б.II.2.3. Цвет. Б.II.2.4. Вкус. Б.II.2.5. Запах. Б.II.2.6. Оценка качеств вещей.

Б.II.3. Количество вещей, предметов. Б.II.3.1. Большое количество. Б.II.3.2. Малое количество. Б.II.3.3. Точное количество.

Б.II.4. Вещь как собственность. Б.II.4.1. Наличие вещи. Б.II.4.2. Обладание вещью. Б.II.4.3. Обмен, передача вещи. Б.II.4.4. Покупка, продажа.

Б.II.5. Воздействие на предмет.

Б.III. Природа и человек.

Б.III.1. Неживая природа. Б.III.1.1. Земля. Б.III.1.2. Вода. Б.III.1.3. Небо. Б.III.1.4. Погода.

Б.III.2. Растения. Б.III.2.1. Деревья. Б.III.2.2. Травы. Б.III.2.3. Цветы. Б.III.2.4. Грибы.

Б.III.3. Животные. Б.III.3.1. Насекомые. Б.III.3.2. Птицы. Б.III.3.3. Рыбы. Б.III.3.4. Домашние животные.

Б.IV. Пространство и время человеческого бытия.

Б.IV.1. Пространство.

Б.IV.1.1. Место обитания человека. Б.IV.1.1.1. “Малый мир” (дом, двор). Б.IV.1.1.2. “Большой мир” (деревня, город, страна).

Б.IV.1.2. Расстояние. Б.IV.1.2.1. Небольшое расстояние. Б.IV.1.2.2. Большое расстояние. Б.IV.1.2.3. Неопределенное расстояние.

Б.IV.2. Время.

Б.IV.2.1. Количество времени. Б.IV.2.1.1. Большая продолжительность. Б.IV.2.1.2. Небольшая продолжительность.

Б.IV.2.2. Время действия. Б.IV.2.2.1. Временная нелокализованность. Б.IV.2.2.2. Временная локализованность.

При наполнении схемы в полной мере раскроется ее антропоцентричность, присутствие человека станет ощутимым на любом ее участке. Так, например, в рубрику “Температура воздуха” раздела Б.III.1.4. “Погода”, входящего в блок “Природа и человек”, будут включены ФЕ со значениями ‘холод’, ‘жара, зной’, а также ‘замерзнуть’, ‘греться на солнце’, ‘загорать’, ‘тепловой удар’, отражающие взаимодействие человека и природы. В раздел Б.III.2. “Растения” наряду с названиями деревьев, трав, грибов¹¹ войдут ФЕ, обозначающие процессы сбора грибов и ягод, покос травы и т.п.

Во многих случаях распределение ФЕ по рубрикам классификации будет затруднено как усложненностью фразеологической семантики, так и противоречивостью отношений между “формой и содержанием” любого идеографического построения: чем более оно детализировано, к чему в принципе должен стремиться составитель, тем более оно искусственно, удалено от действительности во всех ее взаимосвязях и взаимопроникновениях. И пока идеографами не построена голографическая компьютерная классификация фразеологии, где одна и та же идиома сможет попадать в разные таксоны, а таксоны будут представлены в виде многомерного дерева, что допускает наличие в одной точке более одного параметра [63, с. 12], это противоречие можно в какой-то мере сгладить уже упоминавшимися отсылками при наполнении схемы, двойной индексацией рубрик, которые одновременно могут входить в два и более разделов. Так, например, ФЕ рубрики “Речь характеризуют “человека как

¹¹ В словарь народной фразеологии могут быть включены не только “идиомы в квалифицирующей функции” или “в функции модальных операторов” (термины Д.О. Добровольского [14]), но и являющиеся идентифицирующими номинациями народные образные термины и номенклатурные сочетания, находящиеся в пограничной зоне идиоматики и нефразеологических составных наименований.

А.Ш.1.2. Профессионализм, качество работы

Низовые рубрики	Значения ФЕ, отражающих	
	положительную оценку	отрицательную оценку
А.Ш.1.2.1. Профессиональный уровень, навыки, умения	‘умелый, проворный’; ‘опытный’; ‘предприимчивый’	‘неумелый, нерасторопный’; ‘не способный справиться с чем-л.’
А.Ш.1.2.2. Отношение к труду	‘трудолюбивый’; работать добросовестно, с усердием’	‘лентяй’; ‘работать недобросовестно’
А.Ш.1.2.3. Скорость работы	‘работать быстро’	‘работать медленно’; ‘работать урывками’
А.Ш.1.2.4. Качество труда и результат работы	‘идеально, качественно (сделать что-л.)’	‘некачественно, небрежно (сделать что-л.)’; ‘сделанный некачественно, небрежно’; ‘работать неслаженно’

Таблица 2

Б.1.1.4. Социальный статус

Низовые рубрики	Значения ФЕ, отражающих	
	положительную оценку	отрицательную оценку
Б.1.1.4.1. Материальное положение	‘богатый’; ‘жить в богатстве, благополучии’; ‘разбогатеть’; ‘бережливый’	‘бедняк’; ‘жить в бедности, нищете’; ‘бедствовать’; ‘разориться’
Б.1.1.4.2. Независимость, самостоятельность	‘самостоятельный’; ‘стать самостоятельным’	‘несамостоятельный’; ‘беспомощный’
Б.1.1.4.3. Жизненный опыт	‘бывалый, опытный’; ‘испытавший много трудностей’	‘молодой, неопытный’; ‘молодой, но имеющий какой-л. отрицательный опыт’
Б.1.1.4.4. Принадлежность к своим/чужим	‘свой, здешний’	‘чужой, посторонний’; ‘среди чужих людей’
Б.1.1.4.5. Удачливость, везение	‘везучий, удачливый’; ‘везет кому-л.’; ‘удачно выйти из сложной ситуации’	‘неудачник, невезучий’; ‘несчастный, обездоленный’; ‘неудачная, несложившаяся жизнь’; ‘попасть в беду’; ‘попасть в неловкое положение’
Б.1.1.4.6. Общая оценка положения человека в обществе	‘уважаемый’	‘незначительный’; ‘никчемный, ничтожный’; ‘жить никчемной, бессмысленной жизнью’

живое существо" (А.1.) и в то же время "взаимодействие людей в коллективе" (Б.1.1.2.), раздел "Человек как деятель" (А.П.) может одновременно входить в блок А "Человек" и тесно связанный с ним блок Б "Человек и окружающий его мир" и т.п. Возможно также введение специальных графических показателей связи рубрик, разделов (стрелки, пунктирные линии).

Отдельные фрагменты классификации, в частности оценочные "низовые" рубрики того или иного раздела, например, Б.П.2.6. "Оценка качеств вещей", Б.1.1.4. "Социальный статус", А.П.1.2. "Профессионализм, качество работы", А.П.1.2. "Нравственные качества человека" и др., могут быть оформлены в виде таблиц, совмещающих в одной точке по крайней мере два параметра и дающих возможность представить общую оценку как совокупность частных квалификаций.

Таким образом, обобщив накопленный опыт идеографического описания фразеологии, можно говорить о различном уровне разработанности отдельных аспектов фразеологической идеографии, о неодинаковой степени сформированности, оформленности ее стратегий. Уже сейчас практически осуществимо (и не только на диалектном материале) распределение фразеологии по универсальной лексической идеографической сетке; готовой или скорректированной, что даст возможность получить довольно точное представление о роли фразеологии в языковом картировании мира, т.е. в означивании реалий на отдельных участках действительности, и более четко определить границы фразеологических "регионов" на этой "карте", составленной лингвистом-"картографом", опирающимся на познанные объективные законы языка, мышления, физического мира.

Однако носитель обыденного, житейского сознания ориентируется в окружающем мире по другой концептуальной и, соответственно, языковой "карте". На нее прежде всего нанесено, особым образом сгруппировано, наиболее детализировано то, что актуально для человека в его повседневной жизни. Создание (преимущественно индуктивным путем от языкового материала, в том числе фразеологического) идеографической схемы, коррелирующей с иерархической системой понятий наивной обыденной картины мира и отражающей особенности народного житейского крайне антропоцентричного сознания, — дело будущего, и, надо надеяться, не далекого. Ведь разработка концепции ЯКМ с учетом человеческого фактора становится, как утверждают авторы коллективной монографии "Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира" [44, с. 8–12], приоритетным направлением антропологической лингвистики, объединяющей данные социолингвистики, психолингвистики, этнолингвистики и призванной стать единой теорией языка и человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Морковкин В.В. Идеографические словари. М., 1970.
2. Морковкин В.В. Опыт идеографического описания лексики (анализ слов со значением времени в русском языке). М., 1977.
3. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1975.
4. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М., 1976.
5. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981.
6. Русский семантический словарь (Опыт автоматизированного построения тезауруса от понятия к слову). М., 1982.
7. Русско-узбекский тематический словарь. Ташкент, 1979.
8. Саяхова Г.Л., Хасанова Д.М. Тематический словарь русского языка для башкирской средней школы. Уфа, 1984.
9. Саяхова Л.Г., Хасанова Д.М. Иллюстрированный тематический словарь русского языка. М., 1989.
10. Лексическая основа русского языка. Комплексный учебный словарь. М., 1984.
11. Roget P.M. Thesaurus of English words and Phrases. Harmondsworth, 1984.
12. Robertson T. Dictionnaire idéologique de la langue française. Recueil des mots, des phrases, des idiotismes et des proverbes de la langue française. P., 1859.
13. Póra F. A magyar rónon értelmű szók es szólások kézikönyve. Budapest, 1991.

14. Добровольский Д.О. Типология идиом и модули идиоматического пакета // Лексикографическая разработка фразеологизмов для словарей различных типов и для машинного фонда русского языка. М., 1988.
15. Телия В.Н. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов (от мировидения к миропониманию) // Славянское языкознание. XI съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993.
16. Эмирова А.М. Фразеологическая идеография: предмет и задачи // Вопросы фразеологии. Самарканд, 1984.
17. Багаутдинова Г.А. Фразеологическое кодирование психических процессов и свойств личности: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1986.
18. Friederich W. Moderne deutsche Idiomatic: Systematisches Wörterbuch mit Definitionen und Beispielen. München, 1966.
19. Iglíkowska T., Kurkowska H. Mały słownik frazeologiczny. Zesz. probny. Warszawa, 1963; Zesz. 1. Warszawa, 1966.
20. Slovník české frazeologie a idiomatiky: Přílohnání / F. Čermák, J. Hronka. Praha, 1983.
21. Мокиенко В.М. О тематико-идеографической классификации фразеологизмов // Словари и лингвострановедение. М., 1982.
22. Яранцев Р.И. Словарь-справочник по русской фразеологии. М., 1985.
23. Яранцев Р.И., Степанова Л.И. Учебное пособие по русско-чешской фразеологии. М., 1989.
24. Горе М.С. Фразеологические единицы русского языка, характеризующие человека (системно-семантический анализ): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 1988.
25. Бойцов С.А. Устойчивые сравнения в брянских говорах: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1986.
26. Богдановская Н.В. Диалектные фразеологические единицы в контексте речи. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1988.
27. Соллодуб Ю.П. Русская фразеология как объект сопоставительного структурно-типологического исследования: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.
28. Кашина И.В. Фразеологические единицы со значением эмоционального состояния лица в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1981.
29. Покровская Э.Н. Фразеологические единицы со значением психического состояния человека в русском языке (в сопоставлении с украинским): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1977.
30. Кудрявцева А.И. Фразеологические единицы со значением процесса речи в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1982.
31. Зуева Т.А. Синонимические отношения фразеологических единиц одной семантической группы // Слово в системных отношениях на разных уровнях языка. Свердловск, 1989.
32. Бахвалова Т.В. Характеристика интеллектуальных способностей человека лексическими и фразеологическими средствами языка (на материале орловских говоров). Орел, 1993.
33. Крайцова С.И. Лексико-семантическая характеристика фразеологизмов со значением количества // Проблемы фразеологии. Тула, 1980.
34. Ивашко Л.А. Квантитативные ФЕ в псковских говорах // Проблемы фразеологии. Тула, 1976.
35. Петрушова О.В. Лексика и фразеология квантитативного поля среднеобских говоров: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1984.
36. Столбунова С.В. К вопросу о семантической классификации субстантивных фразеологических единиц со значением времени // Парадигматические и синтагматические отношения в лексике и фразеологии. Вологда, 1983.
37. Ивашко Л.А. Темпоральные ФЕ в псковских говорах // Русская фразеология. Калинин, 1978.
38. Ивашко Л.А. Пространственные ФЕ в псковских говорах // Лексика и фразеология севернорусских говоров. Вологда, 1980.
39. Арсентьева Д.З. Опыт тематической классификации фразеологических единиц (на материале орловских говоров) // Лексико-фразеологические связи в литературном русском языке и народных говорах. Курск, 1984.
40. Бахвалова Т.В., Попов Р.Н. Структурно-семантические особенности фразеологических единиц народных говоров и взаимодействие их с фразеологической системой литературного языка // Лексико-фразеологические связи в литературном русском языке и народных говорах. Курск, 1984.
41. Федоров А.И. Сибирская династия фразеологии. Новосибирск, 1980.
42. Влахов С. К составлению идеографического переводного словаря русской фразеологии (на материале русской и болгарской идиоматики) // Фразеологизм и его лексикографическая разработка. Минск, 1987.
43. Hallig R., Wartburg W von. Begriffssystem als Grundlage für die Lexicographie. 2. Aufl. Berlin, 1963.
44. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б.А. Серебренников. М., 1988.
45. Залевская А.А. Слово в лексиконе человека. Психолингвистическое исследование. Воронеж, 1990.
46. Залевская А.А. Психолингвистические проблемы семантики слова. Калинин, 1982.

47. *Касевич М.В.* Языковые структуры и когнитивная деятельность // *Язык и когнитивная деятельность*. М., 1988.
48. *Кривоносов А.Т.* Мышление без языка? // *ВЯ*. 1992. № 2.
49. *Мыркин В.Я.* В какой мере язык (языковая система) является отражением действительности? // *ВЯ*. 1986. № 3.
50. *Цивьян Т.В.* Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.
51. *Ивченко А.А.* Из опыта составления идеографического словаря русской фразеологии // *Фразеологические словари и компьютерная фразеография*. Орел, 1990.
52. *Мириманова М.С.* Проблема тезауруса в психологии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1984.
53. *Денисов П.Н.* Лексика русского языка и принципы ее описания в современных условиях. М., 1980.
54. *Караулов Ю.Н.* Частотный словарь семантических множителей современного языка. М., 1980.
55. *Аксамитов А.С.* О некоторых принципах построения идеографического фразеологического словаря // *Фразеологизм и его лексикографическая разработка*. Минск, 1987.
56. *Новиков А.И., Ярославцева Е.И.* Семантические расстояния в языке и тексте. М., 1990.
57. *Микешина Л.А.* Научная картина мира как мировоззренческая форма знания // *Научная картина мира. Логико-гносеологический аспект*. Киев, 1982.
58. *Дышлевский П.С., Яценко Л.В.* Научная картина мира и мир культуры // *Научная картина мира. Локико-гносеологический аспект*. Киев, 1983.
59. *Солодухо Э.М.* Интернациональность фразеологической зашифровки отраженной действительности. Казань, 1982.
60. *Караулов Ю.Н., Молчанов В.А., Афанасьев В.А., Михалев Н.В.* Анализ метаязыка словаря с помощью ЭВМ. М., 1982.
61. *Баранов О.С.* Идеографический словарь русского языка. М., 1990.
62. *Эмирова А.М.* Ономастиологическая характеристика разрядов современной русской фразеологии (субстантивные ФЕ) // *Вопросы фразеологии русского языка*. Самарканд, 1981.
63. *Биранов А.Н., Добровольский Д.О.* На пути к идеографическому описанию русской фразеологии // *Фразеологические словари и компьютерная фразеография*. Орел, 1990.
64. *Бирих А.К., Волков С.С., Никитина Т.Г.* Словарь русской фразеологической терминологии / Под ред. В.М. Мокиенко. München, 1993.
65. *Солодухо Э.М.* Особенности обозначения отражаемой действительности средствами интернациональной фразеологии // *Фразеологические словари и компьютерная фразеография*. Орел, 1990.
66. *Эмирова А.М.* К концепции фразеологических идеографических словарей // *Фразеологические словари и компьютерная фразеография*. Орел, 1990.
67. *Псковский областной словарь с историческими данными*. Вып. 1–7. Л., 1967–1986.
68. *Кириллова Н.Н.* Принципы параметризации идиом как фрагмента языковой картины мира // *Фразеологическая параметризация в машинном фонде русского языка*. М., 1990.
69. *Карасик В.И.* Этикетное действие: обозначение, характеристики, типы // *Ономастиологические аспекты семантики*. Волгоград, 1993.
70. *Редин П.А.* Фразеологизмы с пространственным и временным значением в современном украинском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Харьков, 1989.
71. *Помыкалова Т.Е.* Семантическая структура фразеологизмов генеративной модели группы времени // *Фразеологическое значение в языке и речи*. Челябинск, 1988.
72. *Павлова Н.А.* Значение времени у фразеологизмов модели “предлог + (согласуемый компонент) + существительное в форме дательного падежа” // *Фразеологическое значение в языке и речи*. Челябинск, 1988.
73. *Соловьева А.Д.* Значение времени, выражаемое фразеологизмами модели “предлог + атрибут + существительное в форме винительного падежа” // *Фразеологическое значение в языке и речи*. Челябинск, 1988.
74. *Всеволодова М.В.* Способы выражения временных отношений в русском языке. М., 1975.
75. *Теория функциональной грамматики*. М., 1987.
76. *Практическая грамматика русского языка для зарубежных преподавателей-русистов*. М., 1985.
77. *Трубников Н.Н.* Время человеческого бытия. М., 1987.
78. *Яковлева Е.С.* В р е м я и п о р а в оппозиции линейного и циклического времени // *Логический анализ языка. Культурные концепты*. М., 1991.
79. *Яковлева Е.С.* О некоторых семантических моделях времени в русском языке // *Русистика*. 1992. № 1.
80. *Мокиенко В.М.* Загадки русской фразеологии. М., 1990.
81. *Šteponavičienė S.* Lietuvių kalbos žodinių asociacijų žodynas. Vilnius, 1986.
82. *Словарь ассоциативных норм русского языка* / Под ред. А.А. Леонтьева. М., 1977.

© 1995 г. З.К. ТАРЛАНОВ

**О СИНТАКСИЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: К СПОРАМ ВОКРУГ ИЗВЕСТНОГО**

О сложном предложении вообще и в русском языке в частности существует, как известно, обширная научная литература. Не раз она была предметом основательных историко-критических обзоров, выполненных применительно к синтаксическому материалу соответствующих языков, а также общего языкознания. Это обстоятельство избавляет от необходимости предложить еще один обзор литературы по той же самой теме. Важно отметить другое: количество научной литературы по тем или иным проблемам и решение самих этих проблем далеко не всегда обнаруживают закономерную связь. И это неопровержимо подтверждается историей языкознания. Сложное предложение и относится к тем языковым феноменам, исследование которых чаще всего сводилось преимущественно к описанию материала (сфер) их функционирования, но отнюдь не всегда к теоретическому осмыслению их собственной природы с учетом их места в языковой системе, а также характера соотносительности со смежными явлениями. Тот факт, что традиционно и в течение длительного времени сложное предложение рассматривали как сочетание, соединение, сложение простых предложений, практически лишил смысла вопрос о его собственной природе¹: коль скоро простые предложения, складываясь друг с другом, самым актом соединения, создают сложное предложение, в котором все предопределяется его составляющими, то эти составляющие вполне естественно оказывались в центре исследовательского внимания.

Если вопросы, относящиеся к генезису сложного предложения в русском языке, были результативно поставлены уже в XIX в., прежде всего в работах А.А. Потебни [2, с. 252–256 и др.], то специальные исследования, касающиеся синтаксического статуса сложного предложения в целом, его парадигматики появляются, в основном, начиная с первой четверти XX в. Имеются в виду прежде всего статья А.М. Пешковского "Существует ли в русском языке сочинение и подчинение?" (1926) [3], в которой, как известно, были убедительно и аргументированно продемонстрированы как сущность сочинения и подчинения в строе предложения, так и разделяющие их кардинальные различия; статьи Н.С. Поспелова [4, с. 321–337; 5], И.А. Поповой [6, с. 335–396] и др. Идеи, высказанные в этих работах, получили заслуженно широкое распространение в последующем русском языкознании. Смысл их сводился к доказательству того, что 1) сложное предложение представляет собой целостную и самостоятельную единицу синтаксиса; 2) составляющие его компоненты – это не автономные простые предложения, механически соединенные в рамках большего синтаксического целого, а части сложной структуры, во многом формально-типологически соотносительные с простым предложением, но превосходящие его по конструктивным возможностям: предикативно организованные части сложного предложения перекрывают структурные типы простых предложений; 3) парадигматически сложные предложения делятся на сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные; сложносочиненные и сложноподчиненные, включая относительное подчинение, противо-

¹ Подобные подходы не изжиты и поныне [см., например, 1, с. 45].

поставлены друг другу прежде всего по союзным средствам, их месту внутри сложного целого; те и другие – бессоюзным сложным предложениям (по отрицательному признаку, настолько же убедительному, насколько приемлемо, например, общепринятое понятие "нулевой морфемы"); 4) сложное предложение должно быть отграничено от так называемого "слитного предложения" [7, с. 443–454].

Эти идеи не только не опровергались, но стали неотъемлемой частью науки о русском языке, равно как и содержания школьного и вузовского преподавания – реального прикладного аспекта лингвистических исследований, который едва ли правомерно сбрасывать со счетов при оценке соответствующих научных результатов [см. 8, с. 5–10; 9, с. 130–138; 10, с. 57–58 и др.].

Несколько особую позицию в решении упомянутых вопросов заняла "Русская грамматика" [11], как бы подводящая итог – в силу ее фундаментального характера – описанию и интерпретации важнейших синтаксических категорий современного русского языка. Однако эта особая позиция осталась почти не замеченной, хотя и заслуживала более основательного и серьезного обсуждения прежде всего с двух точек зрения: а) с точки зрения обоснованности отказа от тех решений, которые были предложены в предшествующей русской синтаксической традиции, б) с точки зрения обоснованности и адекватности новых решений. В связи с этим, а также с учетом важности и нерешенности проблем, являющихся принципиальными для синтаксиса русского языка в целом, равно как и для синтаксической типологии, считаю необходимым вернуться к их рассмотрению, выдвинув следующие вопросы:

1. Действительно ли нет в современном русском языке бессоюзного сложного предложения, парадигматически соотнесенного со сложносочиненным и сложноподчиненным предложениями, как это утверждается в "Русской грамматике"?

Традиционный и вполне аргументированный ответ на поставленный вопрос сводился к тому, что бессоюзное сложное предложение образует особый тип сложного предложения, противопоставленный сложносочиненному и сложноподчиненному формально и семантически: оно лишено специализированных средств выражения синтаксических отношений и поэтому потенциально многозначно [5; 12, с. 37–50; 13, с. 78–130; 14, с. 70–75; и др.], что также является одним из его существенных функционально-синтаксических признаков.

"Русская грамматика", отвергнув указанную интерпретацию бессоюзного сложного предложения и его места среди других типов сложных предложений, предлагает свой вариант решения проблемы, который сводится к следующей декларации: "В качестве третьего вида связи в сложном предложении нередко выделяется связь бессоюзная. Однако за исключением одного частного случая, когда отношения между бессоюзно соединившимися предложениями (условные) выражаются вполне определенным соотношением форм сказуемых (*Не пригласи я его, он обидится; Окажись рядом настоящий друг, беды бы не случилось...*), бессоюзие не является грамматической связью" [11, с. 465]. Приведенные в цитате примеры и их аналоги, согласно авторам "Русской грамматики", реализуют "один из видов условного значения" посредством "форм синтаксического условного наклонения" и поэтому "обладают признаками сложного предложения как синтаксической единицы" [11, с. 634–635]. Что же касается остальных конструкций, обычно квалифицируемых как бессоюзные сложные предложения, то к ним термин "сложное предложение" неприменим [11, с. 635].

Однако подобное решение проблемы, будучи лишенным системно-исторического начала, не просто возрождает старый принцип "атомарного", изолированного рассмотрения языковых фактов, а знаменует собою переход в область алогизмов. Имеются в виду прежде всего следующие моменты.

Во-первых. Если при квалификации сложносочиненных и сложноподчиненных предложений конституирующая роль в конечном счете отводится союзам и их синтаксическим эквивалентам (при всех оговорках такое понимание является практически общепринятым), то по логике вещей отсутствие союзов между конструкциями, составляющими сложное высказывание, свидетельствует лишь о том, что подобные конст-

рукции могут соединяться в коммуникативно значимую и грамматически оформленную единицу и без помощи союзов, ибо сложное предложение как таковое ни по своей сути, ни генетически не обнаруживает детерминированной привязанности исключительно к союзным средствам. К тому же справедливо отмечалось, что "в бессоюзных сложных предложениях связь частей и синтаксическая цельность всего сложного единства выражается ритмомелодическими средствами и соотносительностью строения их основных конструктивных единств" [15, с. 427], а также собственной специфической формой [16, с. 35–43]. Следовательно, вопрос о бессоюзном сложном предложении в его парадигматической соотнесенности с сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями должен решаться на основе нулевого показателя (нулевого средства связи), являющегося значимым в ряду членов парадигмы, составляющей сложное предложение. Это так же корректно и убедительно, как, например, квалификация словоформ типа *стол, дом, портрет* как форм им. пад. ед. числа.

Во-вторых. Отлучение основной массы бессоюзных сложных предложений от синтаксиса сложного предложения, как это предлагается в "Русской грамматике", создает парадоксально-тупиковую ситуацию и в диахроническом плане. Известно (и это доказано многочисленными исследованиями), что бессоюзное предложение было генетически первичным среди сложных. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения формируются позже, по мере становления и выделения в особый класс слов, специализировавшихся именно как средства связи [см., например, 17, с. 146–147]. Эти средства в конечном счете и стали конституирующими компонентами соответствующих типов сложных конструкций. Бессоюзные же предложения, послужив генетической базой для сложносочиненных и сложноподчиненных, сами не исчезают с момента складывания последних – такова логика синтаксических изменений вообще [18, с. 65–68], но, наоборот, получают дальнейшее развитие и совершенствуются как одно из выразительнейших средств синтаксического строя русского национального языка во всех его разновидностях [19, с. 46–59; 20, с. 383–401; 14, с. 75–121; 16, с. 115–165]. Немотивированный отказ от включения бессоюзных сложных предложений в число сложных предложений неизбежно ведет к следующему шагу, который должен означать либо кардинальный пересмотр всего процесса формирования сложных предложений в истории языка, либо же констатацию, что бессоюзные сложные предложения, дав жизнь сложносочиненным и сложноподчиненным, сами, за редким исключением, сходят с исторической сцены. Однако этого следующего шага "Русская грамматика" не делает.

В-третьих. Если вслед за "Русской грамматикой" бессоюзными сложными предложениями считать только те конструкции, в которых предикатами выступают формы наклонений в переносных значениях (*He пригласи я его, он обидится*), предварительно надо доказать другой тезис, что формы наклонений в прямых и переносных значениях обладают принципиально разными конструктивными возможностями и даже могут конституировать сами типы предложений. Но едва ли это может быть убедительно доказано, в особенности применительно к современному русскому языку. Дело в том, что в русском языке, по крайней мере, с XVI в., если не раньше, отчетливо проявилась, как известно, тенденция к развитию именных типов предложения, свободных от организующего начала глагольных форм. В этом отношении он заметно удалился не только от родственных языков, но и от собственного прошлого. Возьмем ряд элементарных конструкций: 1) русск. *Книга – здесь*; 2) нем. *Das Buch ist hier*; 3) англ. *The book is here*; 4) лезг. *Ктаб ина ава*; 5) и соответствующая арабская конструкция. В этом ряду первый и последний случаи типологически едины и противостоят остальным именно тем, что не требуют присутствия глагольной формы, хотя она может быть использована, но скорее – как отклонение от нормы. Следовательно, в современном русском языке, как и в некоторых других языках, существуют типы предложений, вполне обходящиеся и без глагола. Если это так и если простое предложение и часть сложного связаны между собой естественным изоморфизмом, то очевидно, что нет оснований привязывать целый класс сложных предложений к тем

или иным формам наклонений, употребляемым в редких для них функциях. Типологический характер предлагаемого аргумента не может препятствовать его использованию при решении рассматриваемого здесь вопроса.

Из сказанного следует, что бессоюзное сложное предложение – это равноценный член парадигмы сложных предложений в современном русском языке, характеризующийся собственными объективными структурно-семантическими параметрами, собственной историей и функциональными возможностями, которые не могут быть игнорируемы в любой синтаксической концепции, если она ориентирована на языковую действительность.

2. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, традиционно разграничивавшиеся на основе интуиции, А.М. Пешковским, как известно, впервые были поставлены на основательную теоретическую базу в уже названной выше статье. Здесь нельзя не упомянуть некоторые общеизвестные истины. Пешковский убедительно доказал, что за синтаксическими понятиями "сочинение" и "подчинение" стоят такие связи, которые могут быть определены формально-грамматически. Сочинение и подчинение охватывают как сложное, так и простое предложения, и "разницы между связями внутри простого предложения и связями между предложениями здесь по существу нет" [3, с. 137]. Внешне эти два типа связей в сложном предложении выражаются союзами, которые соответственно называются сочинительными и подчинительными. К сочинительным относятся союзы, "употребляющиеся в слитном предложении" (т.е. в предложении с однородными членами), а к подчинительным – "все остальные" [3, с. 140]. Функционально-синтаксическая специфика сочинительных союзов заключается в том, что они как "показатели отношения стоят или при каждом из соотносящихся (в части случаев соединительного и разделительного сочинения), или между соотносящимися, не сливаясь внутренне ни с одним из них. Последнее доказывается и здесь возможностью перестановки при сохранении на прежнем месте союза" [3, с. 140], ср.: *Язык мой немеет, и взор мой угас* (А. Толстой) – *Взор мой угас, и язык мой немеет*; ... *руки тряслись от волнения, и усталые ноги спотыкались* (Л. Толстой) – *Усталые ноги спотыкались, и руки тряслись от волнения*. В отличие от сочинения "при подчинении ... перестановка с сохранением союза на прежнем месте (т.е. в сущности отрыв предложения от его союза) и с сохранением того же отношения между мыслями никогда и ни при каких условиях не возможна. Это и является решающим моментом" [3, с. 141]. Следовательно, по существу сочинительные союзы представляют обратимые отношения, а подчинительные – необратимые.

Эти изящные и блестящие мысли А.М. Пешковского получили заслуженно широкое распространение и по праву знаменует собой одно из лучших достижений русской синтаксической науки XX в., ибо они подводят под важнейшие для синтаксиса понятия материальный (формальный) фундамент.

"Русская грамматика" предпринимает попытку пересмотреть решения, предложенные Пешковским, выдвинув при этом тот аргумент, что "из поля зрения Пешковского совершенно выпала обширная область относительной подчинительной связи и смежных с ней (исторически и функционально) способов союзного подчинения, допускающих перестановку главного и придаточного предложений относительно друг друга с сохранением показателя отношений на прежнем месте" [11, с. 462; см. также 16, с. 15–17]. Однако подобного рода контраргументы бьют мимо цели по следующим причинам: а) неясно, что имеется в виду под смежными с относительной связью "способами союзного подчинения" (иллюстративным материалом эти способы не снабжены); б) Пешковский сознательно обошел относительное подчинение потому, что в нем средствами связи выступают "полные", по выражению Ф.Ф. Fortunatova [21, с. 155] слова, выполняющие союзные функции, а его интересуют собственно подчинительные союзы; вопрос же об относительных словах в сложном предложении должен решаться по аналогии с "эталонными" средствами оформления подчинительной связи – подчинительными союзами; в) наконец, самое главное: сочинительный союз

как средство связи сложносочиненного предложения всегда остается на стыке составляющих его частей, между ними, в то время как подчинительный союз функционирует лишь в составе, внутри придаточной части, но не может стоять между главной и придаточной частями сложноподчиненного предложения; поэтому то, что авторы "Русской грамматики" называют перестановкой частей сложноподчиненного предложения, в действительности является обычной трансформацией: главное предложение превращается в придаточное, а придаточное – в главное, не говоря об изменениях, которым подвергаются грамматические формы исходной конструкции. Ср.: *Комната, в которую мы вошли, была залита светом. – Мы вошли в комнату, которая была залита светом.* Нельзя не заметить, что сама возможность инкорпорирования одной части сложного предложения в другую уже свидетельствует об их синтаксической неравноценности, исключающей перестановку с сохранением прежних функционально-синтаксических взаимоотношений между ними, а также форм, заполняющих синтаксические позиции в каждой из них. Совсем по-другому обстоит дело в сложносочиненном предложении, в котором в ходе перестановки составляющих его частей формально ничего в них не меняется (см. примеры выше). Тот факт, что подчинительный союз входит в придаточную часть даже тогда, когда он располагается как бы на стыке между главной и подчиненной конструкциями сложноподчиненного предложения, подтверждается и типологически: во многих языках показатель подчинения дислоцируется при глаголе в придаточной части в виде специализированного форманта [22]. С учетом этих данных нет оснований относить к сочинительным союзам и формы с пояснительной (*то есть*) и уточнительной (*а именно*) функциями [14, с. 10; ср. 23, с. 134–135; 14, с. 616].

3. Сложное предложение в целом отчетливо противостоит "слитному" предложению, или предложению с однородными членами, как синтаксические единицы разных подуровней, хотя и близких друг к другу по ряду признаков, прежде всего семантических. Их разграничение стало устойчивой синтаксической традицией, способствующей адекватному описанию способов и средств языкового оформления мысли. Тем не менее отдельные вопросы, относящиеся к синтаксису предложения с однородными членами, решаются по-разному. И в зависимости от этого границы между предложением с однородными членами и сложным предложением нередко оказываются размытыми. Речь идет, главным образом, о двусоставных предложениях с несколькими сказуемыми и односоставных предложениях с несколькими главными членами в их отношении к сложным.

Как известно, в течение длительного времени в синтаксисе логико-грамматического толка господствовала точка зрения, согласно которой "вся сила суждения содержится в сказуемом, без сказуемого не может быть суждения", а следовательно, и предложения [24, с. 258]. Отсюда вполне естественно вытекал и тот вывод, что предложение, в котором два или более сказуемых, – это сложное предложение. Однако концепция, усматривавшая параллелизм между логикой и грамматикой и пытавшаяся объяснить все синтаксическое, опираясь на логические категории, была подвергнута обоснованной критике в последующем языкознании, в особенности в работах А.А. Потебни [25, с. 60–70]. В конце концов с появлением учения об односоставных и двусоставных предложениях, последовательно изложенного в "Синтаксисе русского языка" А.А. Шахматова общепринятым в русском языкознании становится тезис о подлежащем и сказуемом как соотносительных членах предложения: если нет подлежащего, то не может быть и сказуемого, и наоборот. Что же касается односоставных предложений, то в них грамматическое ядро составляет главный член, не являющийся ни подлежащим, ни сказуемым.

Однородность как синтаксическая категория охватывает все члены предложения, как второстепенные, так и главные. Смысл ее, как известно, состоит в том, что два члена предложения считаются функционально тождественными, если они одинаково относятся к третьему члену (или третьей форме) [7, с. 443; 27, с. 89–91]. Сказуемое в этом отношении не составляет исключения. Очевидно, например, что в высказывании

Я простился и пошел домой (А. Чехов, Дом с мезонином) сказуемые однородны, поскольку функционально тождественны по отношению к подлежащему (третьему члену).

Позиция "Русской грамматики" отлична и в этом плане. Так, в ней читаем: «В "Русской грамматике" предложения с несколькими сказуемыми при одном подлежащем рассматриваются как сложные. Формально такие предложения могут считаться сложными в силу того, что в них неоднократно выражаются значения времени и наклонения. Соответственно и в семантическом плане они могут быть интерпретированы как сообщения о нескольких ситуациях – одновременных или следующих друг за другом, – характеризующихся единством (общностью) субъекта» [11, с. 462]. Такой подход, стало быть, предписывает интерпретировать приведенную выше конструкцию (*Я простился и пошел домой*) как сложносочиненное предложение с неполной второй частью, допускающее разложение на предполагаемые составляющие: **Я простился* и **Я пошел домой*. Самым резонным аргументом против подобного толкования было бы возражение: так обычно не говорят. Поскольку такое возражение может быть воспринято как недостаточно "грамматичное", обратимся к рассмотрению аргументов "Русской грамматики": а) "неоднократное выражение значения времени и наклонения" в рамках одного и того же предложения. Однако принятие такого аргумента неизбежно ведет к утверждению, что конструкция *Противишись, я пошел домой* – тоже сложное предложение, ибо в ней значения времени и наклонения выражены столько же раз, сколько и в предложении *Я простился и пошел домой*. С другой стороны, как же быть с конструкциями типа *А по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок* (А. Чехов, Чайка), в которых трудно отыскать формальные показатели повторяемости значений времени и наклонения? б) Предложения с несколькими сказуемыми содержат "сообщения о нескольких ситуациях". Но ведь то же самое справедливо – может быть, даже в большей степени – и по отношению к предложениям с однородными подлежащими, например: *Жара и засуха стояли более трех недель* (Л. Толстой, Война и мир). Такие конструкции легче, чем предложения с несколькими сказуемыми, поддаются и разложению на предполагаемые составляющие, ср.: **Жара стояла более трех недель* и **Засуха стояла более трех недель*.

При подобном искусственном, умозрительном расчленении высказывания вовсе отброшенным оказывается фундаментальное свойство языка – быть универсально гибким и совершенным средством выражения мысли. А эта гибкость реализуется, в частности, в разнообразии исторически сложившихся синтаксических структур, представляющих одну и ту же ситуацию то компактно, то развернуто, то энергично, то вяло и статично и т.д. Тем самым внеязыковое содержание, воплощаясь в определенных типах синтаксических структур, неизбежно подвергается осложнению, модификации, субъективизации в соответствии с возможностями того или иного языка. Из этого очевидного факта неопровержимо следует тот неоднократно подтвержденный на материале разных языков вывод, что языковое содержание не сводится лишь к отражению внеязыковой действительности, но включает в себя и те "смыслы", которые, складываясь исторически и закрепляясь в грамматическом строе, определяют направления этнолингвистического взгляда на мир. Не считается с этим значит сознательно воздвигать преграды на пути к познанию содержательного назначения грамматических форм и категорий. Одна и та же пропозиция может быть представлена в разных синтаксических модусах, которые, будучи актуально противопоставленными друг другу по их содержательной сути, образуют базу, арсенал синтаксических средств языка. Попытки свести эти средства к какому-то общему знаменателю на том основании, что они допускают отнесение к предполагаемому единому внеязыковому субстрату, не имеют ничего общего с поисками подходов к адекватной систематизации и интерпретации самих этих средств как синтаксических данностей, хотя подобные попытки могут оказаться вполне уместными при решении других задач. Отсюда следует, что, обсуждая вопрос о предложении с несколькими

сказуемыми и сложном предложении, синтаксист не вправе ограничиваться констатацией сводимости их к одному и тому же внеязыковому субстрату (пропозиции, суждению и т.д.), ибо это достаточно тривиально и едва ли заключает в себе собственно синтаксический смысл. Задача синтаксиста – объяснить, благодаря чему предложение с несколькими сказуемыми и сложное предложение оказываются противопоставленными друг другу, способными представлять разные модусы в процессе использования языка. Что они действительно представляют дифференцированные модусы, подтверждается, помимо обычной речевой практики, например, тем, что традиционные жанры русской словесности (жанры фольклора) обнаруживают очевидную "согласованность" с наличными в языке типами синтаксических структур, т.е. фольклорной традиции как содержательной константе соответствует языковая (синтаксическая) традиция как формально-содержательная константа [26].

Решая вопрос о синтаксическом статусе предложения с однородными сказуемыми и сложного предложения, нельзя не принимать во внимание тех глубоких семантических различий, которые заложены в них потенциально, что сказывается и на степени автономности их предикатов: предикаты сложного предложения всегда автономны по отношению друг к другу и по этой причине служат целям развертывания высказывания, в то время как в простом предложении в функции однородных членов они явно тяготеют к синонимической цепочке, если даже и не выражены лексическими синонимами, тем самым вступая между собою в отношения взаимного уточнения, конкретизации, пояснения и т.д., ср.: *Франц проглотил последний кусок, поерзал, прикрыл глаза* (В. Набоков, Король. Дама. Валет.). В приведенном высказывании сказуемые представляют не столько отдельные действия как таковые, сколько неотчетливыми штрихами характеризуют предмет описания, являющийся субъектом предложения. Все они объединены вокруг семантического инварианта, репрезентируемого каждым из них по-своему, в соответствии с их конкретным лексическим наполнением. Что дело обстоит именно так, отчетливее видно на следующем примере: *Марта и за нею муж двинулись мимо него, вышли* (В. Набоков, Король. Дама, Валет.). Здесь перед нами – опять же однородные сказуемые, внутреннее взаимно детерминируемые друг другом в рамках речевого контекста: первое сказуемое обозначает движение без направления, второе – направленное движение. Каждое из них, будучи употребленным по отдельности при том же составе непредикативных слов, нуждается в дополнительных комментариях, а высказывание в целом при его, казалось бы, грамматической завершенности, обнаруживает очевидную семантическую и синтаксическую ущербность, ср.: *Марта и за нею муж двинулись мимо него; Марта и за нею муж вышли*. При подобной диспозиции компонентов исходного высказывания после каждого из новых высказываний напрашиваются вопросы типа откуда? куда? почему? когда? и под., не говоря об их неестественной "рублености". Те же предикаты, употребленные как однородные сказуемые, подчиняясь нормам контекстуальной синонимической цепочки, создают законченное высказывание, соответствующее синтаксической структуре, отличной от сложного предложения. Отсюда следует, что предложение с однородными сказуемыми и сложное предложение – это единицы разных, хотя и близких, синтаксических уровней и что сказуемое при всей его конструктивной важности само по себе не является достаточным материалом для конструирования законченного предложения. Следовательно, нет оснований ставить знак равенства между понятиями "сказуемое" и "предложение", как это делается некоторыми синтаксистами.

Таким образом, сказанное позволяет думать, что предложения с однородными сказуемыми не могут быть причислены к сложным. Это единицы разных синтаксических подуровней, характеризующихся своими специфическими структурными и семантическими свойствами. Объединение их под одним терминологическим обозначением "сложное предложение" не оправдано методологически и не соответствует практике использования их в речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Распопов И.П.* Дихотомическая классификация так называемых сложноподчиненных предложений // Ф.Н. 1979. № 6.
2. *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Т. III. М., 1968.
3. *Пешковский А.М.* Существует ли в русском языке сочинение и подчинение предложений // Пешковский А.М. Избр. труды. М., 1959.
4. *Поспелов Н.С.* О грамматической природе сложного предложения // Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.
5. *Поспелов Н.С.* О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений // Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.
6. *Попова И.А.* Сложносочиненное предложение в современном русском языке // Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950.
7. *Пешковский А.М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956.
8. *Демиденко Л.П., Козырев И.С., Козырева Т.Г.* Современный русский язык. Бессоюзное сложное предложение. Сложные синтаксические конструкции. Сложное синтаксическое целое. Прямая и косвенная речь. Пунктуация. Минск, 1978.
9. *Скобликова Е.С.* Очерки по теории словосочетания и предложения. Саратов, 1990.
10. *Уханов Г.П.* Конструктивные функции синтаксических связей в сложных предложениях // Сложное предложение в конструктивно-семантическом плане. Калинин, 1984.
11. *Русская грамматика.* Т. II. Синтаксис. М., 1980.
12. *Коротаева Э.И.* К вопросу о развитии бессоюзного предложения в русском языке // Уч. зап. ЛГУ: Сер. филол. наук. Вып. 14. Л., 1949.
13. *Иванчикова Е.А.* Соотносительное употребление форм будущего времени глагола в составе частей бессоюзного сложного предложения // Исследования по синтаксису русского литературного языка. М., 1956.
14. *Тарланов З.К.* Очерки по синтаксису русских пословиц. Л., 1982.
15. *Виноградов В.В.* Основные вопросы синтаксиса предложения (На материале русского языка) // Вопросы грамматического строя. М., 1955.
16. *Ширяев Е.Н.* Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М., 1986.
17. *Бирнбаум Х.* Праславянский язык: Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987.
18. *Тарланов З.К.* О предмете исторического синтаксиса русского языка (К постановке проблемы) // Вестник ЛГУ. 1983. № 2.
19. *Шапиро А.Б.* Очерки по синтаксису русских народных говоров. М., 1953.
20. *Грамматика русского языка.* Т. II, Ч. 2. М., 1960.
21. *Фортулатов Ф.Ф.* Избранные труды. Т. I. М., 1956.
22. *Тарланов З.К.* О термине "предложение" (К вопросу о формальных соотношениях между предложением и предикативным единством в составе сложного целого) // Вопросы филологии. Сб. трудов: К 70-летию со дня рождения проф. А.Н. Стеценко. М., 1974.
23. *Белошапкина В.А.* Сложное предложение в современном русском языке. М., 1967.
24. *Буслаев Ф.И.* Историческая грамматика русского языка. М., 1958.
25. *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. Т. I-III, Харьков, 1889.
26. *Тарланов З.К.* Сравнительный синтаксис жанров русского фольклора. Петрозаводск, 1981.
27. *Тарланов З.К.* Разграничение односоставных предложений с однородными главными членами и сложных предложений // РЯШ. 1968. № 2.

© 1995 г. Н.К. ОНИПЕНКО

**СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФОНЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ ТИПОЛОГИИ ТЕКСТА**

Полипредикативная конструкция (и сложное предложение в том числе) возникает в результате взаимодействия минимум двух моделей предложения. Синтагматическое взаимодействие моделей может быть более или менее тесным. При более тесном взаимодействии осуществляется предикативная и смысловая конденсация двух пропозициональных единиц в рамках осложненного предложения. Осложнение предложения обеспечено морфологической техникой: в русской морфологической системе для этого предназначены причастия, деепричастия, инфинитив, а также имена действия, состояния, качества. Сложное предложение, в отличие от осложненного, сохраняет относительную самостоятельность предикативных единиц, их "собственную" отнесенность к хронотопу говорящего.

Строя типологию сложных предложений "от средства связи", исследователь, как правило, обращает внимание на общность соединяемых моделей: их конструктивную и смысловую близость – различие понимается как само собой разумеющееся. Но если обращать внимание именно на различия и исходить из того, что союзы обнаруживают "повороты" от прямого отражения действительности к ее интерпретации и обобщению, от знания к мнению, от монологического слова к диалогически обусловленному речевому акту, то становится возможным иной путь системного описания полипредикативных конструкций, и сложных предложений в том числе.

Поскольку сложное предложение рождается там, где начинается синтаксис текста (одно из направлений этого подхода представлено работами М.В. Ляпон [1]), постольку и инструмент типологии сложных предложений нужно искать в синтаксической теории текста. В качестве такого инструмента здесь принимается коммуникативная типология текста, или теория коммуникативных регистров, разработанная Г.А. Золотовой [2].

В этой теории каждая модель предложения рассматривается как носитель свойств синтаксической единицы более высокого порядка, как предназначенная для функционирования в определенных контекстуальных условиях. Эти условия определяются: (а) отношением данного словесно-смыслового контекста к действительности, т.е. использованием слова как средства отражения действительности или как средства воздействия на действительность; (б) способом получения передаваемой информации (прямым, непосредственным восприятием или получением знания из "вторых рук", а точнее, уст); (в) способом отражения действительности, т.е. воспроизведением ситуации прямого наблюдения и прямой констатации наблюдаемого или передачей информации безотносительно к ее источнику; (г) характером (статикой или динамикой) отражаемой действительности. Учет всех этих аспектов дал систему коммуникативных регистров речи, в результате взаимодействия которых и образуется реальный текст.

Коммуникативный регистр – это модель отражения действительности, реализуемая определенными синтаксическими средствами в конкретные фрагменты текста. Текст при таком подходе понимается не как простое соединение повествования, описания и рассуждения, а как сложная композиция коммуникативных регистров, причем границы между регистрами могут не совпадать с границами предложений, граница может

проходить и в рамках одного, но полипредикативного предложения, соединяющего разные пласты нашего сознания.

В качестве инструмента анализа конкретных текстов Г.А. Золотова предложила систему пяти коммуникативных регистров: репродуктивного, информативного, генеративного, волюнтивного и реактивного. (Схема пяти коммуникативных регистров и образцы ее использования при анализе текстов представлены в "Коммуникативной грамматике русского языка", написанной Г.А. Золотовой и Н.К. Онипенко и находящейся в печати.)

Теория коммуникативных регистров позволяет по-новому взглянуть на сложное предложение: увидеть в сложном предложении результат взаимодействия коммуникативных регистров.

Союз соединяет минимум две противоположности (простое следование в рамках одного регистра не требует союзного показателя связи: *Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал...*), поэтому классификация полипредикативных конструкций, как сложных, так и осложненных предложений, должна обнаружить те противоположности, которые позволяет соединить в одном высказывании техника полипредикативности.

Объединение двух пропозиций в одной полипредикативной конструкции предполагает возможность взгляда со стороны как минимум на две ситуации. Этот взгляд может быть реальным (ситуация прямого наблюдения), что воплощается средствами репродуктивности регистра в его повествовательной и описательной разновидностях:

"Войско в горы царь приводит / И промеж высоких гор / Видит шелковый шатер. / Все в безмолвии чудесном / Вкруг шатра; в ущелье тесном / Рать побитая лежит. / Царь Дадон к шатру спешит. / Что за страшная картина! / Перед ним его два сына / Без шоломов и без лат / Оба мертвые лежат, / Меч вонзивши друг во друга. / Бродят кони их средь луга, / По притоптанной траве, / По кровавой мураве..." (А.С. Пушкин).

"Чистое" следование восприятий (с точки зрения царя Дадона) не требует союзного соединения; союз обнаруживает мыслительную активность говорящего, переход от одного регистра к другому или от одной разновидности регистра к другой его разновидности (так, первый союз *и* в данном отрывке соединяет повествовательную и описательную разновидности репродуктивного регистра, обнаруживает переход автора с внешней точки зрения на внутреннюю).

Наличие или возможность подстановки союза, а именно это, в конечном счете, оказывается основным критерием выделения сложного предложения как особой синтаксической единицы, – это знак коммуникативного переключения: перехода от одного регистра к другому, от наблюдения к знанию (*На столе лежала папка, которую оставил утренний посетитель*), перехода от статики к динамике и от динамики к статике (*Комната, в которой он оказался, была загорожена старой мебелью*), перехода от своего слова к чужому (*Он сказал, что положил папку в верхний ящик стола*).

Если смотреть на союз в границах сложного предложения, то союз оказывается средством разграничения, разделения двух пропозициональных единиц; степень их компонентного "наложения" определяет степень выраженности элементов каждой ситуации. Так, сравнительный союз *как* позволяет соединить определенно-личную (в репродуктивном или информативном регистрах) и обобщенно-личную (в генеративном регистре) модификации одной и той же модели предложения, соединить, например, информативный и генеративный регистры: *"Гладышев понял, что она причитает по нему, как по покойнику"* (Войнович).

Разделительная, разграничительная функция союзных средств проявляется и в том, что два взаимодействующих предикативных центра сохраняют относительную независимость одного набора предикативных категорий от другого; союз соединяет, но не подчиняет одну предикативную ось другой, ср.: *Я увидела комнату, в которой когда-то жил / живет / будет жить мой брат; Она сказала / говорит,*

что брат уехал / уезжает ночным поездом. Внешняя (формальная) независимость временной формы в придаточном от временной формы в главном обнаруживает отсутствие жесткой временной последовательности, возможность разных точек отсчета, параллельность двух осей времени – времени событий и времени мысли и речи.

Жесткая причинно-следственная зависимость событий, находящая свое выражение в таких характеристиках времени, как необратимость, линейность, поступательность и, как следствие, морфологическая соотнесенность видо-временной формы в главном и видо-временной формы в придаточном, характерна для сложного предложения, выражающего "взаимодействие" двух реальных событий, для соединения пропозиционных единиц в рамках диктума, ср.: *Когда она поднималась на второй этаж, закрипели ступеньки старой лестницы...* (*Когда она поднимается..., скрипят... / будет подниматься..., закрипят / будут скрипеть...*), но **Когда она поднимается..., закрипели / будут скрипеть...* Внутренняя координированность видо-временных форм обнаруживает принадлежность обеих моделей к одному регистру: репродуктивному с актуальным временем предиката или информативному, в котором предикаты никак не связаны с хронотопом наблюдателя.

Отсутствие временной зависимости между двумя предикатами в сложном предложении (или то, что принято называть отсутствием временной относительности в придаточном изъяснительном [3]) – знак параллельности мира вещей и событий и мира мыслей. Соединение этих миров в одном предложении оказывается результатом взаимодействия диалога и монолога. Монологизация диалога позволяет соединить (но не слить) слово (сообщение, вопрос или побуждение к действию) героя и слово автора. При этом автор передает, интерпретирует, комментирует чужую речь, но не оспаривает мнение своего героя, поскольку герой и автор – речевые субъекты разного ранга.

Союз или союзное слово (при косвенной передаче частных вопросов) разделяет конкретное речевое действие и его содержание, разделяет собственное и чужое слово, репродуктивный и информативный регистры.

В свете теории коммуникативных регистров открываются новые стороны семантики конкретных сложных предложений. В качестве примера рассмотрим предложения с союзом *чем ... тем*.

Из литературы об этих предложениях мы знаем, что:

- (1) союз *чем ... тем* требует морфологического параллелизма двух предикатов: он соединяет два компаратива;
- (2) порядок следования частей не строго, но все же фиксированный: с препозицией *чем* и постпозицией *тем*;
- (3) для моделей, имеющих общий компонент, возможно вынесение этого компонента в позицию перед первой частью союза;
- (4) смысловые отношения, выражаемые этим союзом, квалифицируются как сопоставительные; все другие значения признаются контекстуально обусловленными, т.е. зависящими от конкретного лексического заполнения синтаксической структуры.

Для лингвистической интерпретации предложений с *чем ... тем* обычно пользуются такими словами, как сравнение, сходство, соотнесенность, сопоставление, соизмеримость, пропорциональное соответствие. Действительно, каждое из этих понятий отражает какой-то компонент смысла предложений типа *Чем дальше в лес, тем больше дров*, и все-таки ни одно из них не обнаруживает всей смысловой сложности. Это можно показать в небольшом лингвистическом эксперименте.

Известно, что лингвистический анализ лишь тогда признается верным, дающим адекватную интерпретацию, когда на его основе может быть произведена обратная операция – синтез грамматически правильного высказывания.

Представим себе жизненную ситуацию: Человек и его портрет. Человек становится старше, и стареет портрет, точнее, ветшают краски, холст, подрамник, рама. Че-

ловек изменяется во времени, с годами, со временем; со временем изменяется и вещь. Но между старением человека и старением вещи нет внутренней связи, нет внутренней зависимости, поэтому мы скажем *Стареют люди, стареют и вещи* и не воспользуемся союзом *чем ... тем*, не скажем *Чем старше человек, тем старше его портрет*, потому что за сопоставлением двух процессов нет причинно-следственных отношений. Союз *чем ... тем* обнаруживает не только внешний параллелизм двух процессов, но и их внутреннее причинно-следственное взаимодействие. Вспомните известный портрет Дориана Грея. Применительно к портрету Дориана Грея мы можем сказать: *Чем дольше живет Дориан Грей, тем старше и дряхлей человек на портрете*.

Итак, если отношения параллелизма и подобия предполагают рядоположенность в сознании, в модусе, то отношения, выражаемые союзом *чем ... тем* – это причинно-следственное взаимодействие двух процессов вне конкретного сознания. См. еще пример: *"И чем ярче играла луна, / И чем громче свистал соловей, / Все бледней становилась она, / Сердце билось больней и больней"* (А. Фет). Говорящий наблюдает оба процесса: изменение в природе и изменение во внешнем облике человека. Говорящий знает, что между первым и вторым процессом существует неочевидная связь, что есть причина, заставляющая героиню бледнеть при звуках соловьиной песни. Сопоставление процессов не является для говорящего самоцелью, оно позволяет ему констатировать закономерность, наличие причинно-следственных отношений. Таким образом, причинно-следственная связь для союза *чем ... тем* не есть "контекстуально обусловленная информация о внутренней зависимости соотносимых явлений" [4], а есть обязательное условие образования сложных предложений с союзом *чем ... тем*. Предложения с союзом *чем ... тем* – это вывод, обобщение минимум двух отношений:

- (а) *Далеко стою – плохо вижу*
Близко стою – хорошо вижу

Чем ближе с т о ю / п о д х о ж у, тем лучше вижу.
- (б) *Мелкие раки – Цена – 3 рубля*
Крупные раки – Цена – 5 рублей

Чем к р у п н е е раки, тем они д о р о ж е

В примере (а) два фиксируемых положения (*Близко – далеко; хорошо – плохо*) связаны не только пространственно, но и во времени. Это обнаруживается при синонимической замене на союз по мере того как (*приближался*) или на производный предлог по мере в соединении с девербативом (*по мере приближения*). Во втором примере нет временной соотнесенности, поэтому невозможны ни та, ни другая синонимическая замена (ср.: **По мере укрупнения / увеличения размера раков они дорожают*). Если в первом примере мы устанавливаем отношения между двумя временными инстанциями в рамках одной субъектной сферы, то второй пример – это отношения между разными субъектными сферами (раки-то не одни и те же). Так называемые "собственно лексические средства для выражения значения изменения признака" [5] могут быть использованы только в предложениях первого типа: глаголы *уменьшаться, увеличиваться, возрастать, прибывать* возможны только при наличии временной соотнесенности.

В связи с разграничением двух типов сложных предложений с *чем ... тем* можно рассмотреть следующий афоризм: *"Чем хуже дорога, тем больше пыли она пускает в глаза"*. Этот афоризм может быть прочитан по-разному: (1) "По мере ухудшения одной, данной, дороги увеличивается количество той пыли, которую она пускает вам в глаза"; (2) "Одна (хорошая) дорога отличается от плохой количеством пыли, которое и та и другая пускают в глаза". Но поскольку здесь использован фразеологизм *пускать пыль в глаза*, предназначенный для интерпретации, оценки конкретного осознанного

(контролируемого) действия человека, постольку более вероятным представляется второе прочтение, т.е. что количество внешних проявлений обратно пропорционально оценке сущности.

Различие между двумя типами предложений с союзом *чем ... тем* обнаруживается и в возможности/невозможности синонимической замены на предложения с синтаксемой "с + Тв.п.". Рассмотрим предложение *Чем старше человек, тем (он) мудрее*. Если речь идет об изменениях в рамках одной субъектной сферы (конкретного человека или человека вообще), то это предложение оказывается синонимом в ряду: *По мере того как человек взрослеет, стареет, он становится мудрее / он мудреет – По мере взросления... – С годами (с возрастом, со временем) человек становится мудрым, мудрее, мудрецом*. При этом именная синтаксема образуется не только формой множ. числа, но и формой единств. числа с местоимением *каждый*: *"И с каждым шагом город душный / Передо мной стесняет даль"* (А. Фет); *"Я тебе послушней с каждым днем"* (А. Ахматова); *"Как в зеркало, глядела я тревожно / На серый холст, и с каждой неделей / Все горше и страннее было сходство / Мое с моим изображеньем новым"* (А. Ахматова). Интересно, что и "с + Тв.п." допускает два истолкования. В соединении с местоимением *каждый* синтаксема "с + Тв.п." заполняется именами особой семантики: словами, обозначающими членность времени, точку или интервал на оси времени. Соединение этих точек в линию позволяет выразить процесс непрерывного становления, увеличения/уменьшения количества того или иного признака (качества, проявления, ощущения). Соединение же в непрерывную линию возможно постольку, поскольку есть (возможно) непрерывное наблюдение и сравнение одного момента с другим. Ср. два примера: *И с каждой осенью она все краше – И с каждой осенью я расцветаю вновь*. В первом примере моменты наблюдения соединяются в линию наблюдения, наблюдаемый же признак предстает в процессе развития, непрерывного становления. Во втором примере "с + Тв.п." выражает регулярность, повторяемость в системе циклического времени: *Каждый год, с приходом осени я расцветаю вновь*. Синонимическое взаимодействие примеров рассмотренной пары с предложениями с союзом *чем ... тем* возможно лишь для примеров первого типа (*Чем дольше я её наблюдаю, тем она краше*).

При отсутствии временного следования между двумя субъектными инстанциями (*Старший мудрее, опытнее младшего*) мы получаем возможность своеобразного перевертыша: *Чем старше, тем мудрее → Чем мудрее, тем старше; Чем раки крупнее, тем они дороже → Чем раки дороже, тем они крупнее; Чем хуже дорога, тем больше пыли → Чем больше пыли, тем хуже дорога*. Жесткая временная последовательность в предложениях другого типа [*"Лестница чем дальше, тем становилась темнее"* (Ф. Достоевский)] обусловлена необратимостью времени наблюдения: чтобы "увидеть" увеличение темноты, надо двигаться по лестнице (*по мере продвижения, с каждым шагом, с каждым пролетом*).

Может показаться, что различие между двумя типами сложных предложений с союзом *чем ... тем* состоит только в жесткой временной последовательности, предполагающей предшествование причины и следование следствия, но жесткая временная последовательность, обнаруживающая себя в запрете на конверсию, существует и в предложениях второго типа, ср.: *"Чем громче музыка атак, / тем слаще мед огней домашних. / И это было только так / в моих скитаниях вчерашних: / тем слаще мед огней домашних, / чем громче музыка атак"* (Б. Окуджава). Поэт может поменять порядок следования частей сложного предложения (*чем громче.., тем слаще... → тем слаще.., чем громче..*), но не может образовать "перевертыш" (*Чем слаще мед огней домашних, тем громче музыка атак*), потому что настоящую тягу по дому человек ощущает, оказавшись вне дома, в огне войны. Еще пример из поэзии Б. Окуджавы: *"Чем дальше от Москвы, тем чище дух крестьянства, / тем голубей*

вода, тем ближе к небесам". Этот пример может быть прочитан двояко: если речь идет о выводах из конкретного путешествия, если это обобщение наблюдений, сделанных одним и тем же наблюдателем и соотнесенных не только в пространстве, но и во времени, то возможны несколько синонимических преобразований (*По мере продвижения от Москвы / с каждым километром / с каждой новой деревней вода становится голубей, дух крестьянства чище, ощущимее близость к небесам*); если же между фиксируемыми закономерностями нет временной связи, т.е. они не заполняют единое и нечленимое время наблюдения, то синонимическая замена на конструкцию *с по мере того как* оказывается невозможной, но возможно преобразование типа *Степень удаленности от Москвы определяет степень голубизны...*

Предложения первого типа характеризуются конкретной локализованностью на оси времени, предложения второго типа – отсутствием временной локализованности. Конечно, в поэтических текстах трудно разграничить эти два прочтения: особенность поэтической речи в том и состоит, что поэт сознательно комбинирует, сохраняет двусмысленность данной языковой единицы.

Интересно, что такую "двусмысленность" допускают только предложения, выражающие реальный процесс наблюдения, причем это обнаруживается возможностью/невозможностью форм прошедшего времени. Так, например, предложение *Чем быстрее идет поезд, тем быстрее бегут столбы за окнами* может быть прочитано и по 1-му и по 2-му типу, но если мы изменим форму глагола, то предложение становится однозначным, читающимся только в связи с ситуацией прямого наблюдения: *Чем быстрее шел поезд, тем быстрее бежали столбы за окнами*.

Для предложений второго типа соотношение с конкретным временем требует изменений в структуре. Так, А. Блок в стихотворении "Моей матери" в первой строфе формулирует общую закономерность (и в этом предложении не может быть изменена временная форма предиката), в последней же строфе поэт говорит о своих сиюминутных ощущениях, а поэтому перестраивает первые две строки; в полученной конструкции соединяются две фазисных модификации (в них возможен фазисный глагол *стало*), в составе которых конкретно-локализованные во времени предикаты:

Чем больней душе мятежной,
Тем ясней миры.
Бог лазурный, чистый, нежный
Шлет свои дары.

Шлет невзгоды и печали,
Нежностью объят.
Но чрез них в иные дали
Проникает взгляд.

И больней душе мятежной,
Но ясней миры.
Это бог лазурный, нежный
Шлет свои дары.

Всеобщая закономерность воплотилась в жизнь; причинно-следственная связь сохраняется, но нет прогрессирующего признака, поэтому невозможен союз *чем ... тем*. Сиюминутность подчеркивается и местоимением *это*, которое невозможно в первой строфе. Применительно к конкретному времени союз *чем ... тем* возможен лишь тогда, когда непрерывное становление (возрастание или убывание) наблюдаемо, даже если эти наблюдения растянуты на годы:

Чем дольше живем мы, тем годы короче,
Тем слаще друзей голоса.

(Б. Окуджава);

Чем больше я живу – тем глубже жизни тайна, ..
Тем прозрачнее мир, страшней себе я сам,

Тем больше я стремлюсь к покинутой отчизне,
К моим безмолвным небесам.
Чем больше я живу – тем скорбь моя сильнее
И неотзывчивей на голос дольных бурь
И смерть моей душе все ближе и яснее,
Как вечная лазурь.

(Д. Мережковский);

Чем доле я живу, тем больше пережил,
Тем повелительней стесняю сердца пыл, –
Тем для меня ясней, что не было от века
Слов, озаряющих светлее человека.

(А. Фет)

Предложения с *чем ... тем₁* имеют в своей первой части изменение ситуации наблюдения: *чем дальше, чем выше, чем глубже... я оказываюсь, тем...* Даже в случаях типа *Чем выше поднимался шарик, тем он становился меньше* первая часть выражает изменение условий наблюдения (чем дальше он от меня).

Перемещение наблюдательного пункта вызывает определенные изменения в восприятии наблюдаемого объекта, так мы получаем особый вид каузативных отношений – каузацию восприятия:

Чем ближе к небесам – тем ненаглядней твердь

(Б. Окуджава);

И чем выше я шел, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали.

...

Чем я выше всходил, тем светлее сверкали,
Тем светлее сверкали выси дремлющих гор.

(К. Бальмонт)

Чем ... тем₁ может соединять изменения двух наблюдаемых объектов, вспомните уже цитированные здесь строки стихотворения А. Фета "На заре ты ее не буди". Наблюдение "развивается" не в пространстве, а во времени, точка зрения говорящего статична.

Из сказанного становится очевидной регистровая закреплённость предложений с *чем ... тем*. *Чем ... тем₁* принадлежит информативному регистру в его повествовательной разновидности: предложения, тесно связанные с ситуацией прямого наблюдения, не являются прямой констатацией событий. *Чем ... тем₂* функционирует в рамках генеративного регистра: предикаты этой конструкции характеризуются отсутствием временной локализованности, а субъекты – обобщенностью; предложения с *чем ... тем₂* – это общие суждения с обобщенным личным, не-личным или вне-личным субъектом: *Чем талантливее писатель, тем он требовательнее к себе; Чем прочнее, красивее мех, тем он дороже; Чем севернее, тем холоднее* (вне-личный субъект, как правило, не выражен).

Предложения с *чем ... тем₁* имеют в своем составе конкретно-локализованные предикаты, что обнаруживается не только в возможности фазисной модификации (*стало виднее, стало красивее*), но и в возможности временной парадигмы (наст. – прош. – буд.). Конкретно-локализованный предикат взаимодействует с конкретным субъектом. Если в генеративном регистре основным действующим лицом оказывается имя класса, то в информативном – имя субъекта-индивида (разграничение индивида и субъектной инстанции см. [4]). Для предложений с *чем ... тем₁* невозможны глаголы совершенного вида; совершенный вид указывает на принадлежность предложений с *чем ... тем* к генеративному регистру (*Чем ближе подойдешь, тем лучше увидишь*), в информативном

регистре для конструкций с *чем ... тем* возможен лишь несовершенный вид, ср.: *Чем ближе мы подходили, тем лучше видели* – но **Чем ближе мы подошли, тем лучше увидели*.

Обобщая наблюдения над предложениями с союзом *чем ... тем*, отметим, что, в отличие от других союзов, парный союз *чем ... тем* не противопоставляет части сложного, а сливает их воедино: обе части принадлежат одному коммуникативному регистру – либо информативному (*чем ... тем*₁), либо генеративному (*чем ... тем*₂). Различие между типами – это различие между регистрами.

И последнее наблюдение. Оно касается известных пушкинских строк:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.

По-видимому, у Пушкина здесь два разных *тем*. Первое – часть союза *чем ... тем*, второе – совмещает в себе и "значение" второй части парного союза *чем ... тем*, и функцию соотносительного местоимения с каузативным значением (*тем самым, таким образом, таким способом*).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологии внутритекстовых отношений. М., 1986.
2. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
3. Гиро-Вебер М. О так называемой несогласованности времен в сложноподчиненных предложениях (Русский язык в сопоставлении с французским) // Русский язык за рубежом. 1975. № 4.
4. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения // ВЯ. 1989. № 3.

© 1995 г. Г.А. ЗОЛотоВА

**МОНОПРЕДИКАТИВНОСТЬ И ПОЛИПРЕДИКАТИВНОСТЬ
В РУССКОМ СИНТАКСИСЕ**

1. Признание предложения – основной коммуникативной единицы речи – и основной единицей синтаксической системы сейчас объединяет большинство грамматистов, независимо от того, какую лингвистическую концепцию они исповедуют. Вместе с тем, за этим очевидным, казалось бы, решением стоит целый ряд дискуссионных вопросов, которые в той или иной связи выплескиваются на страницы научной печати.

Быть коммуникативной единицей – значит выражать единицу коммуникативного содержания. Но известно ли, что это такое, как идентифицировать эти единицы? Коммуникативная единица манифестируется и простым и сложным предложением. Неоднократно поднимался вопрос о правомерности именованного и простого и сложного предложения одним термином.

И независимо от именованного, проблема соотношения простого и сложного предложения много сложнее, чем в школьно-арифметическом представлении: "Это сложное предложение состоит из четырех простых...". Известны опыты разграничения одночленных и расчлененных сложноподчиненных предложений, открытой и закрытой структуры, типизированной и нетипизированной, многоликость научных классификаций.

Само противопоставление простого предложения сложному не во всех случаях считается ясным. Беспроигрышное провозглашение "переходной зоны", или "переходной категории", дает новую этикетку, но не новое знание. Остаются пограничные конфликты между территориями сложносочиненного и сложноподчиненного предложения, нет согласованного взгляда на системное место бессоюзных предложений. Оправданна неудовлетворенность преподавателей и исследователей состоянием этого раздела грамматики. Жаль только, что нередко полемика заинтересованных авторов устремлена лишь на то, чтобы подвести спорное явление не под ту, а под иную рубрику учебной программы. Расходуя силы на перевешивание этикеток, мы втискиваем сегодняшнее наблюдение в свод вчерашнего знания и перекрываем себе дорогу к знанию завтрашнему.

Прямые многими авторами логические понятия пропозиция, пропозиция и тивность или попытки исчисления внеязыковых ситуаций – скорее паллиативы, усложняющие терминологию, поскольку категории действительности и мышления структурируются человеческим сознанием лишь через языковые средства, а лингвистические основания этих категорий остаются все еще не проясненными.

Конечно, каждая новая работа, вызванная к жизни заботой о положении дел в грамматической науке, полезна и тревожащим ум воздействием и конкретными наблюдениями, частными или общими. По-видимому, более плодотворными окажутся усилия, направленные не столько на перемещение и умножение терминов, сколько на выявление именуемых ими недоизученных лингвистических сущностей.

Кроме спектра собственно грамматических нерешенных вопросов структуры и типологии предложения, есть и другая сторона дела. В наше время, когда неотвратимо растет информативный поток, развиваются и множатся различные средства коммуникации, совершенствуются математические методы исчисления информации, перед

лингвистами стоит актуальнейшая проблема соотносительности информации и средств языка. Вопрос прежде всего заключается в следующем: можно ли в языке найти соответствие единицам информации? Речь идет, разумеется, не об аксиологических, оценочных аспектах информации, не о таких ее признаках как достоверность, новизна, но о грамматических основах ее выражения.

2. Естественно допустить, что единица информации получает выражение в предикативной единице.

Предикативной считаем синтаксическую конструкцию, соотносящую имя признака (в широком смысле) с именем его носителя в категориях времени, модальности и лица. В таком понимании, восходящем к В.В. Виноградову, предикативность рассматривается как общее для любого предложения грамматико-семантическое значение данной единицы синтаксического уровня. Представление о предикативности как о отнесенности содержания предложения к действительности не расходится с изложенным, поскольку содержание предложения и реализуется прежде всего в предикативном отношении предиката к субъекту через категории времени, модальности и лица, так что можно полагать, что в трактовке предикативности после многих дискуссий сложился некоторый консенсус.

Предикативная единица – это прежде всего простое предложение. Но предложение предложению рознь, в рамки простого предложения может заключаться очень разный объем информации. Сравним примеры:

(1) *Мчатся тучи* (А. Пушкин);

(2) *И ускоряя ровный бег, / Как бы в предчувствии погони, / Сквозь мягко падающий снег / Под синей сеткой мчатся кони* (А. Ахматова).

Оба примера представляют по общепринятой классификации простые предложения одного типа.

Для квалификации предложений более сложной структуры используются понятия полупредикативность и полипредикативность. Как спутники предикативности, они получили хождение в синтаксической литературе, но не получили терминологического статуса. Вряд ли удачно и само слово "полупредикативность", напоминающее школьный анекдот о полуострове как острове, деленном пополам. Но большинством авторов интуитивно осознается потребность в этом понятии, связанном с реальными явлениями усложнения информативной и грамматической структуры предложения. Обычно понятие полупредикативности связывается с "обособленными оборотами", были попытки объяснить ее через интонацию, пунктуацию, порядок слов, дополнительную смысловую нагрузку или экспрессивность. Простое предложение, включающее в свой состав такие обороты, становится полипредикативным.

В других работах полипредикативность считается только свойством сложного предложения, в противоположность монопредикативности простого. Иногда терминологически противопоставляют полипредикативности сложного предложения полипропозиitivность простого осложненного. Но поскольку под пропозицией понимается единица, содержательно соответствующая сообщению, она не может не быть предикативной. Очевидно, различия в именовании объясняются тем, что в предикатах простых предложений, организующих сложное предложение, категорию модальности, времени и лица выражены, как правило, морфологически, наглядно, а в "пропозициях" такой наглядности нет.

Но если есть сообщение, даже редуцированное, "свернутое" до компонента простого осложненного предложения, язык не может не сигнализировать этого.

Лингвистическая задача и заключается в том, чтобы уловить эти сигналы, выявить способы, которыми язык оформляет "полупредикативность" (или "пропозиitivность") и определить соотношение этих понятий с понятием "предикативность".

3. Еще в 1947 г. В.В. Виноградов, констатируя неизученность относительного употребления времен русского глагола, привлек внимание к этой проблеме (см. [1]). Работы А. Белича, Н.С. Пospelова, Е.А. Иванчиковой и др. обогащали наблюдениями в области временных соотношений глагольных форм в сложном предложении и

в определенных типах текста. Введенный Р.О. Якобсоном термин "таксис" (от греческого "расположение по порядку") принят, вслед за Ю.С. Масловым и А.И. Смирницким, группой А.В. Бондарко, и в петербургской серии "Теория функциональной грамматики" понятие таксиса поднято на новый уровень категории, формирующей свое функционально-семантическое поле [2], ядром которого служит выражение значений одновременности/разновременности в отношениях между основной и второстепенной предикацией полипредикативного комплекса. Разновидности таксисных значений разрабатываются в основном на материале предложений с деепричастными конструкциями, но также и с причастными. Названным конструкциям, представляющим "зависимый таксис", противопоставлены полипредикативные комплексы с однородными сказуемыми, сложные предложения и сверхфразовые единства, демонстрирующие "независимый таксис". При том что в последнем термине наличествует нечто оксюморонное, очевидно, что и выбор полипредикативных построений из числа возможных и деление их опирается прежде всего на морфологическую "выраженность".

Перспективность понятий и относительного глагольного времени и таксиса в том, что они позволяют сделать дальнейшие шаги в грамматическом осмыслении поли- (и полу-) предикативности. Установлено, что время глагола (или, точнее, предиката, основного или дополнительного, вторичного) может быть либо свободным, соотносящимся с моментом речи, либо связанным, релятивным, таксисным, соотносящимся со временем основного предиката как одновременное или разновременное. Если такие два способа отсчета дает категория времени, одна из компонент предикативности, естественно предположить те же возможности у других категориальных компонент предикативности: модальности и персональности, то есть с точки зрения соотносительности с основным предикатом вторичные предикаты могут представлять ту же модальность или иную, то же значение лица или иное.

Требует расширения и круг наблюдаемых конструкций. Значение действия выражается не только личными глаголами, деепричастиями и причастиями, но также инфинитивом и отвлеченными именами-девербативами. А таксисные отношения по линии времени, модальности и лица существуют между основными и вторичными предикатами не только глагольными, акционального значения, но и именными, выраженными разного рода субстантивными, адъективными формами признакового значения; в качестве носителей вторичной предикативности выступают также приложения, двойные глагольно-именные предикаты, сравнительные обороты, уточняющие, поясняющие конструкции, компоненты с каузативным, авторизующим, оценочным значением.

Справедливое утверждение Н.Д. Арутюновой, что "присутствие в простом предложении пропозитивных имен делает его семантически сложным" [3] требует уточнения: не только семантически, но и структурно.

Обратимся к приведенным выше примерам. Если предложение (1) представляет в одной предикативной единице один основной предикат со свободным значением настоящего времени, реальной модальности и 3-го лица, то в предложении (2) можно выделить 6 предикативных единиц, соотносящих признак со своим субъектом:

- 1) *кони мчатся*
- 2) *кони – под синей сеткой*
- 3) *ускоряя ровный бег (о конях)*
- 4) *в предчувствии погони (о конях)*
- 5) *погони (о неопределенно-личном, потенциальном субъекте)*
- 6) *мягко падающий (о снеге).*

Все предикативные признаки из этого предложения темпорально характеризуются одновременностью, кроме *погони* (между *пред-чувствием* и *погоней* – отношения последовательности); модально все признаки реальные, кроме ирреального допущения *как бы в предчувствии погони*; в плане категории лица здесь три субъекта – носителя

признаков. Таким образом, предложение (2) в целом, в отличие от (1), можно охарактеризовать как полисубъектное, политемпоральное и полимодальное.

Еще пример:

(3) *Я пришел к тебе с приветом / Рассказать, что солнце встало* (А. Фет). Здесь, кроме основного предиката *пришел*, три таксисных компонента: 1) *с приветом*, 2) *рассказать*, 3) *что солнце встало*. По линии времени первый обозначает одновременный с предикатом признак, второй не совпадает (потенциальное время инфинитива обращено в будущее по отношению ко времени предиката), третий не совпадает (предшествующее событие). По линии лица – один субъект *Я* – носитель трех признаков; у последнего признака другой субъект – *солнце*. По линии модальности 1 и 3 компоненты означают реальные признаки, как и предикат, 2-й – потенциальный.

Итак, относительные, таксисные значения предикативных категорий, заключенные в "полупредикативных" компонентах, в осложненном предложении создают следующие комплексы:

- моносубъектность – полисубъектность,
- монотемпоральность – политемпоральность,
- мономодальность – полимодальность.

Сказанное позволяет определить **пол и п р е д и к а т и в н о с т ь** как соотносительность или взаимодействие в рамках одной коммуникативной единицы двух или нескольких предикативных единиц, в каждой из которых есть свое сопряжение имени признака (предиката) с именем предмета (субъекта) и свои грамматические характеристики времени, модальности и лица, либо свободные, либо связанные, в релятивном, таксисном значении.

Свойство предикативных единиц, соотносящих имя признака и его носителя в таксисных категориях времени, модальности и лица по отношению к основной, эксплицитной предикативности предложения, проецирующих на действительность эти таксисные категории через соответствующие значения основного предиката – это и есть, надо полагать, грамматическая сущность тех построений, в которых находят "полупредикативность", или скрытую, имплицитную предикативность, или "синтаксическую компрессию".

Когда утверждают, что синтаксическая компрессия – это увеличение количества информации на одну единицу плана содержания, только привычное морфологизованное восприятие мешает увидеть, что у единицы плана содержания должен быть и план выражения. Средствами плана выражения здесь выступают и категориально-грамматическая структура признаковых компонентов, и видо-временные характеристики глагольных форм, и инвариантное значение потенциальности, свойственное инфинитиву, и частица *бы* как показатель потенциальной, или ирреальной, модальности и др.

Высказывалось мнение, что "в полупредикативных формах, если сравнить их с личными, потеряно противопоставление по наклонению, а также не может быть выражено отношение к лицу" [4, с. 161]. Но сама "полупредикативность" – явление синтаксического уровня, поэтому формулируя там же четыре правила "порождения сложных синтаксических единиц, включающих более одной предикации", цитируемый автор решающую роль отдает признаку совпадения / несовпадения субъектов основной и вторичной предикации. Это и есть признак моноперсональности/полиперсональности.

Противопоставление в той же работе полупредикации (причастной и деепричастной) вторичной предикации (в придаточном предложении), фиксируя известные формальные различия, затеняет общее в функциональной и структурной роли компонентов полипредикативной конструкции; кроме того, оставляет за рамками наблюдения и сопоставления другие способы выражения этих компонентов.

4. Выявление семантико-грамматической основы "полупредикативных" осложнителей простого предложения позволяет видеть в них соотносимые предикативные единицы, а соотносимость единиц по однородным признакам делает эти единицы считающимися, исчислимыми. Количество предикативных единиц в составе простого или сложного предложения характеризует его **и н ф о р м а т и в н у ю з н а ч и м о с т ь**, или информативный объем.

Так, в наших примерах информативный объем

- (1) получает выражение в 1 единице,
- (2) — " — — " — в 6 единицах,
- (3) — " — — " — в 4 единицах.

5. Из изложенного понимания предикативных единиц и их признаков вытекает классификационное следствие. Поскольку сложное предложение стоит в ряду полипредикативных конструкций (при том, конечно, что это конструкция с наибольшей эксплицированностью полипредикативной организации и соответственно с большей дифференцированностью значений), для классификации содержательнее представляется деление не на простые и сложные предложения, а на монопредикативные и полипредикативные. Возьмем для примера еще известный текст (из V главы "Евгения Онегина"):

*Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне...*

И первые четыре строки и пятая по традиционной классификации представляют простые предложения. Первое осложнено деепричастным оборотом. Но только ли им? В самом деепричастном обороте, сообщающем о намерениях Татьяны (*сбираясь ворожить*), говорится еще о предшествующем действии другого субъекта (*по совету няни, няня советовала*); действие Татьяны *приказала* адресовано неопределенно-личному (не названному за ненадобностью) исполнителю потенциального действия *накрыть стол*. Таким образом, в этом будто бы простом предложении обнаруживаются четыре предикативных единицы и грамматические значения полисубъектности, политемпоральности, полимодальности. В предложении *Но стало страшно вдруг Татьяне* — одному субъекту приписывается один предикативный признак состояния. Какая же грамматическая квалификация имеет большую познавательную ценность: признание обоих предложений простыми или одного монопредикативным, а другого полипредикативным, организованным четырьмя предикативными единицами?

Правомерность последнего решения подтверждается тремя аргументами:

а) Полипредикативные конструкции располагают богатыми возможностями синонимических преобразований (трансформаций, вариаций), замен одних предикативизирующих средств другими как в пределах простого осложненного предложения, так и с выходом в структуру сложного предложения. Возьмем произвольный пример:

*Гость вошел в комнату и поклонился.
Гость вошел в комнату с поклоном.
Войдя в комнату, гость поклонился.
Вошедший в комнату гость поклонился.
Когда гость вошел в комнату, он поклонился.*

В каждом из синонимических построений этого ряда одному субъекту приписывается по два акциональных признака; все эти предложения характеризуются полипредикативностью (информативная значимость равна 2 единицам) при моносубъектности, мономодальности и политемпоральности (действия неодновременны, последовательны).

Подобный ряд синонимических преобразований может быть более или менее полным, это зависит от словообразовательных возможностей, а также от смысловой и стилистической целесообразности. Но сама коррелятивность полипредикативных конструкций с элементарными простыми, с одной стороны (*Гость вошел. Он поклонился*), и со сложным предложением, с другой стороны, может служить критерием принадлежности ее к этому ряду.

Некоторые специалисты не признают синонимичными конструкции типа *После обеда он прилег отдохнуть; Когда он пообедал, он прилег отдохнуть; Пообедав, он прилег отдохнуть* на том основании, что в первом примере они видят непредикативное обстоятельство времени, во втором – предикативное, в третьем – полупредикативное, то есть будто бы "единицы разных синтаксических уровней". Привычно квалифицируя технику оформления конструкции, не замечают общности именно грамматических значений – общности в выражении таксисных предикативных значений времени, модальности, лица вторичных предикативных единиц по отношению к первичному, основному предикату. Именно это грамматическое значение делает сопоставляемые конструкции единицами одного ранга – полипредикативными, объединяющими на таксисной основе по две предикативных единицы в одном предложении, которое сообщает о последовательности двух реальных действий одного лица (моносубъектность, мономодальность, политемпоральность).

б) Материалы русской разговорной речи также могут служить подтверждением данного критерия. Сопоставление с литературными кодифицированными конструкциями остается основным приемом описания разговорных явлений в работах этого направления. Эксперименты авторов, возводящие некодифицированные построения к "нормативному фону", и опираются интуитивно, имплицитно на соблюдение таксисных предикативных характеристик полипредикативных конструкций, ср.:

(1) *За перила держались, когда спускались* (КЛЯ, РР)

(2) *За перила держались, спускаясь / или: держась, спускались* (КЛЯ)

(3) *За перила держались спускались* (РР) [4, с. 165].

Во всех трех вариантах два предикативных признака, по-разному оформленных, но монотемпоральных и мономодальных, относятся к одному субъекту. Там же:

Она уезжала на гастроли / дала мне ее

Она когда уезжала на гастроли / дала мне ее

Она, уезжая на гастроли, дала мне ее

(моносубъектность двупредикатной конструкции при мономодальности и политемпоральности; ср. еще возможный синоним: *Она перед отъездом дала мне ее*).

Конструкции с инфинитивом могут получить более точную предикативную характеристику. А школа у нее была тут же, вот только улицу перейти. Роль инфинитива заключается здесь не в "снятии идеи субъекта действия" [4, с. 170], а в выражении потенциальной (долженствовательной) модальности и обобщенно-личного значения субъекта действия, при ином субъекте (школа) и локативном предикате первой предикативной единицы; в то же время вторая предикативная единица по отношению к первой выполняет роль уточнителя локативного признака.

Ср. еще пример из разговорных записей: *Почты не было, ты шел?* и его возможный вариант *Почты не было, когда ты шел* [мимо почтового ящика]? с общими характеристиками полисубъектности, мономодальности, монотемпоральности (при морфологической однородности форм глагольного времени очевидно реальное несовпадение временных планов: почта, если бы была, должна была попасть в ящик до того и находиться в нем какое-то время до момента ее обнаружения адресатом).

Характерна для разговорных полипредикативных конструкций минимизация категориальных сигналов: – *Там теперь очередь второе больше чем мы стояли* (разг.). Ср. нормативно-литературное: ... *чем была (тогда), когда мы (там) стояли*. Сопоставление двух разновременных ситуаций выражается количественно-компаративным предикатом первой единицы, союзом *чем* и минимумом темпоральных сигналов (*теперь / стояли*: наст./прош.), редуцировавшим вторую и третью единицы. И в разговорном и в литературном вариантах конструкции – три предикативных единицы, со значениями полисубъектности, мономодальности, политемпоральности.

Опущение избыточных категориальных сигналов, особенно в диалоге, структурно облегчает и выражение темо-рематических отношений: – *Когда вы стали лечить? – Я стала лечить пошла уже на пенсию* (Телевизионная беседа с экстрасенсом. 1992, янв.). В корреляции с вопросом, с исковой ремой, заданной вопросительным наречием времени, но без темпоральных союзов (*когда, после того как*), ответная конструкция четко разделяется на тему и рему, каждая из которых представлена предикативной единицей, с общим значением моносубъектности, мономодальности и политемпоральности.

Интересно, что некоторые диалогические структуры включают в себе как бы прием проверки на полипредикативность. Вот записанный разговор: – *Говорят, он единственный в округе честный продавец*. Ответная реплика: – *Правда?*

Это *Правда?* может выполнять чисто фатическую функцию, для вежливо-безразличного поддержания разговора. Но если этот случай исключить, остается три возможных его значения: 1) Действительно ли это говорят?; 2) Действительно ли он честный продавец? 3) Действительно ли он единственный такой? Этот "критерий истинности" выявляет, что в предложении, простом (согласно традиционной классификации), в действительности "законспирированы" три предикативных единицы. Ответы *да* и *нет* тоже бывают такими проявителями полипредикативности.

Специфика разговорной речи в соединении предикативных единиц (особенности интонирования, наложения и совмещения, размывающие границы и др.), отмечаемая специалистами, не вызывает сомнений, тем не менее сама возможность сопоставлений и вариантов, сохраняющих таксисные предикативные характеристики, подкрепляет релевантность оппозиции монопредикативность / полипредикативность в противовес оппозиции простое / сложное предложение.

в) Третьим аргументом может служить практика межъязыкового сопоставления, перевода с русского на другие языки и с других на русский.

Приведем два примера, из повести современного французского писателя П. Модьяно (P. Modiano) и перевода ее на русский язык: "Il était petit, les épaules très larges, et il portait une veste de cuir noir" – "Он был маленького роста, широкоплечий, в черной кожаной куртке".

Формально здесь сложное предложение во французском тексте и простое в русском, но по существу в обоих случаях по три предикативных единицы. Возможно, хотя и реже, и обратное соотношение: "A la sortie de l'école, mon frère m'attendait, tout seul" – "У дверей школы меня ждал брат, он был один". Простое с обособлением предложения во французском и сложное предложение в русском соответствуют здесь двум эквивалентным предикативным единицам.

Ср. коррелятивность именных таксисных компонентов в русском тексте с придаточными предложениями в английских переводах: "С наступлением темноты она отправилась в путь" (Ф. Кривин. Родная коробка): "When darkness fell..." (пер. V. Korotky); "В такую пору под вечер злая мачеха приоткрыла дверь" (С. Маршак, 12 месяцев): "... as evening came on..."

Известно, что не совпадают формально инфинитивная конструкция английского языка с придаточным предложением в русском в случаях, подобных следующему: "... I want you to drive my sheep to the mountain to-morrow (O. Wilde, Tales)": "... Я хочу, чтобы ты перегнал моих овец в горы завтра" (пер. Л. Осепян), но при этом сохраняются полиперсональная и полимодальная характеристики полипредикативной структуры.

На любом параллельном тексте можно легко убедиться в смысловой нерелевантности противопоставления простого полипредикативного и сложного предложений.

Верность перевода достигается не сохранением структуры простого или сложного предложения, а следующим правилом: при внутриязыковых синонимических преобразованиях осложненных конструкций, так же как и при переводе их на другой язык, должны сохраняться неизменными количество предикативных единиц, соединяющих свои потенции в единой структуре, и грамматические характеристики их предикативности. В этом грамматическая гарантия их эквивалентности.

В высококвалифицированных итальянских переводах "Евгения Онегина" Э. Ло Гатто и Э. Баццарели неточность смысла в одной строке из третьей главы (*Мне с плачем кошу расплели...*), объяснимая несовпадением фоново-этнографических знаний, синтаксически представляет несоблюдение правила моноперсональности субъектов предиката *кошу расплели* и девербативного компонента *с плачем* (ср. *и с пеньем... повели*):

- (1) *Di paura versai lacrime amare,*
ma del mio pianto senza darsi intesa,
(не обратив внимания на мой плач)
mi sciolsero le trecce e alla chiesa
- (2) *To piangevo amaramente di paura; mi*
sciolsero le trecce che ero tutta in lacrime
(мне, которая была вся в слезах)
e mi condussero in chiesa coi cantici¹

¹ Автор благодарит профессора К. Ласорсу-Сьедину, помогшую разобраться с тонкостями перевода.

От таксисно-предикативных характеристик зависит и набор синонимических возможностей. Так, нарушение отношений последовательности действий при политемпоральности не позволяет считать синонимами построения типа *Войдя в комнату, гость поклонился* и **Поклонившись, гость вошел в комнату* (ср. выше, при монотемпоральности: *спускались, держась за перила* и *держались за перила, спускаясь*). Полисубъектность выводит из синонимического ряда конструкции с деепричастным, а нередко и с девербативным компонентами: ср. *Гость вошел в комнату, и хозяин поднялся ему навстречу; Как только гость вошел, хозяин поднялся...; Хозяин поднялся навстречу вошедшему гостю.*

Моносубъектное, политемпоральное и полимодальное предложение с инфинитивом сохраняет синонимичность с предложениями, включающими девербативный компонент финитивного значения: *Студенты отправились в горы собирать гербарий; Студенты отправились ... на сбор гербария, для сбора гербария, но не соответствовало бы мономодальным построениям с другими глагольными формами: Студенты отправились... и собирают; Студенты, отправившись в горы, собирают; Студенты, отправившиеся в горы, собирают...;*

Релятивное, таксисное значение времени может быть единственным для некоторых "полупредикативных" форм, так у деепричастных (кроме просторечных *выпиши, не евши, не сливши* и северозападных диалектных), так у темпоральных, каузальных девербативов (*после обеда, по возвращении, перед рождением, во время каникул, по болезни, из-за непогоды, за ненадобностью* и др.); может накладываться на общее для морфологически однородных предикатов время: *входит и зажигает свет; вошел и зажег свет; когда вошел, зажег свет; когда войдет, зажжет свет.* Здесь прошедшее, настоящее, будущее обозначают время по отношению к моменту речи, но в предложении возникает разновременная последовательная соотносительность этих глаголов. Именно это таксисная соотносительность предикатов в этом предложении или в главном и придаточном служит основанием для возможного их преобразования в конструкцию с деепричастием (*войдя, зажег свет*) или с причастием (*вошедший зажег свет*). При этом таксисные значения предикативности обоюдны, взаимнообуславливающи: если *вошел* или *войдя* выражают предшествующее действие, то, естественно, его партнер по предикативной конструкции, обозначающий другое действие, в любом морфологическом облике значение последующего действия сохранит. Ср.: *уходя, гасит свет; уходя, погасил свет; гасит свет и уходит; погасив свет, уходит; погасил свет и ушел; погасив свет, ушел; перед уходом погасил свет; перед тем как уйти погасил свет.*

Существенным является и коммуникативно-синтаксический критерий: представляя минимальную, низшую речевую единицу композиционно-текстовой структуры, границы которой могут совпадать с границами регистровых фрагментов, таксисная предикативная единица поддается морфологическими преобразованиям в данном тексте лишь в пределах своей регистровой функции. Ср., например, соотношение репродуктивно-повествовательных и информативно-описательной единиц в вариациях следующего текста (из "Невозвращенца" А. Кабакова).

- (1) *"Сергей Иванович, сидящий на втором переднем месте, высунулся в боковое стекло и укоряюще грозил мне пальцем"* (А. Кабаков);
- (2) *Сергей Иванович, который сидел на втором переднем месте, высунувшись в боковое стекло, с укором грозил мне пальцем;*
- (3) *Сергей Иванович, сидевший на втором переднем месте, высунулся в боковое стекло, с укором грозил мне пальцем.*

Сформулированное правило синонимических преобразований полипредикативных конструкций представляется принципиально важным для теории и практики перевода, в том числе машинного, для теории и практики обучения языку и для информатики.

Вместе с тем, сопоставительные наблюдения показывают, что общее универсальное правило допускает некоторые частные отклонения, связанные с национальной спецификой техники языка. Скажем, *дорожка к беседке – le sentier qui mène au pavillon; фотографии на стенах – les photos qui ornaient les murs; письма из госпиталю – les lettres qu'il avait envoyées de l'hôpital.* Это примеры из рассказа К. Паустовского и перевода его на французский язык. Именным сочетаниям в русском соответствуют конструкции с придаточным предложением во французском, то есть французский дает плюс одну предикативную единицу. Трудно судить о степени свободы или необходимости в выборе переводчиком именно такого эквивалента, но предпочтения определенны. Расхождения объяснимы более развитой флективно-падежной системой русского существительного, дифференцированностью отношений статики и динамики (где и куда–откуда) в пространственных значениях.

Здесь объект для сопоставительного изучения зон структурных расхождений на

фоне общих универсалий. Не исключено и другое решение: может быть, наоборот, сопоставительными данными можно подтвердить эллиптичность и все-таки "полупредикативность" таких сочетаний в русском. Это вопрос для дальнейшей проверки.

Не стала бы утверждать, что это единственная частность, не до конца ясная. Возможны и другие конкретные затруднения, которые требуют дополнительного изучения и обсуждения. Но это уже не колеблет основного вывода о принципиальной исчислимости информативного объема предложений на семантико-грамматической основе.

6. Анализ полипредикативных структур способствует прояснению некоторых аспектов соотношения лексики и синтаксиса.

В связи со случаями синкретизма и контаминации в выражении видо-временных значений М.Я. Гловинская [5] предлагает тонкое толкование "предикатов с довольно сложным значением", среди которых упоминаются глаголы *выражаться* (в том, что...), *ограничиваться* (тем, что...), *оказываться*, (что...), *подтверждаться*, *получаться*, (что...) и под. В них автор обнаруживает как бы двойной смысл: постулирование какой-то ситуации в пресуппозиции и отражение этой ситуации в сознании говорящего (*Этот факт обнажил глубокое неблагополучие в системе школьного обучения; Тем самым подтвердилась истина, что все вещи несовершенны*). Устанавливается, что соединенные в одном глаголе точечное значение СВ и процессное НСВ "относятся к разным слоям смысла: один к ассерции, другой – к модальной рамке".

Если рассмотреть синтаксическую структуру приводимых примеров (от чего автор толкования абстрагируется), возникает прежде всего вопрос о материальном содержании понятия "пресуппозиции" (откуда мы узнаем о содержании пресуппозиции как первого компонента смысла?). Между тем в предложенных примерах есть выраженный отвлеченным именем компонент, и заключающий в себе этот смысл существования, бытия, этот компонент и называют часто "пропозицией". Именно действие, состояние, ситуация, названные этим именем, относятся к плану прошедшего времени (или настоящего расширенного): существует (существовали) *истина, программа, неблагополучие, расхождение...* Осознание этого явления или изменения в нём, констатируемые в плане настоящего, связываются с моментом речи. Время ситуации и время осознания, заявления о ней соотносятся как таксисные темпоральные значения в составе полипредикативной конструкции, между двумя взаимодействующими в этой структуре предикативными единицами ("пропозициями").

Представляется, таким образом, что более адекватным изучаемому объекту будет не толкование через модель "глагольная лексема + пресуппозиция", а анализ компонентного состава предложения на уровне категориально-семантических значений составляющих. Этот анализ выявляет, что "сложное значение" принадлежит не собственно предикату, а полипредикативной конструкции предложения. Два разряда глагольных лексем, фиксирующих ментальные процессы, авторизующие (речи, мнения, восприятия) и компликаторы (с каузативным или логически-операциональным значением), синтаксически реализуются именно в полипредикативных конструкциях.

7. Исчисление информативной значимости (состава предикативных единиц) предложения позволяет перейти к определению информативной плотности текста.

Тексты различаются степенью информативной плотности в зависимости от коммуникативного назначения, жанрово-стилистических, индивидуально-эстетических и др. особенностей.

Минимальную степень информативной плотности, "синтаксическую прозрачность" текста наблюдаем в жанрах детского рассказа, народной сказки. См. примеры:

(1) Л. Толстой. "Солдат".

"Горел дом. А в доме остался ребенок. Никто не мог войти в дом.

Солдат подошел и сказал:

– Я пойду.

Ему сказали:

– Сгоришь!

Солдат сказал:

– Два раза не умирать, а раз не миновать.

Вбежал в дом и вынес ребеночка".

(2) Б. Житков. "Как я ловил человечков" (фрагмент).

"Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. А из дырочки глядел, не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на парходике мне стало все отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо. Только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился – шорох этот на парходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание сперло. Я двинулся вперед. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка!"

В тексте (1), состоящем из 10 предложений, находим 13 предикативных единиц (7 монопредикативных предложений и 3 полипредикативных, содержащих по 2 единицы), информативный коэффициент его можно выразить как $13/10 = 1,3$.

В тексте (2) на 13 предложений приходится 9 монопредикативных и 4 полипредикативных, всего 17 предикативных единиц ($17/13 = 1,35$).

Иное соотношение между количеством предложений и их информативной нагруженностью наблюдаем, например, в тексте романа "Война и мир" Л. Толстого (фрагмент из 4 тома, гл. I, V):

(3) *"На другой день, рано утром, дряхлый Кутузов встал, помолился богу, оделся и с неприятным сознанием того, что он должен руководить сражением, которого он не одобрял, сел в коляску и выехал из Леташевки, в пяти верстах позади Тарутина, к тому месту, где должны были быть собраны наступающие колонны. Кутузов ехал, засыпая и просыпаясь и прислушиваясь, нет ли справа выстрелов, не началось ли дело? Но все еще было тихо"*.

В сложном социально-психологическом повествовании обнаруживаем 20 предикативных единиц, приходящихся на три предложения ($20/3 = 6,67$).

Подобная информативная насыщенность характерна для текстов, представляющих научную речь, газетную, деловую. См. примеры:

(4) Информативная заметка из Криминальной хроники (Изв. 1990. 8 окт.)

"При перевозке 7 сентября из изолятора временного содержания в народный суд города Бобруйска совершил побег арестованный за кражу Тарманов".

Здесь в одном предложении 4 предикативных единицы (полисубъектность, политемпоральность, мономодальность). Коэффициент $4/1 = 4$

(5) Объявление в московском троллейбусе:

"Безбилетными считаются пассажиры, не оплатившие проезд до следующей остановки после посадки".

В одном предложении 6 предикативных единиц (полисубъектность, политемпоральность, полимодальность). Коэффициент $6/1 = 6$.

(6) Фрагмент из книги В.В. Виноградова "Из истории изучения русского синтаксиса" (с. 167):

"Анализируя строй простого предложения, А.Х. Востоков обратил особенное внимание на синтаксические различия между простым и составным сказуемым и подчеркнул их важность для русского языка. Тем самым он выдвинул вопрос о формах выражения составного сказуемого, доказал его глубокое значение для изучения синтаксического строя русского языка и как бы наметил тему будущей докторской диссертации А.А. Потебни".

Здесь в двух предложениях научного текста обнаруживаем 10 предикативных единиц. Коэффициент $10/2 = 5$.

Что касается собственно количественных признаков, то показатель информативной ценности предложения должен уточняться еще двумя: во-первых, показателем иерар-

хической глубины, или этажности структуры, – в тех случаях, когда предикативные единицы относятся не к главному предикату, а одна к другой (в наших примерах:

в предчувствии *рассказать,*
погони *что солнце встало);*

во-вторых, исчисляется соотношение единиц сообщения и единиц номинации, то есть количество синтаксических компонентов в каждой предикативной единице и в среднем в тексте, в фрагменте текста. В отличие от предшествующих опытов исчисления длины предложения, опиравшихся на количество слов, не принимаются за считаемые единицы слова неполнознаменательные (например, фазисные, модальные, компенсаторные глаголы и их корреляты других частей речи). Это условие позволяет в определенных речевых ситуациях оценивать и качественный аспект содержащейся в тексте информации (об этом см., например, в [6]).

Три количественных показателя информации, содержащейся в предложении, отражают во взаимодействии соотношение смысла и структурных средств, а также характеристику типа текста.

Таким образом, разнородные, как казалось, аспекты проблемы связываются в один узел или, может быть, лучше сказать, вырастают как ветви из одного ствола, что само по себе, можно надеяться, свидетельствует о правомерности изложенного подхода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Виноградов В.В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947. С. 543.
2. Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис / Отв. ред. А.В. Бондарко. Л., 1987.
3. *Арутюнова Н.Д.* Семантическое согласование слов и интерпретация предложения // Грамматическое описание славянских языков. М., 1974. С. 170.
4. Русская разговорная речь / Отв. ред. Е.А. Земская. М., 1973.
5. *Гловинская М.Я.* Диффузные видо-временные значения // Проблемы структурной лингвистики. 1985–1987. М., 1989. С. 83–95.
6. *Золотова Г.А.* О слове и деле. Неполнознаменательность в языке и в речах // Русская речь. 1992. № 1.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1995 г. Л.В. КНОРИНА

ПРИРОДА ЯЗЫКА В ЛИНГВОКОНСТРУИРОВАНИИ XVII ВЕКА

Лингвоконструирование – движение по созданию искусственного "идеального" языка – было чрезвычайно популярным в Европе, и в особенности в Англии XVII века.

Среди зачинателей лингвопроектирования были такие выдающиеся ученые как Фрэнсис Бэкон, Декарт и Ян Амос Коменский (см. обзорную работу [1]). Создание универсального языка входило в задачи Лондонского Королевского общества, первым председателем которого стал в 1660 г. активно занимавшийся этой проблемой Джон Вилкинс, позднее создавший наиболее капитальный проект универсального языка.

В самом начале своей творческой деятельности в решении этой задачи принял участие юный Исаак Ньютон. Работа "Of an Universall Language", посвященная описанию проекта универсального языка, была его первой научной работой. Она была написана, вероятно, в 1661 г., т.е. когда Ньютону было восемнадцать лет, во время первого года его обучения в Тринити-колледже Кембриджского университета¹. Тем самым осмысление Ньютоном природы понятий послужило основой его научного мировоззрения – а тем самым в определенной степени повлияло и на современные научные представления.

Многочисленные английские проекты универсального языка, составившие в науке XVII в. особое направление, обычно рассматриваются где-то на периферии языкознания. Между тем это направление, связанное с бурным развитием естественных наук, нуждавшихся в адекватных средствах описания, прекрасно отражает представление ученых того времени о природе языка.

Задача лингвоконструирования предполагает предшествующий этапу кодирования этап выделения кодируемых смыслов, т.е. построение языковой модели. Конструктивный подход закономерно сосредоточивает внимание на плане содержания, который в обычных лингвистических описаниях часто растворяется в специфике языкового выражения. Хотя описание семантической структуры не является самоцелью создателя искусственного языка, эта структура проглядывает в описании проекта подчас сильнее, чем в теоретическом исследовании, поскольку средства кодирования искусственного языка обычно предполагают однозначное соответствие смыслу. Стоит подчеркнуть, что внимание крупнейших умов эпохи к языковой проблематике характеризует не только XVII век. Постоянное обращение к проблемам слова (и в том числе к опытам построения языка характерно также для ученых античности, средневековья и Возрождения. Влияние системы понятий на описание реального мира на том или ином уровне осознавалось и отмечалось, можно сказать, во все времена, так что постановка языковой проблематики в круг (или даже в центр) основных научных интересов представляется вполне закономерной. Столь же неслучайным представ-

¹ Впервые эта работа была опубликована лишь в 1957 г. [2] перевод на русский язык и комментарии см. [3]. В названии работы и примерах из нее сохраняются особенности орфографии Ньютона. Опубликованная рукопись состоит из двух частей, причем вторая часть является переработкой первой ("наброска").

ляется и то, что наиболее остро проблема зависимости науки от ее языка была осознана во время научной революции XVII в. и что тогда же была поставлена революционная (и достаточно утопическая) задача создания совершенного языка. Заметим, что причину для постановки этой задачи трудно усмотреть в отсутствии просто средства общения для ученых разных стран – в то время латынь все еще выполняла роль международного научного языка (см. [4]).

В наше время возобновленного интереса к глубинному уровню языка работы по созданию универсального языка приобрели особую актуальность. Последующее изложение посвящено в основном английским проектам середины XVII в., авторы которых заметно апеллируют к семантике естественных языков. Это Ньютон [3], Вилкинс [5], Далгарно [6]. Затрагивалась также посвященная этой проблематике работа Яна Амоса Коменского [7] и тесно связанный с движением лингвопроектирования фундаментальный труд Кирхера [8], целиком посвященный возможностям комбинирования смыслов.

ЯЗЫК, ВЫВЕДЕННЫЙ ИЗ ПРИРОДЫ ВЕЩЕЙ

Идейной декларацией большинства проектировщиков было отталкивание от структур естественных языков. Такая установка связывалась, в частности, с существенными отличиями между языками. Предполагалось, что всеобщий язык (как и первый существовавший язык) может быть выведен лишь из природы самих вещей. Вот как эта идея сформулирована в проекте Ньютона: "Диалекты отдельных языков так сильно различаются, что всеобщий Язык не может быть выведен из них столь верно, как из природы самих вещей, которая едина для всех народов и на основе которой весь Язык был создан вначале".

Теоретической основой таких заявлений служил, вероятно, тезис Платона о существовании правильных имен, присущих каждой вещи от природы, неизменно вдохновлявший размышления о языке вообще. Стремление к естественной (или натуральной – *natural* от *nature* – "природа") грамматике, т.е. грамматике, следующей природе вещей и претендующей на роль грамматики философской, рациональной, общей или универсальной, складывалось в рамках описания языка (главным образом, латинского). В знаменитых грамматиках латинского языка XVI в. Скалигер и Санчес подчеркивали его внеязыковые "причины". В качестве аргументов использовались и сопоставления различных языков. В 1619 г. была опубликована учебная "Универсальная грамматика" Гельвига [9], посвященная описанию латинского, греческого, еврейского и халдейского (арамейского) языков. В ее первой части приводилось перечисление "общих" грамматических категорий. Для каждой категории отмечались ее значения во всех перечисленных языках (различавшиеся прежде всего по количеству).

Хорошо накладывающийся на платоновскую идею образ первичного единого языка, служившего человечеству до Вавилонского столпотворения, широко употреблялся в связи с движением языкового проектирования, направленным, так сказать к возврату в доавилонское состояние (*debabelization*). Нужно также иметь в виду, что усилившийся в XVI в. интерес к изучению природы и ее знаков, попытки выявления скрытых причин существования Вселенной (*Universum*) были связаны и с увлечением каббалой, в традицию которой входит поиск связей между элементами мирового единства². Подытоживание и систематизация знаний в поисках единой связующей гармонии развивались на фоне представлений о соответствии между Божественными знаками, явленными в природе, и знаками Божественного текста – святого Писания. Толкования Писания (особенно пророчеств), основанные на сочетании традиций каббалы и рационального подхода, а также на применении точных математических понятий, были чрезвычайно популярны в Англии XVII века [10].

² О месте каббалы в идеях нового просвещения см. [12].

Сама деятельность, связанная с созданием универсального языка, в большей степени соответствовала ожиданиям наступления "золотого тысячелетия" (millenium), предсказываемого на основании библейских пророчеств. Правильные слова связывались с правильным устройством общества, и вопрос о всеобщем языке вписывался в проблематику утопий [11]. Недаром такие энтузиасты языкового проектирования как Бэкон и Кампанелла (автор руководства по созданию философского языка) были авторами утопий ("Новая Атлантида" и "Город солнца"). Проект Коменского "Панглоттия" входил в его фундаментальную философскую утопию [7]. Характерно, что название труда Фрэнсиса Бэкона (The Advancement of learning), в котором были впервые сформулированы задачи образцовой философской грамматики, апеллирует к пророчеству из книги Даниила (Дан. 12:4) об умножении знаний. Противопоставление "природы вещей" различным языкам в поисках источника для выведения общего языка было достаточно полемичным. Мысль о создании образцовой грамматики на базе грамматик разных языков (с тем, чтобы в нее попали лишь общие и тем самым не случайные характеристики) была высказана в только что упомянутой работе Бэкона.

Кроме того, одним из претендентов на роль идеального языка выдвигался и сам язык святого Писания – древнееврейский, изучение которого входило в программу так называемых trilingual colleges, образованных в XVI в. по всей Европе [13]. Предполагалось, что именно в этом языке язык Бога отражен наиболее непосредственно (см. [1]). Любопытно, что в иврите к тому же как бы декларировалось единство слова и вещи – слово *dabar* означает как "слово", так и "вещь".

Очевидно, что иврит (как и другие языки изобилующий "аномалиями") не мог удовлетворить критерию соответствия правильному порядку вещей, однако такие его особенности как ограниченное количество трехбуквенных корней и выделяемость "служебных" букв явно повлияли и на предлагавшиеся проекты. Прямая отсылка к ивриту (в связи с трехбуквенными корнями) приводится у Коменского.

АЛФАВИТ КОДИРОВАНИЯ

Во многих проектах того времени основное внимание уделялось разработке особого алфавита кодирующих обозначений (universal character [14]).

Однако в целом описание большинства крупных проектов строится на примерах с латинской транскрипцией, так что кодировка явно не влияет на сущность проекта. Проект Ньютона вообще основан на буквах латинского алфавита, звуковое значение каждой из которых иллюстрируется английскими примерами³. Все дифтонги обозначены сочетаниями из двух букв, для нейтрального безударного гласного и для межзубного звука добавлены знаки, совпадающие со знаками, принятыми по сей день в фонетической транскрипции. Очевидно, что Ньютон удовлетворяется однозначным, но условным отражением звучания и не занимается непосредственным кодированием понятий.

КОДИРУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ

Судя по примерам, в объектах кодирования никакой особой проблемы не усматривалось. Во всех проектах речь идет чуть ли не об однозначном соответствии слов обычного языка – основой служит, как правило английский или латинский языки – словам языка "природного".

В проекте Ньютона просто предлагается составить на каждом языке алфавитный список всех субстанций, которым следует сопоставить имена универсального языка, предназначенные для обозначения тех же вещей. Подразумевается, следовательно,

³ Любопытно, что в более ранних заметках по английской транскрипции Ньютон использовал черточки, точки, а также буквы еврейского алфавита [15].

что в имеющихся языках обозначения субстанций существуют. К ним, судя по примерам *Angell* – "ангел", *house* – "дом", *I* – "я", *thou* – "ты", относятся, во всяком случае, существительные, обозначающие "духов и тела", и личные местоимения. Но есть и другие примеры (в "наброске" они выделены как атрибуты – *affections*), заданные словосочетаниями типа *my thing, good thing* "моя вещь, хорошая вещь".

По-видимому, такое упрощенное представление об именах понятий следует традиции универсальных грамматик, опиравшихся в обосновании языка на категории Аристотеля (которые в свою очередь имеют языковую основу [16]).

Первая категория – *substantia* – считалась одинаково представленной во всех языках и относилась к обозначениям вещей. Различия между языками связывались с приводящими признаками вещей, или акциденциями – остальными девятью категориями (качество, количество, отношение, место, положение, обладание, время, действие, претерпевание). Основу такого подхода отражает знаменитая формулировка Роджера Бэкона (XIII в.) о том, что грамматика всех языков едина постольку, поскольку она касается субстанций, различать же могут лишь акциденции (цит. по [17]). С другой стороны представление о единстве выделяемых субстанций идет вразрез с тремя уровнями, выделяемыми, например, Коменским: реальным, ментальным и словесным. Возможно, предполагавшиеся различия между уровнями не затрагивали априорно устанавливаемого соответствия между ними, однако Коменский предполагает, что при правильном отборе основных понятий их число не должно превышать 300. Цифра того же порядка предполагается, вероятно, и в проекте Ньютона, поскольку приводимые им в примерах имена первичных понятий трехбуквенны, а средняя буква – всегда гласная. Особый аппарат элементарных понятий, на которых должны строиться слова идеального языка, был предложен епископом Вардом, профессором математики и астрономии. При этом и Вард процедуру отбора понятий строит, не прибегая к анализу структуры вещей, но апеллируя к анализу слов обычных языков. Элементарные понятия Варда – это семантические составляющие, получающиеся при разложении семантической структуры обычного слова. Слова разложимы на манифестируемые ими простые понятия, так что если все разновидности простых понятий будут выявлены и им будут присвоены символы, таковых будет чрезвычайно мало по отношению к остальным... Коль скоро обоснования их компонентов будет нетрудно обнаружить, даже наиболее сложные понятия будут тотчас поняты. Представив наглядно все компоненты своего состава, они донесут таким образом природу вещей (цит. по [14]).

При выделении семантических составляющих следует опираться на определения слов, с тем чтобы каждое слово идеального языка "являлось бы определением и содержало бы природу вещи". Важность определений и сводимость слова к набору простых компонентов связывались с возможностью оценки истинности утверждений [18]. Однако при практическом осуществлении принципа сводимости обнаруживаются ограничения этого подхода. Например, компоненты *четырёхугольник, равнос-торонний, прямоугольный*, составляющие понятие "квадрат" в определении Гоббса, явно малоперспективны для построения других понятий. Не свелся к ограниченному набору простых понятий и большой массив определений, приводимый Кирхером. Вероятно, выделимость такого ограниченного набора через определения вызывала сомнения, и поиск составляющих компонентов часто отходит на второй план. Семантические признаки, приводимые в проектах Далгарно и Вилкинса, в сущности не задают понятий (см. ниже).

Главным в сведении к более компактному набору понятий оказывается выделение групп родственных понятий. В каждой такой группе вычленяется одно исходное понятие (радикал) и его производные, отличающиеся от радикала различными семантическими модификациями. В сущности, исчисляемым представлен лишь набор модификаций. Такое представление соответствует традиционному представлению о деривации в естественных языках, но есть и характерные отличия.

В европейской традиции радикалом фактически считалось слово, лишенное словообразовательных аффиксов. Соответственно аффиксам и приписывались семантические модификации.

На примере группы родственных слов, включающих *lux* "свет", соответствующий в словообразовательной парадигме роли "вещь", или "объект" "thing", и *illuminatio* "освещение" – "активное действие" ("action"), Вилкинс показывает, что на выбор радикала *lux* влияет чисто поверхностный критерий. Однако непроезженность поверхностной структуры данной "вещи" не может служить доказательством первичности семантической структуры "вещей", тем более, что в другой ситуации способ выражения может быть другим. Поверхностно "первичным", т.е. безаффиксным может оказаться обозначение действия (а его семантическая роль в парадигме будет, разумеется, той же). Комментарий Вилкинса подчеркивает условность выделения радикала. Возможно, имеется в виду, что с точки зрения семантической структуры каждый член парадигмы в равной степени указывает на позицию в парадигме. В рамках концепции радикала (который тем и отличается от корня, что содержит-таки дополнительный семантический компонент, определяющий место в парадигме – наравне со всеми производными) обоснование его исходности на семантическом уровне и впрямь неправомерно. Во всяком случае, основная задача – установление парадигм, о которых речь пойдет ниже. Однако несмотря на разнообразие и разветвленность парадигм, к которым сводятся отношения внутри родственных понятий, количество радикалов во многих проектах остается достаточно большим. В словаре Вилкинса приведено несколько тысяч радикалов, что, безусловно, превышало представления о допустимом количестве простых символов. Поэтому анализ смысловой структуры рассматривался и на уровне радикалов. Таким образом, структура радикалов, представляющих исходные понятия, от которых образуются производные, в ряде проектов далеко не проста. Природа обозначаемой вещи согласно идеологии этих проектов должна была отражаться уже в самом радикале.

В проектах Далгарно и Вилкинса имеются списки семантических признаков, каждому из которых присвоены особые символы. Тем не менее эти признаки не претендуют на исчерпывающее представление структуры радикала. Это признаки крупных классов – артефактов, растений и т.п. – а не дифференциальные признаки, на основе которых можно различать понятия внутри класса. Соответственно конкретный смысл сопоставлен в этих проектах не более, чем двум символам из обозначения радикала. Например, в проекте Далгарно первая буква *F* означает принадлежность к артефактам. Внутри этого класса третья буква символизирует подкласс артефактов: *B* – музыкальные инструменты, *P* – оружие и т.п. Вторая же и четвертая буквы в обозначениях конкретных артефактов (например, разновидностей музыкальных инструментов или оружия) не связываются с определенными свойствами. Никакого значения, кроме того, что они просто различают слова внутри класса, этим буквам не придается. Тем более не выдвигается признаков, пригодных для дифференциации объектов внутри разных подклассов.

Хотя одни и те же "гласные" буквы (*a, i, e, o, u*) входят в состав радикалов любого класса, этим буквам не придается закрепленного смысла. Слова, принадлежащие к разным классам, не имеют общих свойств, даже если в их составе есть одинаковые буквы. Кроме выделенных признаков, общих для всех членов данного класса и подкласса, отмечаются неформулируемые индивидуальные отличия, не сводимые к общим признакам. Так же устроены обозначения, и так же можно понять комментарии к ним в проекте Вилкинса. Более разработанные признаковые классификации были применены Вилкинсом лишь для обозначений минералов, растений и животных. Эти классификации разрабатывались с помощью соответствующих специалистов. В проекте Ньютона нет указаний на разложение радикалов на более простые составляющие. В то же время вводится понятие *sorta*, и имена вещей "одного сорта" (на-

пример, инструментов, зверей) предлагается начинать с одной и той же буквы. Тем самым, сорт понимается как категория, подлежащая формальному выражению, а начальные буквы слова – как и в проектах Далгарно и Вилкинса – играют роль классификаторов. Возможно, под таким устройством обозначений не подразумевалось конкретных аналогий с языками, использующими классификаторы для классов людей, животных, вместилищ и т.п. Однако принцип проявления "классовой принадлежности" на формальном уровне – например, в английском языке с помощью употребления особых местоимений для одушевленного класса – всегда отмечался в грамматиках. Это могло способствовать представлению о существовании подобных классов для языка. Во всяком случае введение специальных классовых показателей соответствует распространенному в разных языках принципу маркирования класса. В целом же смысл радикала не складывается из суммы заданных признаков, и его семантическое разложение – как это принято и в естественных языках – не идет далее выделения принадлежности к классу. Главное же средство для выявления внутреннего сходства вещей видится в деривации, с помощью которой от имени вещи можно образовать производные имена родственных ей вещей. Два последующих раздела посвящены соответственно двум разновидностям применяющихся словообразовательных парадигм. В основу отражаемого в них сходства вещей положены две разные шкалы – градационная шкала по степени проявления признака и шкала ситуативных ролей.

ОТРАЖЕНИЕ ГРАДАЦИИ СВОЙСТВ

Словообразование на основе сопоставлений по степени проявления признака наиболее полно разработано в проекте Ньютона.

В качестве исходного понятия в этой деривационной системе (так называемом "спряжении" – *conjugation*)⁴ выбирается "имя вещи, с неопределенностью означающее, что она может быть наделена некоторой формой (атрибутом, свойством, акцидентом) в той или иной степени или экстремуме".

18 производных имен (образуемых присоединением префиксов к исходному имени) соответствуют различным степеням при последовательном изменении свойства вещи от экстремума к среднему значению, и от среднего значения к противоположному экстремуму. Значения степеней сформулированы в общем виде, так чтобы их можно было соотнести с различными градуируемыми свойствами, например, *чрезвычайно много, очень много (Exceeding much, very much)* и т.п. Таким образом формально отражаемая в слове Ньютона информация о степени градации гораздо более подробна по сравнению с естественными языками (ср. степени сравнения прилагательных).

В примере исходное имя *tor* означает вещь горячую, холодную или теплую "(*sarax caloris*)", а 18 производных от него имен означают различные степени изменения этой вещи по теплу.

Обобщенное задание области определения исходного имени выделяет особый тип понятий, связанных с изменением по свойству. Речь идет о признаках, или параметрах, значения которых могут проецироваться на единую шкалу.

Впоследствии развитие понятий, связанных с изменением свойства нашло отражение в ньютоновской доктрине существенных качеств (*essential qualities* [19]).

В отличие от "сортов", принадлежность к которым отмечается начальной буквой, класс градуируемых признаков, по-видимому, не связан единством внешнего обозначения. Общность признаковых имен отражается лишь в применимости к такому имени данного спряжения.

В примечаниях к таблице разъясняется, что ее использование достаточно гибко. Например, со шкалой степеней или, по крайней мере, с ее отдельными значениями

⁴ Этот термин применялся не только по отношению к изменению глагола по временам, наклонениям и лицам, но и по отношению к деривации. В грамматиках иврита как обозначали производные глаголы (породы – см. [9]). В риторике (куда скорее и входил анализ семантических связей) термин *conjugatio* понимался как "этимологическое родство, корневое единство".

можно связать (сведя к одному исходному имени некоторого признака) любые пары понятий, состоящие из двух экстремумов (типа *четного* и *нечетного*) или триады, включающие также среднее (типа *гор, впадин* и *равнин*).

В целом с помощью предлагаемого чисто языкового формализма можно выявить некоторую общую модель смыслового сходства, основанного на градациях. Анализ этих смысловых соотношений (восходящий к анализу сопоставления вещей у Аристотеля) был в то время очень популярен.

Аналогичным образом используется градация и в других проектах. За основу явно берутся степени сравнения прилагательных в естественных языках. Поскольку градация связана с понятиями средней нормы и экстремумов, она естественно расширяется на любые противопоставляемые понятия. Это дает возможность единообразно представить спектр семантически однородных противопоставлений, лишь частично отражаемых в естественных языках с помощью показателей отрицания (тип *счастье – несчастье*). В проекте Вилкинса экстремальные "различия вещей" типа *безопасность – опасность, легкость – трудность* производны по отношению к среднему значению. Большая часть представляемых разнородных оппозиций у Далгарно не сводится к противопоставлению антонимов (ср. *поднимать – класть, рука – нога*), однако с точки зрения возможных ассоциаций и противопоставленности в текстах сведение пар этого типа к градационной шкале не кажется странным.

Списки "оппозитов", встречающихся в терминологии разных областей знания, собранные Кирхером, дают представление о масштабах этого явления. Кирхер приводит 180 противопоставлений, включающих как пары, так и "тройки" терминов (экстремумы и среднее значение) из диалектики, риторики, этики, математики, астрономии, медицины, метафизики и теологии. В комментариях подчеркивается их противопоставленность при употреблении: ср. *оратор – слушатель, необходимость – случайность, обвинение – защита, утверждение – отрицание, истина – ложь, субъект – предикат, общее – частное, свет – тень*.

В проекте Далгарно отмечается еще градация шкал весовых и денежных единиц (ср. *пенни* и *шиллинг*) и градация вещи по ее размеру.

У Ньютона шкала степеней тоже используется для характеристики различных субстанций. Градация таких субстанций как артефакты (*things made by arte*) и естественные вещи (*natural things*) представлена следующим образом. Для определения на этих субстанциях выбирается один параметр совершенства, на котором и интерпретируются обобщенные значения степеней. В приложении к артефактам рассматривается совершенство их изготовления, а в приложении к естественным вещам – совершенство, присущее данному роду.

Способ обозначения аппарата градационных модификаций в сравнении со способом обозначения субстанций представляется у Ньютона относительно мотивированным. Степени шкалы (в отличие от субстанций) воплощаются в отдельных буквах, несущих непосредственную смысловую нагрузку: каждый префикс представляет собой ровно одну гласную либо дифтонг.

Способ обозначения, выявляющий противопоставление именных и модифицирующих значений, подчеркивается и характерным словоупотреблением при описании таблицы: термин "буквы" (или конкретнее – гласные, дифтонги) употребляется только по отношению к буквам аффикса. В данной таблице – это градационные буквы Gradual Letters.

ОТРАЖЕНИЕ РОЛЕВЫХ СООТНОШЕНИЙ

Второй тип понятийных сопоставлений (также восходящий к разновидностям сопоставления у Аристотеля) отражен в парадигме модификаций, наиболее полно представленных в естественных языках. Это парадигма членов ситуации, отражаемая у Ньютона в "спряжениях, затрагивающих действия, форму и отношение" (*Conjugations touching action forme & Relation*).

Исходным здесь представлен агенс (деятель), в приведенном примере это *tol* "художник". В качестве 10 производных (образуемых на этот раз присоединением суффиксов, представляющих собою согласные) фигурируют такие понятия как отдаленные причины и участники действия, инструмент, само действие, пациент (объект), фазы действия и результат.

Использование этого "спряжения" достаточно гибко. Исходным может быть не только агенс, но и член отношения, а также "конкретная вещь". Соответственно изменяется и интерпретация значений производных. Так, с помощью одного и того же суффикса *r* при разных значениях исходного имени задаются соответственно действие *tolr* "рисование" от *tol* "художник", отношение *bakr* "отцовство" от *bak* "отец" и абстракция, сущность данной конкретной вещи *benr* "мужественность" от *ben* "мужчина".

Отдельно указывается возможность отражения других смысловых соотношений: например, между вещью и издаваемым ею характерным звуком, или же ее характерным местопребыванием.

В других проектах на примерах из английского или латинского языков отмечаются различные члены ситуации, так что остается неясным, насколько универсальной считается конкретная парадигма, какова предполагаемая сфера ее применения. Неясно, например, насколько распространенной представлялась Лодвику роль "постоянного агенса", введение которой обязано противопоставлению *drunkard* "пьяница" и *drinking* "пьющий". Аналогичный вопрос возникает и в связи с тем, что в этой же схеме есть "объект" – *drink* "напиток, пить", но не находится места для роли "пациенса" (такое соотношение ролей характерно для представительного типа ситуаций).

Вилкинс подчеркивает намерение выявить все случаи, когда можно устранить языковые непоследовательности поверхностного уровня. Диагностируются такие случаи с помощью сравнения способов выражения одного и того же члена парадигмы (например, инструмента, принципиально имеющего место в рассматриваемых ситуациях): ср. *screwing* "завинчивание" – *screw* "винт" и *shaving* "бритье" – *razor* "лезвие". Такой разницей – т.е. нарушение единообразного выражения родственного понятия в результате использования неоднокоренных слов – в принципе устраняем; в проекте Вилкинса он устраняется.

Особый интерес представляют выделенные регулярные синтагматические отношения, обычно не отражаемые в естественных языках с помощью поверхностной деривации. На основании сравнения пар понятий, связанных однородными семантическими отношениями, Вилкинс формулирует целый набор производных отношений этого типа: "наиболее характерное место нахождения вещи" *металл* – *шахта*, "единичность" *бумага* – *лист*, "агрегат" *карты* – *колода*, "характерный издаваемый звук" *собака* – *лай*, "каузатив" *кровоточить* – *пустить кровь*.

В некоторых отмечаемых семантических связях различия между родственными понятиями не укладываются в формализованные схемы отношений. В проекте Вилкинса приводится большой словарь синонимических цепочек, которые, по видимому, предлагается сводить к одному понятию универсального языка без учета их семантических отличий. Так, к понятию *exemplar* "пример", вероятно, предполагается свести всю сопоставимую с ним цепочку: *example, instance*. В проекте Далгарно различия между членами близких к синонимичным цепочек понятий "дворец, хижина, храм, мастерская; башмак, сапог" предлагается отражать показателями, присоединяемыми к радикалу. При этом сами семантические модификации не формулируются.

Возможность композиции (сложения) радикалов предусмотрена в проекте Далгарно для отражения понятий, соответствующих сложным словам в обычном языке: *self-denial* "самоотречение", *fellow-feeling* "взаимопонимание".

Выбор отражаемых грамматических категорий обусловлен представлениями об их значимости. Ни один из проектов не предлагает категории грамматического рода, рассматриваемой как характерная алогичность естественных языков. И всюду сохраняются характеристики, меняющиеся в зависимости от описываемой ситуации, такие как наклонение или число. Категория залога отражена в производных словообразовательных отношениях противопоставлением активных и пассивных действий (action – passion), а также субстантивов, осуществляющих действие или претерпевающих воздействие (агенса – пациенса). По-видимому, как отдельная категория залог считается избыточным при регулярном отражении синтаксических позиций агенса и пациенса (см. ниже).

В проекте Далгарно вся глагольная система построена по латинской модели. Для отражения природных явлений, часто передающихся в латыни безличной конструкцией типа *coruscat* (*сверкает молния*), вводится значение безличности. Безличным конструкциям у Далгарно соответствуют словосочетания, состоящие из имени природного явления (*молния, огонь, дождь, ветер, снег*) и производного обозначения действия с показателем "безличности": *nan* (*молния*) *panesi* "сверкает". У Ньютона к отражаемым ситуативным характеристикам относятся числа (включающие также определенность и отсутствие), падежи, или состояния (в сущности – ситуативные роли), время (включающее, кроме локализации во времени, длительность и частоту, а также относительное время – отражающее несовпадение времени отдельных членов предложения с временем предиката), наклонение и "сложные наклонения речи" (показывающие роль предложения в контексте речи в целом). Интересно, что в проектах Вилкинса и Ньютона время сохранено, несмотря на устранение глагола. Для обозначения перечисленных характеристик у Ньютона в основном используются аффиксы, уже использованные при задании понятийной деривации. Изменена только их позиция в слове (ситуативные аффиксы расположены дальше от исходного имени).

Благодаря единству обозначений выделяется единство оснований, выбранных для описания как общей системы понятий, так и конкретной описываемой ситуации. Ситуативные характеристики – как и производные слова – можно подразделить на градационные и ролевые. Градационные характеристики – число и время – допускают оценку по шкале степеней, и для выражения их значений (типа *очень много* или *очень давно*) используются гласные и дифтонги – аффиксы параметрической шкалы. Роль слова в предложении фиксируется падежами. Первые 10 падежных значений просто совпадают с набором значений словообразовательного "спряжения, затрагивающего действие" (причины, инструмент, действие, пациенс: фазы и результат). Естественно, что и в качестве показателей этих значений используются одни и те же согласные. "Дополнительные" падежи – разновидности соучастников действия и обстоятельства времени и места – обозначены сочетаниями двух согласных. Непараллельными (по отношению к системным), чисто текстовыми оказываются определения (*epithites*) и наклонения (*moodes*), отражающие отношение говорящего. Для их отражения использованы согласные, не задействованные в спряжениях.

Роль определения особо выделена и у Далгарно. На основании сопоставления языковых конструкций в древнееврейском, латинском и английском языках Далгарно сводит к роли определения различные поверхностные средства выражения, включающие флексии, особые конструкции, переход с помощью словообразования к производному "адъективному" значению. Синонимии разных средств выражения в естественных языках Далгарно подтверждает примерами: *a mighty man – a man of might* "могущественный человек"; *lux diei – lux diurna* "дневной свет". Для части речи при глубинном анализе семантических соответствий не обнаруживается. Возможность передачи одних и тех же значений с помощью глагола и существительного отмечалась в то время и в философских сочинениях (см. [18, с. 75]). В проектах Вилкинса и Ньютона части речи полностью отсутствуют. Однако роль показателя части речи для

определения синтаксической функции слова не была проигнорирована. Она компенсируется последовательным указанием на синтаксическую функцию каждого члена предложения.

Для отражения роли членов предложения помимо аффиксов в разных проектах используются и другие средства естественных языков: изолированные от слова частицы (предлоги) Вилкинса, фиксированный порядок слов.

Таким образом, на всех уровнях можно отметить следование основным закономерностям известных проектировщикам языков. Слова обозначают те же разновидности понятий, что отражены и в обычных словах. Передается информация и о семантических модификациях исходного понятия, и о характеристиках описываемой ситуации. Основу словообразования образуют модели, характерные для естественных языков – связанные со степенями сравнения и с отношением к действию. Для отражения описываемой ситуации привлекаются традиционные грамматические категории (число, падеж, время и наклонение), но им придается более четкая семантическая интерпретация – частично их значения проецируются на шкалы, введенные при задании системы понятий. Не получили самостоятельного статуса в проекте часть речи, род и залог. Получается, что из всех языковых категорий они и были отнесены к чисто поверхностному уровню. Во многих деталях авторы исходят из представлений, навязанных естественным языком, обосновывают свои предложения фактами естественного языка и создают структуры по его законам. Предлагаемые формализмы не противопоставлены языку, но выявлены в нем. Похоже, что проектировщики – несмотря на декларируемый ими отказ от использования разных языков для выведения из них универсального языка – подвергли тщательной проверке весь наличный языковой инвентарь. Кажется, что оттуда было отобрано все, интерпретируемое в мире "вещей". Отобрано, упорядочено, дополнено и отражено в слове.

Таким образом, символический эпитет "естественный", или "природный" (natural), который создатели искусственных языков относили к своим проектам в силу задуманного соответствия природе вещей, оказался не таким уже парадоксальным. Искусственные языки XVII века – это описания глубинной семантики естественного языка, выполненные на выдающемся уровне.

Характерно, что достигнув высокой степени понимания собственной проблематики, изучение семантики отодвинулось в развитии языкознания на второй план. Новая лингвистика, ведущая отсчет от современной движению лингвоконструирования грамматики Пор-Рояля, предпочитала рассматривать семантику лишь по ходу описания поверхностных явлений. В рамках же лингвоконструирования отталкивание от сложностей естественного языка привело к подытоживанию различных семантических закономерностей. Проекты, нацеленные на практическое применение, оказались по сути работами теоретическими. Разработчики подошли к анализу языковых фактов, закономерно развив принципы конструктивного подхода, а автономное рассмотрение плана содержания привело к оригинальности анализа.

Возможно, нежизнеспособность проектов, предлагавшихся на базе выделенных формализованных семантических отношений, в какой-то степени способствовала падению престижа семантики на долгие годы. Достижения английских ученых повлияли лишь на развитие лексикографии и теории классификации, но не на ход теоретико-языковых исследований. Современные представления лингвистики универсалий, типологии, когнитивной лингвистики позволяют увидеть забытые семантические обоснования в новом свете и оценить их по достоинству.

Невнимание же к теоретическим достижениям рассмотренного направления со стороны их современников лишней раз свидетельствует о неадекватности оценки научного труда только с точки зрения той узкой утилитарной задачи, которая дала толчок к его рождению*.

* Статью к публикации подготовил В.Б. Борщев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Knowlson J.* Universal language schemes in England and France 1600–1800. Toronto, 1975.
2. *Elliott R.W.V.* Isaac Newton's "Of an Universall Language" // *Modern Language Review*, 1957. V. 52. № 1.
3. *Ньютон И.* Об универсальном языке. Перевод, послесловие и примечания Л.В. Кнориной // *Семиотика и информатика*. Вып. 28. 1986.
4. *Боровский Я.М.* Латинский язык как международный язык науки (к истории вопроса) // *Проблемы международного вспомогательного языка*. М., 1991.
5. *Wilkins J.* An essay towards a real character and a philosophical language. L., 1668.
6. *Dalgarno G.* Ars signorum, vulgo character universalis et lingua philosophica. L., 1661.
7. *Komensky J.* Panglottia. in: De rerum Humanarum emendatione. Pars V. Praga, 1666.
8. *Kircher A.* Ars magna sciendi in XII libros digesta. Amsterdam, 1669.
9. *Helvicus C.* Libri didactici Grammaticae Universalis Latina, Graecae, Hebraicae, Chaldaicae. Geissen, 1619.
10. *Webster Ch.* From Paracelsus to Newton: Magic and Making of Modern Science. Cambridge, 1982.
11. *Раткау А.* Вопрос о всеобщем языке в утопических и ранних социалистических теориях // *Проблемы международного вспомогательного языка*. М., 1991.
12. *Yates F.A.* The occult philosophy in the Elizabethan age. L., 1980.
13. *Kukenheim L.* Contributions à l'histoire de la grammaire Grècque, Latine et Hébraïque a l'époque de la Renaissance. Leiden, 1951.
14. *Cohen J.* On the project of a universal character // *Mind*. 1954. V. 63. № 249.
15. *Elliott R.W.V.* Isaac Newton as phonetician // *Modern language review*. 1954. V. 49. № 1.
16. *Benveniste E.* Catégories de pensée et catégories de langue // *Problèmes de linguistique générale*. P., 1966.
17. *Ian M.* English grammatical categories and the tradition to 1800. Cambridge, 1970.
18. *Гоббс Т.* Основы философии. Часть первая. О теле // *Гоббс Т. Избранные произведения в двух томах*. М., 1964. Т. I.
19. *McGuire J.E.* The origin of Newton's doctrine of essential qualities // *Centaurus*. 1968. V. 12. № 4.
20. *Арно А., Лансло К.* Грамматика общая и рациональная. М., 1990.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 1995 г. А.Д. ДУЛИЧЕНКО

РЕЗЬЯНОЛОГИЯ КАК РАЗДЕЛ СЛОВЕНИСТИКИ

(в связи с выходом монографии Х. Стэнвейка "Словенский диалект Резьи Сан Джорджио" и сборника "Основы практической резьянской грамматики")

В Северной Италии, в области Фриули-Венеция-Джулия, в долине Резья, в окружении итальянского и фриульского населения, многие века существует словенский островок. По месту проживания местные словенцы называют себя резьянами. В настоящее время численность их определяется примерно в 1400 человек и занимают они несколько селений: Била (San Giorgio), Раванца (Prato di Resia), Нива (Gniva), Солбица (Stolvizza), Осояны (Oseacco), а также Липовац (Lipovaz), Крижан (Crisarte), Гозд (Gost), Лисенек (Lischiazze) и Учья (Ucsea). Резьянский является весьма специфическим словенским диалектом, с одной стороны, сохраняющим в себе много архаичного, с другой – подверженным сильному итальянско-фриульскому воздействию. В соответствии с авторитетной классификацией Ф. Рамовша, он входит в приморскую диалектную зону наряду с присочским, терским, надижским и некоторыми другими словенскими диалектами ([1]; см. также: [2]).

Резьян-словенцев открыл для науки граф Ян Потоцкий в 90-е гг. XVIII в. (возможно, в начале XIX в.), возвращаясь из своего очередного путешествия и записав в Резье небольшие образцы речи. Некоторые сведения о них появились в начале XIX в. в "Слованке" (1808) И. Добровского, а позднее, в 1816 г., Б. Копитар обнародовал записи Я. Потоцкого. С научной целью первым Резьянскую долину посетил в 1841 г. И.И. Срезневский и в этом же году – Ст. Враз. И.И. Срезневский дал и первую классификацию словенских диалектов, указав на специфическое место в ней резьянского [3]. Однако истинное "раскрытие" для словенистики и славистики вообще резьян и их языка сделал в 70-90-е годы XIX в. И.А. Бодуэн де Куртенэ, начавший их изучение по инициативе И.И. Срезневского, неоднократно посещая Резью с диалектологическими и этнографическими целями. Докторской диссертацией "Опыт фонетики резьянских говоров", вышедшей отдельной книгой [4] и рядом других публикаций, в том числе памятников резьянской письменности и диалектных текстов, переданных тончайшей транскрипцией [5–7]. Бодуэн заложил основы словенистической дисциплины, называемой нами резьянологией (смотри, например: [8]). В 1966 г. Н.И. Толстой опубликовал часть оставшегося в рукописи бодуэновского "Резьянского словаря" [9, с. 183–226], который ныне подготовлен к печати и планируется к изданию Словенской Академией наук и искусств в Любляне. После Бодуэна интерес в науке о резьянском островке несколько упал, оживившись лишь в 20-30-е годы благодаря прежде всего стараниям словенского диалектолога Ф. Рамовша; в 50-70-е гг. резьянами плодотворно занимаются словенцы М. Матичетов и Т. Логар (библиография резьянологических работ за 1927–1979 гг. дана в книге М. Матичетова [10], а в 80-е гг. также слависты других стран (работы американцев Э.П. Хэмп и Э. Станкевича, голландцев Б.М. Груна, В.Р. Фермэра, Х. Стэнвейка, канадца Т.М.С. Пристли, самих резьян Дж.М. Ротга, А. Мадотто и некоторых других).

Резьяне, несмотря на свою малочисленность, еще в XVIII в. предпринимали попытки писать на родном диалекте. В частности, на него были переведены с итальянского некоторые религиозные тексты. Самые крупные памятники подобного рода – обнаруженные И.А. Бодуэном де Куртенэ в 1875 г. в оригинальном исполнении, а в 1894 г. в фонетической транскрипции изданный "Резьянский катехизис", а позднее и "Христианское учение" (опубликован в 1913 г.). Первая печатная резьянская книга появляется лишь в 1927 г. Это было составленное Дж. Крамаро "Христианское учение" [11]. С этого времени зарождается у резьян литературно-художественный процесс (поэзия Шемуна Билака, Марики Кундины). После второй мировой войны появились поэтические произведения Паски Дулицы, Тыны Вайтавой, Минки Санticheвой, Джильберто Барбарино, Сильваны Палетти, Рино Кинезе, Дорины ди Ленардо и Ренато Квалья. Двое последних являются авторами отдельно изданных поэтических сборников (вышедших соответственно в 1974 и 1985 гг.). Для укрепления этнического самосознания резьян значение имели изданные известным словенским фольклористом, крупнейшим знатоком резьянской культуры и этнографии М. Матичетовым произведения устного народного творчества [12; 13]. В настоящее время в Резье для поддержания резьянско-словенской речи и этнического самосознания резьян определенную роль играют культурные общества "Rosajanska Dolina" и "Rozajanski Dum". Тексты по-резьянски появляются в приходском (парохиальном) бюллетене "All'Ombra del Canin", выходящем в Удине, и в еженедельнике "Novi Matajur" (издается в Чивидале). Резьянские тексты публикуются также в изданиях Словении.

В начале 90-х гг. исключительно важное значение для резьянологии имели два крупных события – международная научная конференция 1991 г. в Резье "Основы практической резьянской грамматики" [14], материалы которой составили вышедший в 1993 г. отдельный том, и выход годом ранее монографии голландского слависта Хана Стэнвейка "Словенский диалект Резьи Сан Джорджио" [15].

Первые публикации Х. Стэнвейка по резьянской фонетике (в основном по вокализму) стали появляться в виде статей во второй половине 80-х гг. и были связаны с записями резьянской речи, сделанными сто и более лет тому назад И.А. Бодуэном де Куртенэ [16; 17]. В 1988 г. появляется его анализ системы ударных гласных бильского (бельского) говора [18], а в 1990 г. – статья об именном склонении фриулизов в резьянском [19]. И вот, наконец, монография, в которой впервые представлено полное описание говора одной из деревень Резьи – Билой (по-итальянски – Сан-Джорджио). Бодуэн в своем "Опыте" дал общерезьянское описание фонетики. Х. Стэнвейк, спустя более ста лет, сосредоточил внимание полностью лишь на одном резьянском говоре, одном из четырех.

Во введении к монографии (с. 1–17) автор дает краткую характеристику того, что было сделано в изучении резьянского диалекта до Бодуэна ("Pre-Baudouin"), затем говорит о заслугах Бодуэна и оставшихся после него неразрешенных вопросах, и, наконец, о работах, появившихся после Бодуэна ("Post-Boudouin"). Здесь же он рассматривает сложные вопросы резьянской фонетики и фонологии, обращая, в частности, внимание на проблему так называемых "темных" (по Бодуэну) гласных и ее интерпретации различными исследователями; далее, отмечаются особенности рефлексов ударных и безударных гласных, а также некоторых консонантных фонем (проблема фрикатизации [g] и др.).

Фонологическое описание бильского говора представлено сжато, но достаточно полно (вторая глава, с. 19–48). В ударной позиции выделяются гласные: *i, u, i̇, u̇* (высокие); средние, выступающие в высоком и низком вариантах, *e-ε, o-ɔ, ə-e, o;* наконец, низкие *a, v*. Неударная вокалическая система проще – высокие *i, u*, средние *e-ε, o-ɔ* и низкий *a*. Затем особо рассматриваются все эти гласные со специальным вниманием к установлению позиции их нейтрализации, а также дистрибуции. Консонантная система устанавливается в виде оппозиций *p-b, t-d, ć-đ, k-g, f-v, s-z, š-ž*, а также не имеющие соотносительных компонентов *h, m, n, l, r, w* и *j*. Звонкие под-

вергаются активной нейтрализации в позиции конца слова и перед глухими, ср.: *rúk* "рог", но *róga* (род. пад.), *wóška* "узкая", но *wózak* "узкий" и под. Что касается дистрибуции согласных, то рассматриваются преимущественно их сочетания типа *dl* (при *krádal* "крал" – *krádlá* "крала"), *sl* (при *něsal* "нес" – *naslá* "несла") и др., т.е. возникающих при беглости гласных. Особый параграф посвящен сандхи, имеющему в резьянском достаточно пестрые проявления (*dwánijst dnúw* "двенадцать дней" – как *dujaniz'dnuu*, *an bíl* – как *am'bil* и под.).

Морфонологическая часть, занимающая третью главу (с. 49–79), включает детальное описание регрессивной ассимиляции гласных типа *wotrók*, но *utrúkú* (дат. ед.), вставных вокалических элементов (*jajcé*, но им. мн. *jájice* и под.), расширений типа *čít* "слышать", но 1 л. ед. ч. наст. времени *čújen*, т.е. # – j, усечений типа род. ед. *krúwa*, но им. и вин. ед. *krú* и др. Специально анализируются чередования гласных и согласных (*krěj* "край, район", но род. ед. *krája*, *kráwa*, но род. ед. *kráve* и т.д.). В связи с согласными выявлены возможные случаи палатализации, особенно характерной для заднеязычных (род. ед. *patóka* "потока, ручья", но местн. ед. *patóce*, им./вин./ местн. ед. *wóku*, но им./вин. мн. *wóci*, т.е. *k ~ c*, *k ~ č*). Весьма ценным здесь является то, что все отмеченные морфонологические процессы рассматриваются внутри частей речи (обычно это существительные, прилагательные и глаголы). Кое-где обнаруживаются интерпретации, которые вызывают сомнения. Так, характеризуя систему палатализации согласных, автор несколько упрощает существо дела: в форме *jískala ~ jíšce*, т.е. "искала" – "ищет" речь должна идти не о смягчении *k*, а сочетания *sk ~ šc*, так же и в случае с *zvřzgal ~ zvřžden* – не *g ~ đ*, но *zg ~ žđ* (с. 68). Что касается типа *kljcali ~ kljčen*, т.е. "звали" – "зову" (пример почему-то отражает, по автору, палатализацию *s ~ š*, с. 69), то здесь ход палатализации был, видимо, иным: гипотетическое *[kljkat] ~ kljcali*, т.е. *k ~ c* и *[kljkiq] ~ kljčen*, т.е. *kj ~ č*.

Большая часть монографии посвящена морфологии (с. 81–158) и, в частности, характеристике словоизменительных качеств существительных, прилагательных, глаголов и рассмотренных в одном разделе местоимений, числительных и артиклей. Если говорить о склонении существительных, то следует прежде всего указать на унификацию его по родам и в то же время на сохранение такой архаики, как двойственное число. Правда, парадигма двойственного числа в резьянском практически отсутствует, есть лишь ее реликты – выразительные в дат. пад. (*-ama*, *-áma*) и менее выразительные – в им./вин. пад. у существительных муж. и ср., а также жен. родов на *-a*, в то время как у существительных жен. рода на мягкую основу никаких показателей этого числа практически не осталось. Двойственное число в бильском говоре удерживают также личные местоимения (им. муж. *mídwa*, им. жен. *midví* и дат. *náma*) и глагол (в настоящем времени лишь 1 л. – *-wa* и 3 л. – *-ta*, в имперфекте 1 л. *-wa*, в будущем 1 л. *bówa*, т.е. так же неполная парадигма). Архаикой в сфере прилагательного является сохранение именных форм, правда, уже не образующих полной парадигмы (различаются лишь им. и вин. ед. и мн. ч.). Помимо общесловенского и общеславянского вида суффиксальных форм сравнительной степени, употребляются также наряду с формами типа *bó/bojé dóbar* "более добрый, добрее" также редупликации типа *stári stári múžji* "старейшие/самые старые мужчины". Большинство заимствованных из итальянско-фриульского источника прилагательных не склоняются. Для системы местоимений особую черту составляют энклитики – преимущественно у личных, но встречаются также у притяжательных, вопросительных и других местоимений. Как в общесловенском, относительное местоимение *ki* "который, какой..." не склоняется. Не изменяются по падежам и количественные числительные от пяти и выше, а парадигма порядковых числительных оформилась суффиксом *-nj*: *trétnji* "третий",

děsadjil/děsanji "десятый" (за исключением супплетивного "первый" – *párvī* и заимствованного из романского *sagónt* "второй"). Что касается артикля, то он происходит от указательного местоимения *te* "тот", "этот" (определенный артикль) и от числительного "один" – *din* (неопределенный артикль), при этом оба артикля обладают полной словоизменительной парадигмой ед. и мн. чисел (двойственного числа нет). В области глагола, кроме отмеченной ранее особенности – двойственного числа, показательным является наличие имперфекта, аорист уже не фиксируется, а будущее время образуется от глагола *bát* "быть" (*bón, bóš, bóľho* и т.д.), в то время как более обычным является употребление для этой цели настоящего совершенного. Инфинитив и архаичный супин имеют одинаковый показатель – *-t*, однако между ними может быть проведено различие с помощью внутрикорневой вокалической альтернации типа инфинитива *jést*, но супин *jíst* "есть". В связи с описанием глагольной системы странным нам представляется то, что причастие на *-l* представлено изолированно от форм, с которыми оно связано грамматически (с. 139–141). В этой связи не совсем ясно, почему автор монографии не видит наличия в бильском говоре четко выраженного перфекта (*so bili* "были", *je právila* "она рассказывала" и под.), как, впрочем, и плюсквамперфекта типа *ni so bili mi zdělali naridát*. (Правда, об этом сказано, однако, недостаточно в связи с синтаксисом на с. 182). В целом же морфологическая система описана последовательно, и, что очень важно, Х. Стэнвейк пытается представить исчерпывающие списки собранных им слов, классифицируя их по различным основаниям (например, одно-, дву- и трехслоговые и под.).

Что же касается служебных частей речи, то они рассмотрены в небольшом разделе, названном "Замечания по синтаксису" (с. 159–187). Собственно, весь синтаксис сведен автором к анализу употребления предлогов и союзов; последние связываются с теми или иными видами сочинительных или придаточных предложений. Примечательным здесь является наличие утвердившихся в резьянском служебных слов романского происхождения, сравни предлоги *čěnce* "без", *kúntra* "против", союзы *ta* "но", *perké* "потому что, так как" и некоторые др. Отсутствуют сведения о частицах и междометиях, как, впрочем, и о наречиях (т.е. специально не выделены).

Очень ценным представляется нам глава с диалектными текстами, записанными самим автором. Таких текстов 20 (с. 189–224), они старательно транскрибированы и хорошо акцентированы, при этом италофриулизмы в виде отдельных слов, словосочетаний и предложений, вклинивающиеся в речь информантов, подчеркнуты. Поэтических текстов два – так называемый "Резьянский гимн" (текст № 21, с. 224) и достаточно объемное фольклорное произведение на с. 227–229. Чтобы увидеть общерезьянскую перспективу, автор делает полезное сравнение вокалических систем всех четырех резьянских говоров – Билой, Нивы, Осоян и Солбицы (с. 231–235). К книге приложен словарь (с. 237–338) с переводом слов на английский язык. Однако особенность словаря заключается не в этом, а в том, что он представляет собою по существу лексический инвентарь для грамматических целей – такой, каким его делал в "Резьянском словаре" И.А. Бодуэн де Куртенэ (на это обратил в свое время внимание Н.И. Толстой [9, с. 185–186]). Х. Стэнвейк в качестве реестровых слов дает, например, причастные формы типа *bŭkala* "мычала", формы настоящего времени *bliščŭ* "блестит" (3 л. ед. ч.) и под. При реестровых словах, поданных в "начальных формах", исчисляются склоняемые и спрягаемые формы и т.д. К книге приложено резюме на итальянском языке (с. 345–352).

После классических работ И.А. Бодуэна де Куртенэ труд Хана Стэнвейна, без сомнения, является самым значительным достижением современной резьянологии. Для появления такого труда понадобилось более ста лет. Весьма ценным является то, что голландский славист досконально описал один из основных говоров Резьи, т.е. представил нам его практически во всей полноте. В отличие от Бодуэна, он пользовался, естественно, самыми современными техническими средствами записи и анализа живой

речи. Однако и это не помогло бы так блестяще выполнить поставленную задачу, если бы исследователь не обладал тонким языковым слухом и чутьем. Нет сомнения в том, что для молодого резьянолога, каковым является Х. Стэйнвейк, настоящий труд – это не завершение и не окончательный итог его научных занятий в области языка северо-итальянских славян, напротив, это тот фундамент, на котором он создаст в недалеком будущем новые работы. Показательно, что монография Х. Стэйнвейка вызвала широкий резонанс в самой Резье, среди носителей диалекта, к которому он обратил свои научные интересы (см., например, [20]).

*

Мы уже упомянули, что резьяне начиная с XVIII в. пытаются применить свой родной диалект в письменности. Литературно-языковой процесс у них развивается уже на протяжении двух веков, то оживляясь, то затухая на некоторое время. С 80-х гг. XX в. можно говорить о весьма действенных усилиях носителей этого диалекта в сотрудничестве со славистами различных стран по выработке единого резьянского литературного языка. Так, в 1980 г. в с. Раванце прошла международная научная конференция, посвященная вопросам выработки резьянской графики и орфографии. Предлагались два типа графики – словенская и итальянская латиницы. До сих пор этот вопрос, однако, окончательно не решен (см., например, [21]). В 1991 г. состоялась вторая научная конференция, на этот раз – по вопросу создания основ нормативной (или практической) грамматики. Рассматриваемый нами сборник как раз и составляют материалы этой конференции. В книге представлены статьи резьянских авторов, а также славистов Словении, Италии, Голландии, США, Германии и Эстонии, занимающихся резьянологией.

Резьянские авторы пишут о необходимости охранительных мер в отношении резьянщины, видя их, в частности, в окончательном решении вопроса о создании основ графики и орфографии и, понятно, нормативной грамматики (об этом пишет Луиджи Палетти), в активном использовании и преподавании родного диалекта в школе (Дорина ди Ленардо), в культивировании его в церкви. В частности, в статье "Употребление резьянщины в литургии" (с. 9–15) Маурицио Ридольфи сообщает о новых опытах перевода для верующих на резьянский отрывков из Библии, с составленными по-резьянски молитвенниками и песенниками, а также с официальным порядком введения Закона Божия на родном языке в школе. Джованни Ротта, известный своими работами в области демографии, рассматривает вопрос о современном демографическом состоянии Резьи и прежде всего ее славянского населения, делая упор на популяции молодежи школьного возраста. Автор, например, видит некоторые стабилизирующие моменты, касающиеся числа учащихся.

Несколько материалов посвящено вопросам графики и орфографии литературной резьянщины. Американский славист Эрик П. Хэмп (Чикаго) в статье "К практическому резьянскому алфавиту (с примерами из именного склонения)" (с. 55–66) предлагает проект нового резьянского алфавита, по существу являющийся дальнейшей разработкой предложенного им же на первой научной конференции в Раванце в 1980 г. Основная задача автора – максимально приблизить его к итальянскому. Вот его состав: *a, ä, b, d, d'* (соответствует принятым в научной транскрипции *ǰ* или *ǰ̇*: *ǰo* "да"), *dz, dź* (для *ǰ*), *e, ę* (*e* ~ *æ*: *od ne scęnę* "от одной женщины"), *ę* (для снятия варьирования типа *snihh ~ snhę ~ sněhä* "снег", т.е. *sneh*), *ë* (*no vĕ* "лист"), *f, (g)* (фрикативное), *gn*, т.е. *ń* или *nj*, *h, hh* (= *x*: *hhlòdije* "травы"), *i, ĭ, ĭ* (для снятия чередования *e ~ i*), *j* – в случаях, когда *j* чередуется с нулем, *ĵ* – в остальных (*ĵ üde* "люди"), *k, l* – при чередовании с *w* (*bil ~ biw* "был"), *ll* – во всех остальных случаях, *m, ñ, o, ɔ* (для снятия чередования *u ~ o ~ ö*: *ruhh ~ rohòw ~ röhä* "рог"), *ö* (*öbläk* "облако"), *p, r, s, ɟ* для *z* [*ǰ*] (*sob* "зуб"), *sc* для *š*, *sc* для *ž* (*scĭw* "живой"), *t, t'* (близкий к

k': ètĕ "хотите"), *u, ü, v, w* и *w'* (твердый и мягкий губно-губные), *z* для *c* [ц], *ž* для *č* (*žlowĕk* "человек"). Здесь очевидно, с одной стороны, стремление отразить звуковое многообразие резьянщины, сравни, например, вокалические ряды *a-ä, e-ę ~ e-ĕ, i-ĩ-i, o-ǫ-ö, u-ü* (14 гласных из общего вокалического инвентаря в 17 единиц), с другой, как можно более "итальянизироваться", сравни: *gn, sc, z* и др. Первое не намного отдаляет предложенный алфавит от научной транскрипции (в целом в проекте 44 знака), а второе "одевает" славянское слово в такой "чужеземный" наряд, что впору смотреть на него именно как на итальянский. Разве можно распознать нечто славянское в предлагаемых написаниях типа *ſ žricgn* или *scęnă*? Оказывается, что первое "означает" *ſ črišnj* "ſ черешен", а второе – *ženă*, т.е. "жена, женщина"!.. Уходя от общепринятой славянской латиницы автор впадает в другую крайность, вводя совершенно не практикуемые в алфавитах по крайней мере европейских языков диакритические знаки типа *ę, ĩ, ǫ, ſ, sc, z*, а также *j* (последний на письме просто невозможно будет отличить от обычного *j*). Чтобы пользоваться таким алфавитом практически, нужно быть языковедом да еще и с хорошими знаниями фонетики, в том числе и исторической...

В конструировании графической системы, как, впрочем, и нормативной грамматики, важна, как нам кажется, не только абстрактная логика, но и тот реальный практический опыт, который складывался веками. Павел Мерку (Триест), известный собиратель и издатель фольклора итальянских славян, этнограф, историк и культуролог, предлагает при создании графики опираться на словенскую латиническую традицию, дополнив ее специфическими для резьянщины *dz, ĝ, č, ğ* и некоторыми другими знаками (с. 85–94). Он приходит к такому выводу, исследовав графическую и орфографическую практику трех современных резьянских поэтов – Рино Кинезе, Сильваны Палетти и Ренато Квалья. В статье "Происхождение местных различий в вокалических системах резьянщины" (с. 119–148) Виллема Фермэра (Лейден) выявлены исторические корни формирования четырех говорных различий в области гласных – в Билой, Ниве, Осоянах и Солбице (см. также его раннюю работу: [22]) и установлено, что из 17 гласных 12 имеют одинаковые рефлексy во всей Резье. Автор предлагает нивский говор взять за исходный при нормализации графики и орфографии (с. 144).

Несколько исследований посвящено вопросам создания резьянской нормативной грамматики. Б.М. Грун (Лейден), исходя из того, что любой этнический литературный язык покрывает достаточно пестрое диалектно-говорное пространство, полагает, что такую же задачу должен решить и резьянский литературный язык, при этом он выдвигает несолько общих требований к построению нормативной грамматики: необходимо учитывать состояние языковой системы на всех уровнях, дистрибуцию различий по всем основным говорам, добиваться унификации правописания и гибкости предлагаемых норм (с. 47–54). Милко Матичетов (Любляна) обращает внимание в своей статье "За грамматически бесспорную (непротиворечивую) резьянщину" (с. 67–84) на уникальные особенности диалекта (в частности, в области склонения существительных, в местоимениях и числительных, в глаголе), которые не следует игнорировать при составлении нормативной грамматики. Так, автор полагает, что отражение в ней должны найти, например, все возможности выражения будущего времени в резьянском, как то: 1) *čon* "хочу" + инфинитив (*čon pryt* "приду"), 2) *bon* "буду" + причастие на *-l* (*bon videl* "увиджу". т.е. будущее неопределенное), 3) *man* "имею" + инфинитив (*ma pryt* "придет") 4) настоящее совершенное типа *pòjdeš* "пойдешь". Ведь нередко ряд таких форм уживаются в одном предложении, сравни: *Vi b o t a m e l e mi skuzèt, – nu koj ta iše d o j d a t a, – č e t a m e t sparjen pa lonèc* "Вы (двое) извините (в будущем) меня, когда придете домой, – найдете также обожженный (обгоревший) горшок" (с. 79). В синтаксисе резьянщины сильно влияние итальянского и фриульского языков, проявляющееся напр., в "потере" одного из отрицаний: *Skorèn i š č í [ni] hodew delat*

niv Laške "Никто не ходил работать во Фриули (или в Италию)", ср. итал. *Quasi nessuno andava a lavorare in Friuli*.

При составлении нормативной грамматики М. Матичетов призывает обращаться к новейшим образцам резьянской литературы, а также к традиции устной народной литературы.

Х. Стэнвейк (Амстердам) в работе "Диалектная база для резьянского литературного языка" (с. 103–118) показывает специфику фонетического и морфологического варьирования в четырех основных говорах Резьи типа *jǐšuv* (Била) ~ *hǐš* (Нива) ~ *hǐš* (Осояны) ~ *ǐš* (Солбица) "домов", т.е. здесь видно реальное фонетическое и морфологическое (в род. мн.) варьирование. Автор предлагает в качестве основы литературной нормы взять все четыре говора, при этом если между выделяемыми четырьмя формами наблюдаются различия, то прежде всего исключаются изолированные (т.е. единичные, неповторяющиеся); в случае если все четыре формы отличаются друг от друга, то тогда следует обратиться к говору Липовца, поскольку в нем мало изолированных фонологических особенностей, а в административном (и религиозном) плане он располагается в центре Резьи. Пишущий эти строки в статье "Резьянщина: на путях к литературному языку" (с. 29–46), сделав краткий экскурс в историю попыток создания резьянского литературного языка, на материале, взятом им из еще неопубликованного "Резьянского словаря" И.А. Бодуэна де Куртенэ, предложил принцип апостериоризации языкового материала, т.е. сведение многовариантности к более или менее единым нормам, опираясь при этом на определенный говор-основу, учитывая предшествующую литературно-письменную традицию и "оглядываясь" на внешний эталон – на ситуацию в словенском, а также итальянском литературном языках. В качестве основы он предложил бильский говор в сочетании с нивским (ядро нормируемого материала), в то время как остальные говоры (периферия нормируемого материала) использовались бы в случае необходимости. Этот же автор выдвинул идею издания Матицы Резьянской (или Резьянско-Словенской), которая объединила бы культурные силы Резьи и заботилась бы о нормах и функциональном статусе молодого литературного языка. Гюнтер Шписс (Коттбус) попытался привлечь в качестве образца для построения норм резьянской грамматики опыт ретороманского литературного варианта, называемого "руманч гришун" (*Rumantsch Grischun*), который основан на трех (из пяти) существующих литературных вариантах – верхнесильванском, сурмейранском и нижнеэнгадинском. Этот опыт, несомненно, может оказаться весьма полезным при решении ряда важных вопросов нормализации литературной резьянщины.

К сборнику приложены "Резьянские тексты" (с. 153–171), в частности, поэзия Италико Бриды Ковач (*Italicò Brida Kowáč*), проза Дорины ди Ленардо Чункиной (*Dorina di Lenardo Cúnkina*) и переводы религиозных текстов Сильваны Палетти Бертулавой (*Silvana Paletti Bértulawa*). Тексты не транскрибированы и не акцентированы, написаны графикой и орфографией, особой для каждого автора: первые два опираются на итальянскую, а последняя – на словенскую латиницу.

Материалы, представленные в сборнике "Основы практической резьянской грамматики", выявляют весь тот спектр проблем, которые стоят на пути движения резьянщины к литературному языку. Существенно, что в разрешении этих проблем участвуют не только сами носители резьянского диалекта, но и слависты различных стран, так или иначе занимающиеся или же проявляющие интерес к резьянской диалектологии. Издание сборника, осуществленное Х. Стэнвейком, всячески следует приветствовать. Несомненно, что с появлением двух изданий, о которых здесь шла речь, Итальянская Славия станет для славистики еще более привлекательной. Хотелось бы также выразить надежду на то, что современная русская словенистика и славистика в целом проявят более активный интерес к Резье, приоритет в изучении которой на протяжении всего XIX в. всецело, можно сказать, принадлежал отечественной науке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Romavš F. Dilak dialektološka karta slovenskega jezika. Ljubljana, 1931.
2. Logar T., Rigler J. Karta slovenskih narečij. Ljubljana, 1983.
3. Срезневский И.И. О наречиях славянских // ЖМНП. 1841. Ч. XXXI (август). Отд. II.
4. Бодуэн де Куртене И.А. Опыт фонетики резьянских говоров. Варшава – Петербург, 1875.
5. Boudouin de Courtenay J. Il catechismo resiano. Udine, 1894.
6. Бодуэн де Куртене И.А. Материалы для южнославянской диалектологии и этнографии. III. Резьянский памятник "Christjanske uzhilo" // Зап. ист.-филол. ф-та Имп. ун-та. Ч. CXIV. СПб., 1913.
7. Boudouin de Courtenay J. Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie. I. Resianische Texte... St.-Petersburg, 1895.
8. Duličenko A.D. O rezijanoloških obravnavah J. Boudouina de Courtenayja v derptskem obdobju 1883–1893 // Slavistična revija. 1993. Št. 3.
9. Толстой Н.И. И.А. Бодуэн де Куртене. Резьянский словарь // Славянская лексикография и лексикология. М., 1966.
10. Matičevič M. Resia. Bibliografia ragionata (1927–1979) // Udine, 1981.
11. Sratar G. To kristjanske učilo po rozoanskeh... Goriza, 1927.
12. Matičevič M. Rožice iz Rezije. Koper-Trst-Ljubljana, 1972.
13. Matičevič M. Zverinice iz Rezije. Ljubljana-Trst, 1973.
14. Fondamenti per una grammatica pratica resiana. Atti della conferenza internazionale tenutasi a Prato di Resia (UD) 11–12–13 dicembre 1991 / A cura di H. Steenwijk. Padova, 1993.
15. Steenwijk H. The Slovene dialect of Resia San Giorgio. Amsterdam – Atlanta, 1992.
16. Steenwijk H. Puzzling evidence: An accented vowel system based on Boudouin de Courtenay's Resian texts // Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics. Amsterdam, 1987.
17. Steenwijk H. The fate of the circumflex sign in Boudouin de Courtenay's Resian notes // Dutch contribution to the Tenth international congress of slavists, Sofia, 1988. Amsterdam, 1988.
18. Steenwijk H. Sestav naglašanih samoglasnikov v belskem govoru // Slavistična revija. 1988. Let. 36. Št. 4.
19. Steenwijk H. The nominal declension of Friulian loans in the Slovene dialect of Val Resia // Slovene studies. 1990. V. 12/1.
20. Rotta G. Sulla parlata di San Giorgio dopo Boudouin de Courtenay // All'Ombra del Canin – Ta pod Čanynowo sinco. Anno 66. Udine, 1993. № 2. P. 9.
21. Дуличенко А.Д. Одна из последних попыток создания нового славянского литературного языка: резьянский в Италии // Уч. зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 579. 1981.
22. Vermeer W.R. Rekonstruiranje razvoja samoglasniških sestavov v rezijanskih govorih // Slavistična revija. 1987. Let. 35. Št. 3.

РЕЦЕНЗИИ

Heads in grammatical theory/ Ed. by Corbett G.G., Fraser N.M., Mc Glashan S. Cambridge. Cambridge University Press, 1993, 340 p.

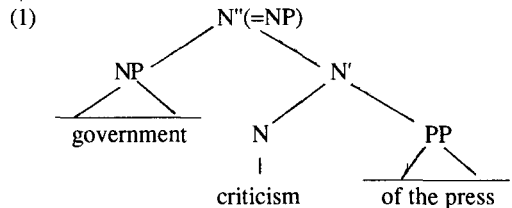
Рецензируемый сборник, подготовленный к печати английскими лингвистами Г. Корбеттом, Н. Фрэзером и С. Макглэшеном, посвящен понятию, которое появилось в синтаксисе очень давно, но с которым до сего дня связано много проблем.

Действительно, с давних пор у языковедов было интуитивное представление о том, что одни элементы предложения или словосочетания могут в некотором смысле доминировать над другими. Однако точное определение понятия доминации и, следовательно, вершины в большинстве традиционных синтаксических описаний грешило односторонностью (а именно, почти исключительно вниманием к морфологическим свойствам вершин как контролеров согласования).

Достаточно сложной была судьба понятия "вершина" и в последние десятилетия. На фоне общей тенденции к строгим определениям и формализации лингвистических понятий этому понятию "повезло" значительно меньше, чем, например, понятиям составляющей, синтаксической категории, управления и др., которые были детально изучены и достаточно строго определены в современных синтаксических теориях. Во многих лингвистических моделях последних десятилетий, прежде всего – в различных версиях грамматики зависимостей (реляционная грамматика, модель "Смысл – Текст" и др.) понятие вершины активно использовалось, но при этом либо оставалось без какого-либо эксплицитного определения, либо определялось в сугубо "внутритеоретических" терминах.

Еще более противоречивой была судьба этого понятия в грамматиках, основывающихся на синтаксисе составляющих, а не на синтаксисе зависимостей, прежде всего в порождающей грамматике Хомского. Первоначально понятие вершины не имело в ней самостоятельного значения, однако по мере развития генеративизма оно посте-

пенно вышло на первый план. Это видно даже при самом беглом знакомстве с X'-теорией, впервые сформулированной в [1]. X'-теория различает в каждой составляющей (phrase) вершину (head) и ее зависимые (dependents), распределенные по двум уровням (bar-levels). Зависимые первого уровня (аргументы вершины) называются дополнениями (complement), а зависимые второго уровня – спецификаторами (specifier). В соответствии с этим всякая вершина (X) имеет две "проекции": проекция первого уровня (X') формируется вершиной и ее дополнением, а проекция второго уровня (X'') образуется путем присоединения спецификатора к проекции первого уровня. Проекция второго уровня, таким образом, совпадает с целой составляющей. Покажем это на примере английской именной группы. Именная группа *government criticism of the press*, согласно принятой в генеративизме трактовке, содержит вершину *criticism* и две зависимые составляющие – именную группу *government* и предложную группу *of the press*. Предложная группа, как заполняющая наиболее обязательную валентность вершины, считается ее дополнением. Сочетание *criticism of the press* является, следовательно, проекцией вершины первого уровня. Именная группа *government* признается спецификатором вершины, и ее присоединение к проекции первого уровня дает проекцию второго уровня, то есть составляющую в целом:



Очевидно, что такая теория структуры составляющих предполагает не только обя-

зательное наличие вершины в любой составляющей, но и ее единственность. Предполагается, кроме того, что вершина совпадает с возглавляемой ею составляющей по всем синтаксическим свойствам (прежде всего, по дистрибуции).

Из этого ясно, сколь велика роль, отводящаяся вершине в порождающей грамматике со времени принятия X'-теории. Однако, как ни парадоксально, эксплицитного определения вершины, позволяющего отличить ее от всех прочих элементов составляющей, в этой теории на протяжении долгого времени не удавалось. Как следствие, порождающая грамматика начала сталкиваться со значительными трудностями с того момента, когда впервые был предложен нестандартный анализ некоторых составляющих, рассматривающий в качестве их вершин не те элементы, которые без обсуждения считались таковым и ранее (см. ниже, о статьях Корбетта, Рэдфорда, Пэйна, Винсента).

Это привело к тому, что с середины 80-х гг. понятие вершины, после долгого перерыва, вновь стало активно обсуждаться. Дискуссия о вершинах началась со статьи [2]. А. Цвики, стремясь, по возможности, строить свои рассуждения вне контекста той или иной из существующих синтаксических теорий, представил список свойств, традиционно относимых к вершинам. Вот важнейшие из этих свойств:

(2) 1) способность быть "морфосинтаксическим локусом", т.е. нести на себе все грамматические маркеры, сигнализирующие о связи данной составляющей с другими составляющими предложения;

2) способность управлять зависимыми, т.е. накладывать ограничения на их форму и значение;

3) обязательность, т.е. невозможность произвольного опущения;

4) совпадение дистрибуции вершины с дистрибуцией всей составляющей ("дистрибутивный эквивалент");

5) способность выступать в качестве семантического аргумента, но не семантического предиката по отношению к прочим элементам составляющей;

6) контроль согласования.

Цвики показал, что в ряде составляющих английского языка, прежде всего в составляющих "вспомогательный глагол (Aux) + глагольная группа (VP)", "детерминатор (Det) + именная группа (NP)" (к детерминаторам относятся артикли и некоторые заменяющие их элементы в препозиции к именной группе), "союз (complementizer – Comp) + зависимое предложение" указанные

свойства распределены между различными элементами. Цвики сделал вывод, что традиционное понятие вершины лингвистически нерелевантно и что его надо заменить целым рядом понятий, каждое из которых соотносилось бы с одним или несколькими из перечисленных выше свойств (развитие этих идей содержится в статье Цвики в рецензируемом сборнике).

Против этой точки зрения Цвики категорически возразил английский синтаксист Р. Хадсон [3], который предложил несколько другой подход к материалу, исследованному Цвики, и утверждал, что в любой составляющей "вершинные" свойства сконцентрированы на одном элементе. Столь различные результаты, полученные на одном и том же материале, объясняются тем, что Хадсон несколько по-иному, чем Цвики, определял некоторые из перечисленных в (2) понятий. На первый взгляд, технические различия между анализом Цвики и Хадсона (о некоторых из этих различий нам придется говорить ниже, при обсуждении статей сборника) невелики и не имеют принципиального значения при обсуждении проблемы вершин. Тем не менее, именно эти различия привели двух авторов к диаметрально противоположным выводам. Безусловно, это нельзя считать случайностью. Дело в том, что реабилитация понятия вершины была чрезвычайно важна для Хадсона как для одного из наиболее активных апологетов грамматики зависимостей, отрицающего какую-либо значимость составляющих в лингвистической теории и в речи (см. [4–5]; см. также ниже – о статье Хадсона в настоящем сборнике.) Очевидно, что "расщепленность" вершинных свойств была бы одним из самых серьезных аргументов против синтаксиса зависимостей и одновременно в пользу синтаксиса составляющих, ведь построение грамматики зависимостей невозможно при отказе от понятия вершины, тогда как грамматика составляющих может обойтись без этого понятия, подтверждением чему служит грамматика Хомского до принятия X'-теории. Таким образом, дискуссия о вершинах с самого начала оказалась в тесной связи с дискуссией о двух способах синтаксического представления.

В качестве "предыстории" настоящего сборника необходимо упомянуть еще два направления исследований, проводившихся в последние годы. Во-первых, это теория так называемых "функциональных вершин", развивающаяся в рамках порождающей грамматики Хомского с начала 80-х гг. Первоначально было предложено рассмат-

ривать показатель финитности (inflection – I) как вершину содержащего его простого предложения, а подчинительный союз (Comp) – как вершину по отношению к вводимому им зависимому предложению. Таким образом, вершинами, наряду с предлогами, оказались и другие служебные слова. Впоследствии они получили название "функциональных вершин". Такое нововведение, обусловленное некоторыми внутренними нуждами порождающей грамматики, имело и большее содержательное значение: впервые были в простых структурных терминах эксплицированы понятия финитности и субординации. Несколько позже, после статьи [6], вершинами в дереве составляющих стали признаваться многие грамматические категории, такие как наклонение, время и др. Тем самым было сочтено допустимым, чтобы вершины не имели лексических коррелятов в структуре предложения (в большинстве случаев каждой из таких вершин соответствует лишь отдельная морфема). Наличие в дереве составляющих функциональных вершин наряду с лексическими в настоящее время не вызывает дискуссий среди генеративистов. Однако среди последователей Хомского нет единодушия относительно принципов выделения функциональных вершин, а также их роли в предложении. Что же касается лингвистов, не принадлежащих к генеративистской парадигме, то для большинства из них выделение функциональных вершин, количество которых непрерывно растет, есть свидетельство увлеченности хомскианцев абстрактными квазиматематическими построениями в противовес реальным языковым фактам. Дискуссия о функциональных вершинах частично отражена и на страницах сборника.

Во-первых, в связи с дискуссией о вершинах заслуживают упоминания и типологические исследования Дж. Николс (см. прежде всего [7]), выделившей в качестве отдельных классов языки с грамматической маркировкой вершин (head-marking languages) и языки с грамматической маркировкой зависимых (dependent-marking languages). Данное типологическое разбиение достаточно детально обсуждается в рецензируемом сборнике в статьях Николс и Винсента.

В сборнике, после предисловия составителей, кратко характеризующего основные вехи дискуссии о вершинах и основные темы сборника, помещаются 12 статей лингвистов из Великобритании и США, обсуждающие различные аспекты понятия вершины. Статья Гревилла Корбетта "Вер-

шина русских числовых выражений" ("The head of Russian numeral expressions") представляет собой попытку "испытания" подходов Хадсона и Цвики на сложном языковом материале. В качестве "полигона" для такого испытания автор избрал русские числовые выражения с числительными от двух до четырех (например, *два журнала, четыре книги*), где однозначное определение вершины затруднено нестандартным типом согласования и падежного оформления: в косвенных падежах форма существительного совпадает с формой числительного (*двумя журналами, о двух журналах*), тогда как при именительном и винительном падежах числительного существительное стоит в особой падежной форме, которую нельзя отождествить с родительным падежом единственного числа (ср. разницу ударений в формах существительного *час*: *в течение часа* (род. ед.) vs. *два часа*). Это позволяет предположить, что данная особая форма приписывается существительному числительным, как вершиной. С другой стороны, одно из рассматриваемых числительных – *два* – согласуется с существительным по роду (*два журнала* vs. *две книги*), тем самым проявляя свойства не вершины, а зависимого.

Корбетт показывает, что подходы Цвики и Хадсона дадут при анализе этих словосочетаний разные результаты. Истоки этого несовпадения лежат в том, что два исследователя по-разному трактуют свойства синтаксических единиц, позволяющие отнести их к зависимым или вершинам. Это можно проиллюстрировать на примере свойства дистрибутивной эквивалентности. По Цвики, дистрибутивный эквивалент должен совпадать с целым словосочетанием по дистрибуции только на уровне "синтаксических контекстов", а на уровне морфологического оформления полного совпадения не требуется. При таком подходе дистрибутивным эквивалентом рассматриваемых числовых выражений следует признавать существительное, поскольку изолированное существительное может употребляться во всех контекстах, в которых возможно употребление числового выражения. Можно было бы возразить, что существительное и числовое выражение, будучи употреблены в одних и тех же контекстах, требуют разного глагольного согласования: числовое выражение, в отличие от существительного, допускает согласование как по множественному, так и по единственному числу, ср.: *приехал автомобиль* vs. *приехали/приехали два автомобиля*. Однако в рамках подхода

Цвики эти различия не имеют принципиального значения, так как относятся к морфологии. Наоборот, данные различия имели бы большое значение для Хадсона, который считает, что контексты употребления словосочетания и его дистрибутивного эквивалента должны совпадать вплоть до морфологических характеристик. В рамках подхода Хадсона дистрибутивным эквивалентом русских числовых выражений следовало бы признать числительное, которое может употребляться на месте числового выражения в эллиптических контекстах, принимаемых Хадсоном во внимание.

Подобного рода расхождения, как показывает Корбетт, имеют место во взглядах двух исследователей и на другие свойства, традиционно закрепляемые за вершинами. В итоге по Хадсону вершиной русских числовых выражений однозначно следовало бы признать числительное, тогда как у Цвики "вершинные" свойства оказались бы распределены между существительным и числительным. В таком результате нет ничего удивительного, ведь Цвики в своих исследованиях как раз и доказывает "расщепленность" вершинных свойств, а Хадсон – их "сосредоточенность" на каком-либо одном компоненте в любом типе словосочетаний.

Далее Корбетт рассматривает согласование и приписывание падежей в числовых выражениях, осложненных прилагательным и/или причастным оборотом. Прилагательные, модифицирующие существительные в числовых выражениях, могут допускать вариативность в падежном оформлении: при именительном (и винительном) падежах числительного они могут либо согласовываться по падежу с существительным (как это они обязательно делают в косвенных падежах), либо оформляться родительным падежом множественного числа, ср. *две интересные книги* vs. *две интересные книги*. Корбетт приводит весьма любопытные статистические данные, согласно которым выбор падежа прилагательного существенным образом зависит от числительного: родительный падеж множественного числа прилагательного очень вероятен при числительном *четыре*, несколько менее вероятен при числительном *три* и еще менее вероятен при числительном *два*. С другой стороны, на выбор падежа прилагательного влияет и существительное: при мужском и среднем родах существительного вероятность родительного падежа множественного числа прилагательного выше, чем при женском роде. Несмотря на эту очевидную зави-

симость падежа прилагательного от характеристик существительного, Корбетт считает, что адекватный анализ этих выражений возможен, если их вершиной признать числительное: поскольку числительное *два* согласуется с существительным по роду, можно считать, что признак рода, влияющий на выбор падежа, является также приобретенным признаком числительного, и, следовательно, приписывание падежа зависит только от числительного, как от вершины. Такое решение вполне согласуется с подходом Хадсона. В духе Цвики, напротив, предпочтительной была бы иная интерпретация: на выбор падежа прилагательного влияет как числительное, так и существительное, т.е. оба "вершинообразные" элемента сочетания. Корбетт, однако, фактически доказывает, что такое решение неудовлетворительно. Для этого он рассматривает числовые выражения, в которых существительное модифицируется двумя определениями – препозитивным и постпозитивным. Из четырех логически возможных комбинаций падежных признаков грамматичными оказываются только три:

- (3) а. *две интересные книги, прочитанные Иваном*
б. *две интересных книги, прочитанные Иваном*
с. **две интересные книги, прочитанных Иваном*
д. *две интересных книги, прочитанных Иваном*

Как утверждает Корбетт, если бы на выбор падежа причастия равным образом влияли бы и числительное, и существительное, то нельзя было бы объяснить, почему возможно сочетание (3б), но невозможно сочетание (3с): действительно, если и существительное, и числительное имеют некоторые признаки, релевантные при выборе падежа прилагательного, и эти признаки приходят в конфликт (в (3б–с) женский род существительного делает высоковероятным именительный падеж, а числительное *два* – родительный падеж множественного числа прилагательного), то неясно, почему на одном из прилагательных этот конфликт не может разрешиться по-иному, чем на другом прилагательном, модифицирующем то же самое существительное, и какую роль при выборе падежа может играть линейный порядок этих прилагательных относительно друг друга. Если же считать, что за приписывание падежей в подобных случаях целиком "ответственно" числительное, как вершина словосочетания,

то указанное ограничение получает вполне естественное объяснение: в сочетаниях типа (3b) у вершины – числительного – есть два зависимых: сочетание "прилагательное + существительное" и причастный оборот. Причастию числительное может приписать только именительный падеж, а в падежном оформлении именной группы наблюдается вариативность, истоки которой были описаны выше.

В целом, как видим, Корбетт одобряет тот вариант анализа, который согласуется с концепцией Хадсона, поскольку признает числительное единственной вершиной числового выражения. При этом, однако, Корбетт делает замечание о "градуальности" понятия вершины (с. 32) – замечание, неизбежное при обсуждении русских числовых выражений и при этом скорее согласующееся как раз со взглядами Цвики, а не его оппонента. В заключение отмечу, что хотя аргументы Корбетта весьма серьезны, их нельзя считать исчерпывающими – вспомним хотя бы не менее убедительную аргументацию в пользу имени как вершины числового выражения в [8].

Статья Б. Комри "Фонология вершин в языке харуаи" ("The phonology of heads in Haruai") посвящена анализу особенностей вершин в одном из языков Папуа Новой Гвинеи. Автор показывает, что вершины в этом языке регулярно получают менее сильное ударение, чем зависимые. Эта закономерность ясно прослеживается в харуаи в разноструктурных составляющих. Исследование Комри не затрагивает тех теоретических проблем, которые оказываются в центре внимания прочих статей сборника. Автор демонстрирует, что во многих случаях вершины, наряду с типологически релевантными свойствами, могут иметь свойства, уникальные для того или иного языка, и эти свойства, будучи независимыми свидетельствами в пользу отнесения того или иного элемента к вершинам, позволяют проверить, насколько к данному языку приложимо универсальное грамматическое понятие вершины.

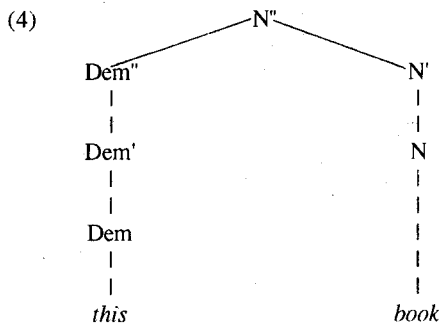
Статья Р. Кэнна "Эталоны вершинности" ("Patterns of headedness") представляет собой попытку ревизии X'-теории с целью более полного отражения в ней свойств вершин. Как отмечает автор, в своем общепринятом варианте X'-теория предполагает абсолютную идентичность дистрибутивных свойств вершины и содержащей ее составляющей. Кроме того, X'-теория постулирует обязательность вершины, невозможность ее произвольного (не эллиптического) опущения. Эти свойства вершин, согласно X'-

теории, сочетаются с их способностью к субкатегоризации, т.е. к присоединению логических аргументов в качестве дополнений (complements) с приписыванием им определенной семантической роли (theta-роли). Такие исходные посылки X'-теории оправданы для "классического" случая вершин, например, для глагола (V) как вершины глагольной группы (VP) в английском языке. В некоторых других словосочетаниях, однако, "вершинные" свойства оказываются распределенными между несколькими элементами. Это относится прежде всего к тем словосочетаниям, в которых порождающая грамматика последних лет усмотрела иное по сравнению с традиционным направление зависимостей. Например, в сочетании "детерминатор + именная группа" ([the [house of a friend]]) детерминатор, подобно классической вершине, накладывает ограничения на форму имени (более точно, на его число – например, неопределенный артикль "a" не сочетается с именными группами во множественном числе); в других важных аспектах, однако, детерминатор и имя симметричны по отношению друг к другу: напр., и детерминатор и имя являются дистрибутивным эквивалентом именного словосочетания, поскольку, с одной стороны, имена могут употребляться без детерминатора (как имена собственные в английском языке), а с другой стороны, некоторые детерминаторы (напр., *some, few*) могут употребляться без имени (подробнее о проблеме вершины именных выражений в порождающей грамматике см. ниже). Чтобы подобные явления согласовывались с X'-теорией, Кэнн определенным образом дополняет ее формальный аппарат. В результате синтаксическая обязательность некоторого элемента не следует непосредственно из того, что он является вершиной, а предопределяется механизмом индексирования узлов дерева составляющих. Этот механизм, однако, не распространяется на вершины, приписывающие своему дополнению семантическую роль (theta-роль) – они не могут быть опущены ни при каких обстоятельствах. Отсюда асимметрия между "классическими" вершинами типа глагола и такими вершинами, как, например, детерминаторы: последние не приписывают дополнению (именной группе) семантической роли, и поэтому возможны "нулевые" детерминаторы, в отличие, например, от "нулевых" глаголов (всякий нулевой элемент, согласно постулированному Кэнну принципу, должен впослед-

вии быть коиндексирован с каким-либо фонетически выраженным элементом, но удовлетворить этому требованию – не более чем дело техники для современной порождающей грамматики с ее развитым формальным аппаратом).

Исследуя далее дистрибутивные свойства английских словосочетаний, Кэнн замечает, что дистрибутивным эквивалентом сочетаний "указательное местоимение + существительное" (*this house*) может быть как существительное, так и указательное местоимение, допускающее одиночное употребление.

Кэнн предлагает считать, что указательное местоимение занимает позицию спецификатора, и дополняет свой формальный аппарат таким образом, чтобы всегда разрешалось опущение вершины при заполненной позиции спецификатора:



Кэнн помещает в позицию спецификатора и все прочие элементы, разделяющие с вершиной часть ее дистрибутивных свойств. Так, спецификатором составляющей "Aux + VP" Кэнн объявляет Aux, способный, наряду со смысловым глаголом, быть дистрибутивным элементом составляющей.

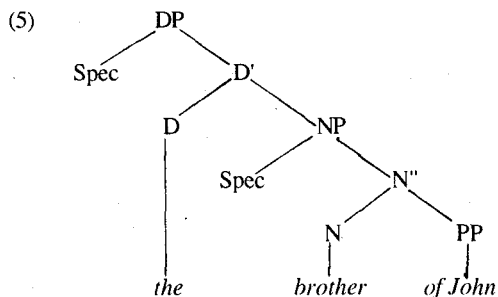
Не ставя под сомнение остроумие данного решения, как и некоторых других конкретных предложений Кэнна, отмечу, что его подход нарушает некоторые важные, и, на мой взгляд, имеющие наибольшую метатеоретическую ценность положения X'-теории. А именно, в позиции спецификаторов у Кэнна регулярно оказываются не составляющие, имеющие потенциально неограниченную возможность ветвления, т.е. присоединения зависимых сколь угодно большой линейной длины, а, по сути, отдельные лексические элементы, не способные присоединять никаких зависимых (или, по крайней мере, не способные к рекурсивному ветвлению, несмотря на маргинальную возможность нерекурсивных зависимых в сочетаниях типа *exactly this*

book). Несмотря на то, что, например, на схеме (4) указательному местоимению соответствует целая составляющая (Dem"), позиции дополнения и спецификатора этой составляющей в нормальном случае не заполняются, и тем самым постулирование категории Dem" на месте Dem – всего лишь ловкий трюк формальной теории. Напомню, что именно неспособность определенных синтаксических элементов к рекурсивному ветвлению была причиной отнесения их некоторыми исследователями к вершинам. И хотя последнее решение представляется вовсе не безупречным (см. ниже, о статье Рэдфорда), введение неветвящихся зависимых в порождающую грамматику возможно только после экспликации тех факторов, которые ограничивают ветвление. Принятое в X'-теории допущение, согласно которому все зависимые способны неограниченно ветвиться, делает эту теорию очень удобной для решения многих конкретных лингвистических задач, в частности, для описания ограничений на порядок слов (см. [9]). Кроме того, неясно, насколько эффективным окажется на практике принцип Кэнна, согласно которому один элемент в коиндексированной цепочке элементов дерева зависимостей должен быть фонетически выражен. На первый взгляд, этот принцип должен был бы ограничить тот бурный рост числа функциональных категорий, который наблюдается в последние пять лет в порождающей грамматике. Однако нетрудно догадаться, что коллегам Кэнна легко будет "обойти" этот принцип, постулируя разнообразные передвижения элементов через позиции вершин (*head-to-head movement*).

Теория "функциональных вершин" имеет целый ряд особых следствий в приложении к именной группе (NP). Прежде чем остановиться на статьях сборника, посвященных этой проблематике, позволим себе кратко изложить историю вопроса.

Если при традиционном подходе вершиной NP безоговорочно признавалось имя, то современная порождающая грамматика, вслед за [10], рассматривает сочетание имени и его модификаторов как сложную структуру, состоящую из вложенных друг в друга составляющих с разными вершинами. Справедливо отмечая, что артикль в английском языке занимает особую структурную позицию, в которой он может чередоваться с весьма ограниченным набором слов, таких как *many*, *few*, *some* и некоторыми другими, также причисляемыми к детерминаторам и что эта позиция

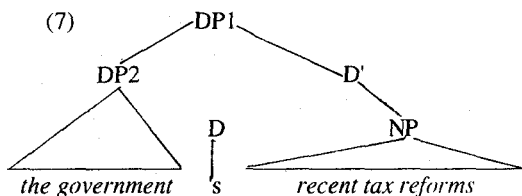
соответствует абсолютному началу составляющей (где в английском языке регулярно располагаются именно вершины, а не их зависимые), адепты порождающей грамматики сделали вывод, что детерминатор является вершиной составляющей, в которой он содержится. Составляющая эта, соответственно, получила название "группа детерминатора" (*determiner phrase – DP*). Так, английскому словосочетанию *the brother of John* приписывается следующая НС-структура, в которой артикль, будучи вершиной всего сочетания, присоединяет NP в качестве дополнения:



Одновременно было замечено, что английский препозитивный генетив с окончанием 's исключает употребление артикля перед определяемым им именем (см. [10, с. 79]), ср.:

- (6) a. [*the government's*] recent tax reforms
 b. **the* [*government's*] recent tax reforms

На этом основании было предложено считать, что элемент 's также занимает позицию детерминатора и, следовательно, вершины всей составляющей. Составляющая со значением посессора (также, в свою очередь, анализируемая как "группа детерминатора") в соответствии с этим должна быть признана спецификатором:



Как видим, основные соображения, первоначально побудившие к анализу именной составляющей как "группы детерминатора" были основаны на внутренних свойствах этого синтаксического комплекса, а не на его "внешних", прежде всего – дистрибутивных свойствах. Впоследствии на ана-

логичных основаниях в качестве вершин по отношению к имени, наряду с детерминаторами, стали рассматриваться прочие неветвящиеся элементы, линейно предшествующие имени в английском языке (числительные, квантификаторы и др.).

В рецензируемом сборнике проблеме синтаксического представления именной группы целиком посвящены две статьи. Статья Э. Редфорда "Охота за вершинами: в погоне за именным двуликим Янусом" ("Head-hunting: on the trail of the nominal Janus") написана в русле современной порождающей грамматики. В ней автор развивает те идеи, которые послужили в свое время основанием для выделения "группы детерминатора". Редфорд признает вершинами все неветвящиеся элементы, линейно предшествующие существительному в составе именного комплекса. Особенно детально Э. Редфорд обосновывает такую интерпретацию для препозитивных прилагательных. Основным аргументом Редфорду здесь служит то, что препозитивные прилагательные не могут ветвиться так, как постпозитивные, ср.:

- (8) a. *resources available to us*
 b. **available to us resources*
 c. *available resources*

В (8a) сочетание *available to us resources* представляет собой группу прилагательного (AP), в которой предложная группа *to us* занимает позицию дополнения. Однако если постулировать аналогичную структуру в (8c), то потребует отдельного объяснения тот очевидный факт, что прилагательные типа *available*, находясь в позиции перед существительным, не могут присоединять дополнений, заполняющих их семантические валентности (вследствие чего и недопустимо сочетание (8b)). Редфорд заранее считает, что попытки найти объяснение этому ограничению в рамках "одновершинного" анализа NP обречены на провал, и поэтому предлагает считать, что препозитивное прилагательное является вершиной и присоединяет именную группу в качестве своего дополнения (из этого следует, что оно не может присоединять никаких других дополнений, типа предложной группы в (8b)). Сочетания (8a) и (8c) приписываются структуры (9a) и (9b), соответственно:

- (9) a. [NP [N resources] [AP [A available] [PP to us]]]
 b. [AP [A available] [NP [N resources]]]

Аналогичные доводы приводит Редфорд и в пользу анализа детерминаторов и кван-

тификаторов в качестве вершин. В результате структура, традиционно рассматривавшаяся как единая именная группа, получает синтаксическое представление, включающее большое количество последовательно доминирующих друг над другом вершин, например:

(10) [DP *these* [QP *five* [AP *big* [NP *apples* [PP *of John*]]]]]

Итак, Рэдфорд, как и его коллег-генеративисты, обосновывает "многовершинный" подход исключительно внутренними свойствами именного комплекса. Он признает, что основной контрдовод против данного анализа – это единство дистрибутивных свойств группы детерминатора, группы квантификатора, группы прилагательного и собственно именной группы. Единство этих свойств естественно объяснить через наличие у всех указанных составляющих одного общего элемента – имени. Следовательно, если не считать имя вершиной, неизбежно теряется важное обобщение. Поэтому Рэдфорд предлагает различать у сложных составляющих такого рода две вершины – "непосредственную вершину" (*immediate head*) и "конечную вершину" (*ultimate head*). Непосредственной вершиной словосочетания является вершина, расположенная выше других в дереве составляющих детерминатор в последнем примере), а конечной вершиной – вершина, над которой доминируют все прочие вершины некоторого синтаксического комплекса (имя в последнем примере). Свойства комплексной составляющей определяются свойствами этих двух вершин. Я не буду останавливаться здесь на вопросе о том, насколько приемлемо такое решение в рамках формальной грамматической теории (сходные решения данной проблемы предлагались в порождающей грамматике и ранее, ср. [11]). Более существенным является то, что исходные аргументы Рэдфорда в пользу "вершинной" природы приименных модификаторов представляются все же недостаточными. Возможность ветвления ограничена у многих модификаторов, причем не только у приименных, и, на мой взгляд, полезнее было бы выявить природу этих ограничений, а не уходить от этой задачи, априорно объявив все неветвящиеся модификаторы вершинами по отношению к семантически модифицируемыми ими элементам. Тем не менее выносить окончательный вердикт по поводу "многовершинного" подхода к именным составляющим преждевременно: по крайней мере для группы детерминатора Рэдфорд

показывает, что она все же отличается от именной группы, не имеющей при себе детерминатора, и по ряду дистрибутивных свойств. Кроме того, как уже отмечалось выше, если слова типа *few* и *many* признаны детерминаторами, то неизбежно констатировать, что детерминаторы, наряду с именами, могут быть дистрибутивными эквивалентами именных словосочетаний.

Оппонентом "многовершинного" подхода выступает в сборнике Д. Пэйн. В статье "Вершины в именной группе: сражая именную гидру" ("The headedness of noun phrase: slaying the nominal hydra") он приводит ряд аргументов в пользу имени как единственной вершины именной составляющей. Аргументы Пэйна, в отличие от Рэдфорда, основаны преимущественно на "внешних" свойствах именных групп. В частности, автор отмечает, что глаголы, присоединяющие именные составляющие, различаются по типам имен, которые они могут присоединять, но не по типам детерминаторов. Это обстоятельство является наиболее серьезным свидетельством в пользу "вершинности" имени. К этим же выводам приводят многие особенности порядка слов, например, ограничение на правостороннее расположение зависимых элементов именной группы в австралийском языке вальбири, а также ряд других фактов разноструктурных языков. Примечательно, что Пэйн, в отличие от Рэдфорда, строит свое исследование на богатом типологическом материале, а не ограничивает рамки своего анализа языками "европейского стандарта". В связи с этим отмечу, что нет каких-либо априорных оснований считать категории типа "группа детерминатора" либо универсальными, либо вовсе не существующими. Типологическое разнообразие структур составляющих уже давно признано допустимым в порождающей грамматике (ср. [12–13]), где наличие и отсутствие глагольной группы признается параметром, по которому различаются естественные языки. Вовсе не исключено, что такого же рода "параметром" может оказаться и наличие группы детерминатора.

Статья Н. Винсента "Маркировка вершины vs. маркировка зависимого: случай простого предложения" ("Head- versus dependent-marking: the case of the clause") посвящена поиску путей интеграции теории функциональных вершин и типологической концепции Дж. Николс, основанной на противопоставлении языков с маркировкой зависимых, с одной стороны, и языков с маркировкой вершин, с другой. Как справедливо отмечает сам Винсент, между

этими двумя направлениями существуют настолько серьезные различия, что, казалось бы, впору говорить об их полной несовместимости. Действительно, для Николс такие компоненты языковой структуры, как союзы, предлоги/послелogi, падежные маркеры и т.д., суть вспомогательные элементы, сигнализирующие направление синтаксической зависимости, тогда как в современных версиях порождающей грамматики эти "функциональные" элементы интерпретируются как вершины отдельных составляющих (см. выше). Кроме этих формальных отличий, между двумя подходами существуют и очень серьезные содержательные расхождения: порождающая грамматика описывает большинство синтаксических процессов внутри простого предложения (например, приписывание абстрактных падежей) как воздействие вершины на зависимое, в то время как данные Николс показывают, что в языках мира грамматическая маркировка вершины распространена значительно больше, чем маркировка зависимого. Тем не менее, как пытается показать Винсент, два подхода в ряде важных аспектов согласуются между собой. Это видно на примере отношения зависимого предложения и вводящего его союза. Если союз считать вершиной, а предложение – его зависимым (как это делается в порождающей грамматике), то для Николс это означало бы, что союз, как вершина, может быть "мишенью" определенной грамматической маркировки со стороны зависимого предложения. Именно это, как показано в статье Винсента, происходит в целом ряде языков. Например, в некоторых арабских диалектах союз согласуется с актантами зависимого предложения по лицу и числу. Примеры такого рода (в статье Винсента их приведено достаточно много) показывают, что признание служебных элементов вершинами отдельных составляющих не противоречит результатам, полученным Николс. И все же следует отметить, что приводимые Винсентом факты весьма маргинальны: союзы и прочие служебные слова крайне редко маркируются как вершины в языках мира. Представляется, что это обстоятельство ни в коей мере не противоречит результатам, полученным Николс: Николс рассматривает лишь эндоцентрические составляющие, и в них, действительно, маркировка вершины распространена не менее, а быть может, и более, чем маркировка зависимого. Что же касается экзоцентрических составляющих, то на них результаты Николс, видимо, распространяются в

меньшей мере (хотя собранные Винсентом факты согласования союзов с вводимыми ими зависимыми предложениями, безусловно, очень ценны).

Как отмечает далее Винсент, "вершинный" статус многих служебных элементов хорошо согласуется с их этимологией, поскольку чаще всего служебные элементы исторически восходят к полнозначным лексическим единицам. В этом автор видит основу для взаимодействия порождающей грамматики и еще одного из современных направлений функционализма – теории грамматикализации. Последняя изучает происхождение служебных слов и прочих грамматических маркеров из полнозначных слов. Поскольку полнозначные слова, из которых впоследствии развились служебные, как предполагает Винсент, были вершинами по отношению к вводимым ими выражениям, то если признать служебные слова вершинами, получится, что направление зависимости в ходе исторической деривации не изменилось. Это, по Винсенту, может служить серьезным аргументом в пользу реконструкции деривационных процессов, предлагаемой теорией грамматикализации. В связи с этим отмечу, что усматриваемая Винсентом параллель все же не универсальна: как показано в [14], артикли, признаваемые в порождающей грамматике, наряду с другими детерминаторами, вершинами по отношению к имени, в ходе грамматикализации развивались не из вершин, а из местоименных модификаторов, зависимых от имени.

В целом, несмотря на приведенные выше частные замечания, статья Винсента представляется весьма оригинальной и серьезной попыткой найти пути взаимодействия между на первый взгляд весьма далекими друг от друга научными парадигмами.

Статья Дж. Николс "Вершины в дискурсе: структурный приоритет vs. функциональный приоритет" ("Heads in discourse: structural versus functional centrality") выделяется среди других статей сборника нестандартностью постановки задачи и метода исследования. Николс стремится показать, что, наряду со структурными приоритетами, у грамматических элементов имеется отдельная шкала функциональных приоритетов, и распределение функциональных приоритетов не всегда изоморфно распределению структурных приоритетов. В качестве свидетельства функциональной приоритетности некоторого элемента синтаксической структуры Николс рассматривает невозможность или трудность его опущения в тексте. Если некоторая составляющая в

результате различного рода сокращений может быть представлена в тексте одним зависимым элементом (без вершины), то такая составляющая является функционально экзоцентрической, поскольку в ней функционально наиболее значимый элемент не совпадает с вершиной. Составляющие же, в которых зависимые могут опускаться, а вершина – не может, называются функционально эндоцентрическими. Функциональная экзоцентричность /эндоцентричность противопоставлена, по Николс, структурной экзоцентричности/эндоцентричности. Последнее свойство связано с "абстрактными грамматическими признаками и дистрибутивными особенностями составляющих и их вершин", тогда как функциональные свойства составляющих и вершин относятся к их реальному употреблению в дискурсе. В этой связи следует отметить, что доводы Николс были бы убедительнее, если бы она ограничила конкретный тип функциональной приоритетности, который она рассматривает. Невозможность опущения составляющей, на наш взгляд, свидетельствует лишь о некотором классе закрепленных за ней функциональных приоритетов. Наоборот, в ряде случаев возможность или желательность опущения (или иной редукции) составляющей свидетельствует скорее о ее "центральной" в тексте, т.е. как раз о функциональной приоритетности. Так, в большом количестве языков возможность опущения NP в независимом предложении прямо пропорциональна "тематичности" (topicality) данной NP, а тематичность, бесспорно, представляет собой частную разновидность функциональной "центральной" (ср. [15]). Николс рассматривает возможность опущения глагола и именных групп в составе независимого предложения в четырех языках – английском, русском, чеченском и в языке нунгубу (Австралия). По наблюдениям Николс, в русском языке достаточно свободно происходит опущение вершины (глагола), а опущение NP, приводящее к изоляции глагола, нежелательно. Обратная картина наблюдается в чеченском языке. В английском возможно и опущение вершины, и опущение зависимого. В нунгубу также возможны оба процесса, но изоляция вершины идет легче. Недостатком приводимого в работе Николс материала является то, что автор рассматривает в одном ряду как случаи опущения зависимых или вершин, которые обусловлены достаточно широким контекстом употребления данного предложения (напр., редукция составляющих в ответах на вопросы, в высоко конвенциализованных предложениях типа поздравлений и приветствий и т.д.), так и случаи явно синтаксически обусловленной редукции составляющих (gapping, right node raising и т.д.). На мой взгляд, функциональная приоритетность любого элемента может быть адекватно определена только по его поведению в контекстах с невысокой степенью грамматикализованности. В результате исследования Николс приходит к выводу, что функциональная эндоцентричность/экзоцентричность некоторой составляющей не находится во взаимоднозначном соответствии с каким-либо ее структурным свойством. Николс приводит достаточно много свойств, которые могли бы коррелировать с функциональной экзоцентричностью/эндоцентричностью, но выявление их конкретного влияния на этот параметр языковой структуры – задача дальнейшего исследования.

Статья Р. Борсли "Грамматика фразовой структуры с доминантностью вершин" ("Heads in head-driven phrase structure grammar") анализирует свойства вершин в рамках одной из современных синтаксических теорий, основывающихся на структуре составляющих как способе синтаксического представления (см. об этой теории [16]). В рамках этой теории вершины и возглавляемые ими составляющие совпадают по всем признакам, кроме количества валентностей: если часть валентностей вершины заполнена внутри составляющей, то составляющая в целом, естественным образом, уже не имеет этих валентностей. В ряде случаев, однако, важно, чтобы количество валентностей вершины и составляющей совпадало. Например, при адъюнкции, т.е. присоединении к некоторой составляющей второстепенного модификатора, число валентностей составляющей, к которой присоединяется данный модификатор, должно совпадать с числом валентностей составляющей, образовавшейся в результате адъюнкции. Необходимость такого совпадения можно было бы оговорить в специальном правиле. Однако Борсли исходит из того, что всякое совпадение свойств составляющей и ее вершины должно требоваться по умолчанию, а правила должны, напротив, оговаривать случаи несовпадения их свойств. Поэтому Борсли предлагает видоизмененную версию head-driven phrase structure grammar, в которой, в частности, утверждается, что у составляющей и ее вершины в немаркированном (default) случае должны совпадать все свойства, включая и число валентностей, а специальные правила указывают, в каких условиях этот принцип может нарушаться

138

(например, в том числе, когда составляющая включает зависимые, заполняющие часть валентностей вершины). Далее Борсли показывает, что принцип, согласно которому свойства составляющей и вершины совпадают по умолчанию, но могут различаться в результате действия специальных правил (точнее – при определенном типе зависимых), оказывается полезным и в других грамматиках, основывающихся на структуре составляющих, прежде всего – в порождающей грамматике Хомского.

Интересно отметить, что к выводу о возможном несовпадении свойств вершины и возглавляемого ею синтаксического комплекса приходят и некоторые другие авторы сборника, работающие в рамках иных синтаксических теорий. В частности, этот вывод делается в статье С. МакГлэшена "Вершины и лексическая семантика" ("Heads and lexical semantics"), посвященной проблеме формализации семантических отношений между вершинами и зависимыми. Обычно эти отношения эксплицируются как связь функтора и аргумента (ср. [17]). При этом направление отношения в паре "функтор – аргумент" не всегда совпадает с направлением отношения в паре "вершина – зависимое". Действительно, если в сочетании глагола с объектом глагол является и вершиной, и функтором, то в сочетании существительного с прилагательным вершиной является имя, а функтором – прилагательное. Поэтому, как показывает МакГлэшен, описание семантических отношений между вершиной и зависимым в терминах функтора и аргумента неизбежно требует введения отдельных правил, определяющих, в каких случаях функтор соответствует вершине, а в каких – зависимому. Автор предлагает более экономное описание семантического взаимодействия зависимого и вершины. Центральная идея его подхода состоит в том, что в любом словосочетании вершиной является элемент, категориальный семантический признак которого выше на следующей иерархии: "событие > предмет > свойство > модификатор свойства (pre-property)". Тем самым выбор вершины и зависимого целиком предопределяется семантикой элементов соответствующего словосочетания или предложения. Особое внимание МакГлэшен уделяет семантическому взаимодействию между вершиной и зависимым. Стандартная точка зрения на эту проблему состоит в том, что функторы могут менять свое значение в сочетании с различными аргументами, тогда как значение аргументов всегда остается неизменным. МакГлэшен

демонстрирует несостоятельность этой точки зрения на примере сочетаний прилагательных с существительными: в этих сочетаниях оба элемента могут частично изменять значение друг друга в результате семантического взаимодействия. Это еще одно свидетельство в пользу того, что понятия функтора и аргумента лингвистически нерелевантны. МакГлэшен предлагает несложный, но эффективный формальный аппарат, позволяющий описать семантическое взаимодействие между зависимым и вершиной. Его результаты интересны в том отношении, что из них видно, как зависимый элемент может влиять на семантические характеристики вершины, вопреки традиционной точке зрения, что семантические признаки вершины целиком совпадают с семантическими признаками возглавляемого ею словосочетания, и как этот процесс может быть описан в рамках грамматики зависимостей.

Статья Дж. Хокинса "Вершины, грамматическое распознавание и универсалии порядка слов" ("Heads, parsing and word order universals") представляет собой исследование роли вершин в универсальных ограничениях на порядок слов, природу которых автор подробно анализирует в других своих работах (см. прежде всего [9]). Критический анализ гринберговских универсалий порядка слов в свое время позволил Дж. Хокинсу сформулировать наиболее общую закономерность порядка слов внутри составляющей, объясняющую как универсалии, так и возможности типологической параметризации порядка слов. Эта закономерность, названная автором "Early immediate constituents" (EIC), состоит в том, что при оптимальном порядке слов промежуток между началом распознавания первой непосредственной составляющей некоторой синтаксической единицы и окончанием распознавания последней непосредственной составляющей этой синтаксической единицы должен быть сведен к минимуму. Поэтому, например, английское предложение (11a) значительно менее приемлемо, чем (11б), в котором промежуток между началом распознавания глагольной группы и окончанием распознаванием ее самой правой непосредственно составляющей неоправданно велик:

- (11) а. I [gave [to Mary] [the valuable book that was extremely difficult to find]]
б. I [gave [the valuable book that was extremely difficult to find] [to Mary]]

Хокинс обращает внимание на то, что многие составляющие могут быть распознаны не только в результате распознавания вершин, но и в результате распознавания некоторых других своих элементов. Так, английская NP (в классическом понимании этого термина) может быть распознана и через распознавание имени, и через распознавание детерминатора. Составляющая "Aux + VP", какой бы ее элемент мы ни считали вершиной, может быть распознана и через вспомогательный, и через смысловой глагол. Наконец, глагольная группа (в английском языке) может быть распознана как через глагол, так и через имя в косвенном падеже. Следовательно, множество элементов, достаточных для распознавания их доминирующих категорий, шире, чем множество вершин (или элементов, традиционно интерпретирующихся как вершины). Далее Хокинс показывает, что ограничения на порядок, следующие из защищаемого им принципа Early Immediate Constituents, касаются расположения не вершин, а именно элементов, позволяющих идентифицировать категорию составляющей, в которую они входят. Множество таких элементов в некотором языке может оказаться шире, чем множество вершин, хотя, безусловно, включает последнее. Важнейшая закономерность, вытекающая из принципа EIC, состоит в том, что в любом языке либо на левой, либо на правой периферии всякой составляющей регулярно оказывается элемент, достаточный для распознавания ее категориальной принадлежности. Этим, по Хокинсу, достигается быстрота синтаксического распознавания. Языки различаются между собой тем, какая конкретно из этих двух позиций является предпочтительной и насколько последовательно соблюдается данное предпочтение в разных типах составляющих.

Выявленную Хокинсом закономерность удобно показать на примере глагольной группы во многих германских языках, в частности в немецком. Стандартно в этих языках элементы, достаточные для распознавания доминирующих категорий, стремятся к компактному расположению в начале предложения и поэтому, как правило, находятся в начале своих составляющих (артикл располагается в абсолютном начале NP, союз – перед зависимым предложением и т.д.). Однако в глагольной группе возможны альтернативы порядка слов: в независимых предложениях NP в косвенных падежах располагаются после глагола, а в зависимых предложениях – перед глаголом. Оба эти порядка

вполне объяснимы на том основании, что как глагол, так и имя в косвенном падеже достаточны для распознавания составляющей, в состав которой они входят, т.е. глагольной группы. Правило состоит в том, что какой-то один из этих элементов обязательно должен находиться в начале составляющей. Точно так же, например, в английском языке, где глагол всегда стоит в начале глагольной группы, а подчинительный союз – в начале зависимого предложения (глагол и союз являются единственными элементами, позволяющими распознать глагольную группу и зависимое предложение соответственно), именная группа (в традиционном понимании) начинается не именем, а артиклем. Для Хокинса из этого ни в коей мере не следует, что артикл в английском языке является вершиной по отношению к имени. Нахождение артикла в абсолютном начале именной группы объясняется тем, что артикл достаточен для распознавания категориальной принадлежности составляющей, в которой он содержится – действительно, артикл может употребляться только в составе ИГ. Тем самым сохраняется важнейшее для английского языка обобщение: в начале составляющей находится элемент, достаточный для ее распознавания.

Аргументация Хокинса в пользу предложенной им версии универсального описания закономерностей порядка слов весьма убедительна. Хокинс демонстрирует недостатки сложившегося под влиянием Дж. Гринберна подхода к описанию порядка слов, опирающегося исключительно на асимметрию "вершина – зависимое". Отрицая, тем самым, исключительную роль вершин в закономерностях порядка слов, Хокинс идет еще дальше, а именно предполагает, что большинство свойств, традиционно приписываемых вершинам, на самом деле суть свойства элементов, достаточных для распознавания доминирующих категорий. Это смелое предположение позволяет объяснить многие случаи "расщепления" вершинных свойств, столь подробно анализируемые в других статьях сборника. Так, расщепление вершинных свойств между именем и детерминатором в английском языке можно объяснить тем, что оба элемента достаточны для распознавания доминирующей над ними категории, т.е. NP. Все или почти все свойства, традиционно приписываемые вершинам, Хокинс считает в действительности принадлежащими таким элементам. За собственно вершинами Хокинс оставляет только одно свойство – способность "передавать" (percolate) свою

категориальную принадлежность всей составляющей в целом. Выводы Хокинса особенно интересны еще и потому, что автор основывается не столько на данных о языковой компетенции, сколько на особенностях функционирования языка, и прежде всего – на особенностях распознавания синтаксических категорий, производящегося слушающим при анализе речи.

Статья Р. Хадсона "Существуют ли вершины у нас в сознании?" ("Do we have heads in our minds?") представляет собой апологию разрабатываемой автором грамматической теории, основанной на синтаксисе зависимости и отрицающей значимость составляющих для структуры естественного языка. На взгляд Хадсона, практически во всех современных синтаксических теориях, за исключением предложенной им самим (см. [3]), понятие вершины не имеет самостоятельного значения. Для автора, однако, очевидно психолингвистическая значимость этого понятия. Чтобы проиллюстрировать ее, Хадсон анализирует сравнительную трудность для анализа английских вопросительных и относительных предложений. По наблюдениям Хадсона, эта трудность зависит от расстояния между вопросительным (или относительным) словом, вынесенным в начало предложения, и вершиной, непосредственно доминирующей над этим словом. Поэтому предложение (12a) воспринимается слушающим значительно легче, чем (12b):

- (12) a. *Who did the dog chase which the farmer bought from the man who used to live next door?*
b. *Who did the dog chase which the farmer bought from the man who used to live next door chase?*

При этом, как показывает Хадсон, расстояние между вопросительным словом и позицией, из которой оно выдвинулось при образовании вопроса, не оказывает влияния на сложность анализа. Например, предложение (13a) не сложнее для анализа, чем (13b) поскольку эти два предложения, различаясь по расстоянию между вопросительным словом и позицией, из которой оно выдвинулось, совпадают по расстоянию между вопросительным словом и непосредственно доминирующей над ним вершиной (символом "e" обозначена пустая категория в позиции, из которой выдвинулось вопросительное слово):

- (13) a. *John found the box in which I put the tray [e].*
b. *John found the box in which I put the tray on which Mary placed the dish [e].*

Итак, для интерпретации конструкций с вопросительными словами слушающему достаточно установить, какой элемент является вершиной, непосредственно доминирующей над вопросительным словом. Связь же между вопросительным словом и его исходной позицией в дереве составляющих не имеет никакого значения при анализе данных предложений слушающим, что свидетельствует, по Хадсону, о нерелевантности структуры составляющих для синтаксического анализа речи.

Вывод Хадсона о том, что структура составляющих не оказывает влияния на относительную трудность анализа предложения слушающим, все же представляется несколько поспешным. В многочисленных исследованиях Дж. Хокинса, в том числе и в его статье в рецензируемом сборнике, приводятся данные, свидетельствующие в пользу того, что порядок слов в предложении регулярно обеспечивает именно быстроту распознавания составляющих (см. выше). Результаты, полученные Хокинсом, не могут быть "переведены" на язык грамматики зависимостей, что особенно ясно видно из тех аспектов теории Хокинса, на которых он концентрирует внимание в своей статье в рецензируемом сборнике (см. выше). Возражения Хадсона против выводов Хокинса, приводящиеся в примечании (с. 289–290), не представляются серьезными. С другой стороны, наблюдения Хадсона, безусловно, имеют значительную ценность. Быть может, они могли бы служить серьезным аргументом в пользу того, что передвижения, подобные выдвиганию влево вопросительного слова, должны описываться не в рамках структуры составляющих, а в рамках какой-либо другой, параллельной ей структуры, как это делается в ряде современных синтаксических теорий.

В заключительном разделе своей статьи Хадсон приводит ряд аргументов против психолингвистической значимости понятия адъюнкта, т.е. второстепенного модификатора, возможность употребления которого не предопределена валентностными свойствами вершины. В современной порождающей грамматике присоединение к некоторой составляющей (например, к глагольной группе) адъюнкта приводит к усложнению структуры на один дополнительный уровень, однако при анализе предложений с адъюнкцией слушающими никаких дополнительных сложностей не возникает, и на этом основании Хадсон объявляет само понятие адъюнкта излишним. Нельзя не согласиться с тем, что способ представления адъюнктов, принятый

в порождающей грамматике, не самый удачный. Действительно, введение адьюнкта в дерево составляющих приводит к нежелательному результату: синтаксическая структура усложняется, но сложность анализа предложения в речи от этого не увеличивается. Однако противопоставление между адьюнктом и дополнением, заполняющим семантическую валентность вершины, представляется чрезвычайно значимым для описания очень многих грамматических процессов (например, для описания ограничений на различные синтаксические передвижения – см. [18]), и этот факт в настоящее время трудно отрицать даже самым непримиримым противникам хомскианства. Хадсон не указывает на то, каким способом можно было бы различить дополнения и адьюнкты в дереве зависимостей, и не вполне очевидно, насколько вообще это возможно.

Статья А. Цвики "Вершины, базы и функторы" ("Heads, bases and functors") актуальна с двух точек зрения. Во-первых, эта статья – весомая реплика автора в его полемике с Р. Хадсоном о природе вершин (см. выше). Цвики в очередной раз доказывает "расщепленность" вершинных свойств, необязательность их концентрации на одном элементе составляющей. С другой стороны, не менее актуально и то, что в данной статье Цвики строит свою аргументацию на основе поведения вспомогательных глаголов, предлогов, детерминаторов и союзов, т.е. именно тех категорий, "вершинный" статус которых в настоящее время активно обсуждается. "Расщепленность" вершинных свойств особенно ясно видна именно на этом материале. Например, в английской составляющей "вспомогательный глагол + глагольная группа" (Aux + VP) вспомогательный глагол несет на себе согласовательные показатели, т.е. является морфосинтаксическим локусом; и вспомогательный и главный глагол являются обязательными компонентами составляющей; наконец, главный глагол задает семантический класс целой составляющей, предопределяющий ее сочетаемость. Как замечает Цвики, такое или подобное распределение свойств повторяется и в других составляющих, содержащих служебные слова. На этом основании автор предлагает различать три синтаксические категории – вершины, базы и функторы. База – это обязательный элемент составляющей, задающий ее сочетаемость и синтаксический класс. Вершина – это неветвящийся компонент, являющийся морфосинтаксическим локусом и опреде-

ляющий категориальную принадлежность составляющей. Наконец, функтор – это элемент, являющийся семантическим предикатом и мишенью согласования в сочетании. Очевидно, что в рассматриваемых Цвики сочетаниях вершины, при таком понимании, будет служебное слово, а базой – полнозначный лексический элемент (смысловый глагол, существительное в структуре "детерминатор + NP" и т.д.). В сочетаниях же, не содержащих служебных слов (VP, NP и т.д.) база и вершина совпадают. В связи с этим Цвики предлагает расширить инвентарь основных синтаксических категорий и, наряду с сочетаниями "оператор + аргумент" и "модификатор + модифицируемый", различать сочетания вида "спецификатор + специфицируемый". Спецификатор (не путать с омонимичным термином в порождающей грамматике) – это вершина, не являющаяся базой. Большинство служебных слов попадает, тем самым, в разряд спецификаторов. Релевантность противопоставления баз и вершин (и, следовательно, релевантность понятия "спецификатор") Цвики иллюстрирует на примере разнообразных синтаксических правил. В целом статья Цвики представляется весьма глубокой работой по теоретическим основам синтаксиса. При этом, однако, следует отметить, что хотя автор и подчеркивает, что остается в своем исследовании на метатеоретическом уровне, его подход безусловно лучше согласуется с синтаксисом составляющих, а не с синтаксисом зависимостей, поскольку построение дерева зависимостей для того или иного словосочетания возможно, только если в нем может быть выделен единственный "главный" элемент, с которым и будут соединены стрелками зависимостей все остальные элементы. Однако весь пафос статьи Цвики состоит как раз в отрицании единственности такого "главного" элемента.

Из этих характеристик статей сборника видно, что сборник отличается широким охватом проблем и не менее широким диапазоном научных направлений. Авторы сборника посвятили свои статьи проблеме вершин в отдельных конструкциях (Корбетт, Пэйн, Рэдфорд), в дискурсе (Николс), в отдельных языках (Комри), в отдельных теориях (Кэнн, Винсент, Борсли) и в метатеоретических основаниях лингвистики (Хокинс, Хадсон, Цвики). Не менее примечательно распухшая сегодня разделенности сторонников и противников генеративизма, что в сборнике приняли участие лингвисты самых разных научных направлений: среди авторов есть видный генеративист Э. Рэдфорд, лидер

функционального направления в современной лингвистике Б. Комри, убежденный оппонент хомскианского синтаксиса Р. Хадсон, работающий в рамках дочерней по отношению к хомскианству теории синтаксиса Р. Борсли, исследователь метагеоретических основ синтаксиса А. Цвики. Примечательно, что как проблематика, так и выводы каждой статьи сборника достаточно актуальны и, что не менее важно, понятны для лингвистов разных направлений. В этом, на наш взгляд, основная заслуга составителей сборника.

Хотя сборник, безусловно, характеризуется композиционным единством, в нем отсутствует послесловие составителей. Это вполне объяснимо, потому что подводить итоги дискуссии о вершинах в настоящее время рано. Хочется отметить лишь три особенности развернувшейся на страницах сборника дискуссии. Во-первых, почти все участники сборника согласны, что понятие вершины как доминирующего элемента словосочетания и предложения следует в том или ином виде сохранить в лингвистической теории, пусть и после значительной его модификации или даже расщепления на несколько понятий. Во-вторых, авторы сборника единодушно отказываются от традиционного взгляда на вершины, согласно которому вершина определялась как контролер согласования. На смену такому морфологоцентрическому взгляду на вершины приходит понимание того, что вершина есть прежде всего синтаксически значимый элемент (характерно, что подобный сдвиг в сторону от морфологоцентризма при анализе подчинительных отношений произошел и в отечественном языкознании) – ср. чисто морфологический подход к описанию подчинительных отношений у А.М. Пешковского и его критику в [19]. Наконец, авторы с различными теоретическими установками признают, что роль зависимого при вершине не столь статична, как это предполагалось ранее: зависимое может существенным образом влиять как на семантику, так и на синтаксические особенности вершины.

Недостатком сборника является относительно небольшой диапазон языков, факты которых привлекаются к обсуждению. Ис-

ключением в этом отношении являются лишь статьи Пэйна, Винсента и Николс, в которых рассматриваются данные большого количества типологически разнородных языков. Можно надеяться, однако, что высокие образцы лингвистической мысли, представленные в сборнике, послужат стимулом для дальнейшего изучения проблемы вершин в типологическом аспекте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chomsky N. Remarks on nominalization // Readings in English transformational grammar / Ed. by Jacobs R.A., Rosenbaum P., Waltham (Mass.). 1970.
2. Zwicky A. Heads // Journal of linguistics. 1985. V. 21.
3. Hudson R. Zwicky on heads // Journal of linguistics. 1987. V. 23.
4. Hudson R. Word grammar. Oxford, 1984.
5. Hudson R. English word grammar. Oxford, 1990.
6. Pollock Y. Verb movement, universal grammar and the structure of IP // Linguistic inquiry, 1989.
7. Nichols J. Head-marking and dependent-marking grammar // Language, 1986. V. 62.
8. Мельчук И. Синтаксис русских числовых выражений // Wiener Slavistische Almanach. 1985.
9. Hawkins J. A parsing theory of word order universals // Linguistic inquiry. 1991.
10. Abney S. The English noun phrase in its sentential aspect. Ph.D. thesis. Cambridge (Mass.).
11. Grimshaw J. Extended projection. 1991. (manuscript).
12. Chomsky N. Lectures on government and binding. Foris (Dordrecht). 1981.
13. Hale K. Walpiri and the grammar of non-configurational language // Natural language and linguistic theory. 1983. V. 1.
14. Haspelmath M. Functional categories, X-bar theory and grammaticalization theory // Sprachtypologie und Universalienforschung. 1994.
15. Topic continuity in discourse / Ed. by Givon T. Amsterdam. 1983.
16. Pollard C., Sag I. Information-based syntax and semantics. V. 1: Fundamentals. Stanfords, 1987.
17. Keenan E. On surface form and logical form // Studies in linguistic sciences. 1979. V. 8.
18. Chomsky N. Barriers. MIT Press. 1986.
19. Кибрик А.Е. О соотношении понятия синтаксического подчинения с понятиями согласования, управления и примыкания // Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики [МГУ], 1977.

К.И. Казенин

Известное штутгартское издательство, имеющее ныне свое отделение и в Лейпциге, выпустило в свет 6-е издание рецензируемого труда, посвященного истории немецкого языка от истоков его формирования до современности, включая период его послевоенного развития, начиная с 1950 г. и до наших дней. Предыдущее 5-е издание книги, выполненное авторским коллективом под руководством авторитетного германиста В. Шмидта, написавшего в сентябре 1982 г. и вступительное слово к нему, увидело свет уже после его смерти и было опубликовано в 1984 г., как и все предыдущие выпуски, в берлинском издательстве "Volk und Wissen" (ГДР). Собственно и рецензируемое издание, подготовленное к выпуску проф. Г. Лангнером (Потсдам) и возглавляемым им обновленным коллективом соавторов, предназначалось к выходу в свет в 1990–1991 гг. в упомянутом берлинском издательстве. В изменившихся условиях, после объединения ГДР с ФРГ, этим планам не суждено было сбыться и только благодаря усилиям издательства С. Гирцеля, развернувшего свою деятельность и на территории бывшей ГДР, подготовленный труд был опубликован в 1993 г. Интерес нового издателя к этой книге нельзя назвать случайным, т.к. за прошедшие 25 лет со времени 1-го издания (1969 г.) она получила в кругах германистов всеобщее признание благодаря таким своим качествам, как научная достоверность и надежность собранного материала, методическая разработка его представления, строгость и простота изложения, что делает ее одновременно и учебником и энциклопедией по истории немецкого языка. В рецензиях на предыдущие выпуски в филологических журналах Германии отмечалось, что данная книга является "идеальным" учебником, а известный лингвистический журнал "Muttersprache", отмечая несомненные достоинства книги, рекомендовал ее всем, кто интересуется немецким языком не только в Германии, но и в других странах.

Книга открывается разделом "Введение" (с. 15–31), впервые разработанным в 5-м издании В. Шмидтом и Г. Лангнером, а ныне заново написанным Г. Лангнером с учетом новых политических реалий в Германии после 1990 г., закономерно определивших пути развития и немецкого языка. Здесь дана краткая характеристика языка как общественного явления, рассматриваются

вопросы территориальной и социальной дифференциации и интеграции немецкого языка, анализируется понятие предмета и метода исторического исследования языка, а также анализируется проблема периодизации истории немецкого языка. Этот последний параграф раздела представляет особый интерес, поскольку в германистике среди специалистов наблюдается значительное расхождение относительно того, где пролегают границы отдельных этапов в истории немецкого языка и какие критерии (языковые, исторические, социально-экономические) при этом следует считать наиболее предпочтительными. Так, датирование начала древневерхнемецкого периода языка зависит от того, лежит ли в его основании начало или конец действия так называемого древневерхнемецкого передвижения согласных или принимаются во внимание другие критерии, например, появление первых письменных свидетельств и др. Приведя две основные периодизационные схемы, в которых хронологические границы отдельных этапов истории немецкого языка (древневерхнемецкой, средневерхнемецкой, новеверхнемецкой периоды) определяются различно (в зависимости от того, выделяется ли в качестве самостоятельного этапа так называемый ранний новеверхнемецкой период с 1350 г. по 1650 г.), Г. Лангнер излагает свой взгляд на возможность исторической периодизации развития немецкого языка. С одной стороны, он предлагает соотносить состояние языка с этапами всеобщей немецкой истории: немецкий язык раннего средневековья (VI в. – 1050 г.), немецкий язык расцвета средневековья (1050 г. – 1250 г.), немецкий язык позднего средневековья (1250 г. – 1450 г.), немецкий язык нового времени (с 1450 г.). С другой стороны, исходя из распределения признаков исторических изменений в звуковом и грамматическом строе языка, он предлагает придерживаться уже известной классификации, согласно которой выделяются четыре основных периода (древневерхнемецкой с 500 г. по 1050 г., средневерхнемецкой с 1050 г. по 1350 г., ранневерхнемецкой с 1350 г. по 1650 г., новеверхнемецкой с 1650 г.). При этом хронологические границы обеих классификаций, естественно, не совпадают. Так, ранневерхнемецкой период немецкого языка соотносится не только со временем позднего средневековья, но и ох-

ватывает часть периода нового времени. Одновременно Г. Лангнер подчеркивает, что не менее сложную проблему при установлении границ периодов в развитии языка порождает попытка ряда лингвистов выстраивать всю схему процесса развития языка на основании последовательного учета критерия смены социально-экономических формаций в обществе, что, в частности, проявилось в дискуссии о том, следует ли 1950 г., т.е. послевоенный период в истории немецкого языка, связанный, в частности, с образованием в 1949 г. двух германских государств — ГДР и ФРГ, считать за начало нового периода в развитии немецкого языка (см. с. 29–30).

Исторический очерк развития немецкого языка представлен в разделе "Предыстория и история немецкого языка" (с. 32–171). Его авторами являются Э. Бернер, Б. Дёринг, Э. Коллер, Х. Науман, Н.Р. Вольф, которые в первой части раздела рассматривают вопросы дописьменной истории германских языков в рамках их индоевропейского (Indogermanisch) состояния; понятие индоевропейских языков и признаков их общности, вопросы возникновения индоевропейских языков, гипотеза индоевропейского праязыка, а далее останавливаются на истории развития германских племен и их языков (с. 32–62). Изложение вопросов истории собственно немецкого языка начинается с периода раннего средневековья (6.–11 вв.), т.е. охватывает и время дописьменного существования немецкого языка (6–7 вв.), предшествовавшее началу его письменной истории, начиная с 8 века, т.е. в период развития так называемого древневерхне-немецкого языка (8–11 вв.). В этом разделе авторы дают краткую характеристику звукового состава языка данного периода, его морфологии и синтаксиса, а также словарного состава и процессов словообразования (с. 71–80). При этом они подчеркивают тот факт, что немецкий язык этого периода не представлял собой какого-либо единства и существовал как некая совокупность диалектов и диалектных групп, о чем свидетельствуют письменные документы монастырей и канцелярий, составленные, в противовес обычной практике, не по-латыни, а на немецком языке. Далее авторы рассматривают процессы в немецком языке, происходившие в период расцвета средневековья (1050–1250 гг.), подчеркивая при этом жанровое развитие немецкого языка (придворная поэзия), а также формирование других устных и письменных разновидностей языка (проза) и его вариантов, среди которых особое место занимает идиш, сло-

жившийся как средство языкового общения еврейского населения в Германии и на котором позднее сформировалась многожанровая художественная литература, получившая ныне всеобщее признание (с. 91). Следующий раздел этой главы посвящен характеристике немецкого языка периода позднего средневековья (1250–1450 гг.), когда происходили исторические процессы, во многом определившие пути дальнейшего формирования немецкого языка в направлении к его надтерриториальному единству. Это развитие было связано прежде всего с фундаментальными изменениями в коммуникативных потребностях общества, в особенности в связи с развитием немецких городов, ставших центрами экономической и культурной жизни в различных регионах Германии и налаживавших интенсивные связи между собой (Кельн, Майнц, Регенсбург, ганзейские города, Берлин, Лейпциг и др.). Именно в этот период, начиная с середины 13-го столетия, происходит почти повсеместно переход с латыни на немецкий язык в так называемой деловой прозе (грамоты, канцелярские документы и т.д.), что, безусловно, способствовало развитию нормативных тенденций в системе языка. В целом для этого периода истории немецкого языка исследователи устанавливают два основных вида прозы в качестве своеобразных функциональных типов языка: канцелярско-деловой язык и литературные языковые функциолекты (с. 100–102). Рассмотрение истории немецкого языка периода раннего нового времени (1450–1650 гг.) начинается с анализа роли книгопечатания, кардинально повлиявшего на функциональное развитие языка как средства общения. Его центрами становятся Штрассбург, Аугсбург, Нюрнберг, Ульм, Кёльн, Любек, Лейпциг и другие города, удовлетворявшие, в частности, потребности в литургических изданиях: Вюрцбург, Бамберг, Пассау, Мейсен, Мюнстер, а также университетские центры: Росток, Гейдельберг, Ингольштадт и др. Бесспорно, большое влияние на развитие немецкого языка оказала эпоха Реформации в Германии, когда он становится языком библии, литургии и теологических диспутов. В этой связи авторы раздела подчеркивают роль деятельности Лютера, который, в частности, благодаря его переводу библии на немецкий язык оказал решающее воздействие на его дальнейшее развитие и ознаменовал собой целую эпоху на пути формирования единого литературного языка (с. 109). Немалую роль в развитии языкового нормосознания сыграли немецкие грамматисты (Ратке, Шотте-лиус), разрабатывавшие теоретические

взгляды относительно орфографического облика и грамматического строя немецкого языка. Период среднего нового времени (1650–1800 гг.) непосредственно предшествует так называемому новонемецкому этапу языка и был ознаменован деятельностью различных языковых обществ ("Плодотворное общество", "Поэтическое общество", "Немецкое общество" и др.), выполнявших роль своеобразных языковых академий, в которых обсуждались вопросы культуры речи, а также процессы формирования кодификации языковой нормы (Готшед, Опиц, Томазиус и др.). По ходу анализа авторы раздела подчеркивают роль поэтов и писателей 18 в. в деле развития и совершенствования стилистической структуры немецкого языка, обогащения его словарного состава и процессов словообразования (Лессинг, Виланд, Гердер, Гёте, Шиллер). В заключение этого раздела авторы останавливаются на вопросах формирования грамматической системы языка, заложившей основу его современного состояния [морфология, субстантивно-глагольная флексия, падежная система, формообразование, синтаксис, словарный состав и словообразование (с. 126–134)]. Новый период в истории языка (с 1800 г.) автор определяет с 1800 до 1950 гг. Именно в этот период происходит формирование единого стандарта немецкого литературного языка, который в своих общих чертах был принят в качестве унифицированного образца для всех стран немецкой речи (Германия, Австрия, Швейцария) и стал общенациональной нормой в Германии после объединения ее земель в едином государстве в 1871 г. (с. 134–136). Здесь рассматриваются социально-экономические и другие экстралингвистические факторы, воздействовавшие на процесс развития словарного состава языка (развитие промышленности, железнодорожного и автомобильного транспорта, авиации, электротехники, средств связи, медицины и других наук), а также процессы выработки унифицированных правил орфографии и орфоэпии (конец 19 – начало 20 в.). Большой интерес вызывает раздел главы, в котором освещается проблематика социофункциональной структуры национального языка (диалекты, общинно-разговорные территориальные языки, стандартный язык), сохраняющая свое функциональное назначение и в настоящее время. Так называемый новейший период нового времени в истории немецкого языка (die jüngste Neuzeit) начинается с 1950 г., т.е. со времени после окончания 2-ой Мировой войны и образования на развалинах фашистской Германии двух германских государств –

ГДР и ФРГ, существовавших до 1990 г., т.е. периода их объединения в рамках единой ФРГ (с. 153–171).

Рассмотрение исторического процесса развития системы языка начинается разделом "Древневерхненемецкий язык" (Глава 2, с. 172–221). Он изложен Х. Науманом и представляет собой переработанный вариант текста 5-го издания, который был написан З. Чихоцки и Г. Тремпельман. Рассмотрев временные и территориальные границы языка (диалектов) этого периода (750–1050 гг.), автор приводит данные о составе гласных и согласных фонем и их качественных свойствах, об основных фонетических закономерностях (умлаут, монофтонгизация, дифтонгизация, древневерхненемецкое передвижение согласных, грамматическое чередование, геминация) и др. Далее на материале основных частей речи (глагол, существительное, прилагательное, местоимение и числительное) рассматривается древневерхненемецкая морфология. Затем автор обращается к анализу синтаксического построения древневерхненемецкого языка.

В главе 3, написанной Г. Гарниш (с. 222–278), представлен аналитический материал, освещающий развитие немецкого языка в средневерхненемецкий период (1050–1350 гг.). По своему построению он повторяет предыдущий: он начинается с временного и территориального (пространственного) членения средневерхненемецких диалектов, а затем анализируются звуковой состав языка, характер морфологии и синтаксиса.

Аналогичным образом построена и последняя, 4 глава книги (с. 279–352), в которой рассматриваются основные характеристики системы немецкого языка ранневерхненемецкого периода (1350–1650 гг.). Она представлена в редакции Р. Бенцингера и Г. Лангнера, которые разрабатывали этот раздел книги и в предыдущих изданиях. Система языка этого этапа характерным образом отличается от периода средневерхненемецкого, в равной мере она не обладает еще всеми свойствами и признаками, которые присущи немецкому языку начала 18 века, что делает вполне оправданным выделение этого этапа в развитии и формировании немецкого языка в качестве промежуточного, но вполне самостоятельного периода его истории (с. 279).

В заключительной части этой книги ее 5-го издания (1984 г.) содержались образцы различных исторических текстов: отрывки из готского "Серебряного кодекса", образцы древнесаксонских текстов, а также тек-

сты древневерхненемецкого периода (Абронган, Песнь о Гильдебрандте, Мерзебургские заклинания и др.), снабженные специальным словарем; далее следовали образцы текстов средневерхненемецкого периода (Песнь о Нибелунгах, стихи Вальтера фон дер Фогельвайде), а также тексты, относящиеся к ранневерхненемецкому периоду (отрывки из сочинения Иоганнеса фон Зааца, Иоганнеса Роте, Мартина Лютера, Томаса Мюнцера, Мартина Опица и др.). В рецензируемом издании этот раздел отсутствует, о чем можно только сожалеть, поскольку это лишает читателя прежней возможности сочетать чтение книги с непосредственным наблюдением за отражением исторических языковых процессов в конкретных текстах того времени. Авторы издания объясняют такие сокращения, с одной стороны, наличием специальных исторических хрестоматий и сборников текстов, а с другой стороны, стремлением к тому, чтобы цена на книгу оставалась доступной широкому кругу читателей (с. 11). В этой связи приходится сожалеть, что в наших нынешних экономических условиях книга не сможет оказаться на рабочем столе любого заинтересованного специалиста.

Книга заканчивается обширной библиографией, которая со времени предыдущего издания (1984 г.) возросла с 402 до 779 названий специальных книг, словарей и различных статей, посвященных процессам истории немецкого языка. Следует с удовлетворением заметить, что среди авторов этих работ мы находим имена многих отечественных германистов: В.Г. Адмони, М.М. Гухман, В.М. Жирмунский, Н.Н. Семенов, О.И. Москальская, Н.Н. Бабенко и др. В приложении к книге имеется карта распространения различных групп индоевропейских языков, таблицы историческо-

го развития системы немецких гласных и согласных, а также таблицы склонения существительных, дающие наглядное и обобщающее представление о направлении и характере исторических изменений в системе и строе немецкого языка на протяжении его тысячелетней документированной истории.

Отсутствие отдельного раздела исторической лексикологии, в котором был бы представлен в систематизированном виде фактический языковой материал, отражающий процессы развития словарного состава языка на протяжении всей его истории и под влиянием конкретных культурно-исторических и социально-экономических факторов, в рецензируемой книге отчасти компенсируется включением такого иллюстративного материала в разделы 1-ой главы книги, в которой рассматривается, как отмечалось выше, своего рода внешняя история немецкого языка (см.: с. 74–79; 88–91; 129–134; 139–145; 158–162; 167–171).

В заключение отметим, что рецензируемая книга является ее первым общенемецким изданием после объединения обоих германских государств в 1990 г. в рамках единой Германии, что позволило преодолеть наметившиеся в предыдущем издании попытки излишне идеологизировать исторические процессы в немецком языке, устранить социально-политические клише, в особенности при освещении процессов новейшей истории немецкого языка. Книга найдет применение не только среди специалистов, но и всех, кто занимается изучением германистики не только в государствах немецкого языка, но и в других странах, в том числе и в России, где германистика всегда была широко развита как наука и предмет изучения.

А.И. Домашнев

Рецензируемая монография задумана ее автором как попытка описать на материале немецкого языка межкуатегориальные связи и взаимодействие аспекта, залога, времени и (частично) склонения¹. Автор исходит из рабочей гипотезы, согласно которой в так называемых переходных зонах между категориями действуют строгие закономерности, отражающие иерархические, импlicative отношения между отдельными категориями, и считает, что структура и функционирование отдельных категорий, таким образом, детерминированы закономерностями надкатегориального плана.

В этой установке автора проявилось характерное для современной лингвистики стремление вскрыть ту внутреннюю пружину, которая лежит в основе системного устройства языка и проявляется как в процессе развития языка, так и в процессе его усвоения. В этом же русле следует, вероятно, рассматривать исследования, направленные на выявление семантической детерминанты языков того или иного континентного типа. Однако автор рецензируемой монографии ставит перед собой несколько иную цель: с помощью метаязыкового (*metasprachlich*) анализа немецкого глагола показать, что категории языка представляют собой не простую совокупность (инвентарь категорий одного и того же ранга), а единое иерархически организованное образование, в котором все категории естественно выводятся из одной, базисной категории.

При такой постановке проблемы с самого начала у читателя возникает вопрос, что понимается под языковой категоризацией, какого рода категории подлежат анализу и к какому уровню языковой систе-

мы может принадлежать искомая базисная категория. Из последующего изложения становится ясным, что рассматриваемые автором категории не совпадают с грамматическими категориями какого-либо отдельно взятого языка, речь идет о некоторых универсальных содержаниях, получающих свое выражение в сфере глагола (морфологические категории глагола, его категориально-лексические классы, словообразовательные модели, а также бивербальные синтаксические сочетания), о функциях, свойственных морфологическим категориям глагола в отдельных языках, но так или иначе осуществляемых с помощью глагола во всех языках. Иными словами, речь идет, в нашем понимании, о функционально-семантических категориях аспектуальности, темпоральности, залоговости и модальности и соответствующих им функционально-семантических полей, но лишь в той их части, которая репрезентирована вышперечисленными глагольными средствами. Автор, по-видимому, сознательно не употребляет в полном объеме терминов и понятий функциональной грамматики, хотя широко пользуется понятием функции.

Рассматривая в едином ряду, в качестве категорий глагола современного немецкого языка феномены, именуемые ею аспектом, залогом, временем и склонением, автор отдает себе отчет в том, что морфологическая категория аспекта здесь не представлена, но в сфере глагола функция выражения аспектуальности тем не менее осуществляется. Автор представляет точку зрения, согласно которой "морфологически не реализованная категория не должна считаться отсутствующей, а пример отсутствующего артикля в русском языке должен был бы свидетельствовать о том, что кажущееся отсутствие категории ведет не к упрощению категориальной архитектоники, а к возрастанию сложности системы" (с. 53).

Можно соглашаться или не соглашаться с исходными теоретическими положениями и терминологией автора, однако нельзя не отметить целесообразности выбора объекта описания, а именно вычленения той части языковой системы, где взаимодействие функционально-семантических категорий может быть прослежено, во-первых, в рамках одной части речи, во-вторых, в пределах тех частей соответствующих функционально-семантических полей, которые ограничены их центрами и ближайшей периферией (последняя может быть более или менее

¹ Помимо немецкого, в монографии привлекается материал многих других языков, в том числе – неиндоевропейских (всего около пятидесяти языков, среди них, например, эскимосские, майя, дакота, дирбал и др.). Отрадно отметить, что в последнее время все чаще наблюдается тенденция к привлечению в исследованиях, посвященных проблематике отдельных германских языков, материала многих иных, в том числе и неиндоевропейских языков с учетом их типологических характеристик. Это, бесспорно, способствует как расширению проблематики частных исследований, так и более глубокому подходу к поставленным вопросам. Другим примером исследований подобного рода может служить [1], где автор обращается к материалу около сорока языков.

втянута в процессы грамматизации). Состав же привлекаемых к рассмотрению разноразличных характеристик глагола представляется достаточно полным и отражающим сущность части речи как морфолого-синтактико-словообразовательно-лексического феномена. Не вызывает сомнения, что такой подход просто необходим наряду с традиционным анализом морфологических категорий и анализом ФСП в их полном объеме. Это тем более важно, если речь идет о выявлении базисной категории.

Остановимся кратко на некоторых других исходных теоретических положениях автора. В работе последовательно используются понятия дистриктивных признаков и отношений маркированности. Недостатком имеющихся исследований автор считает отсутствие "признакового анализа", выходящего за рамки отдельных категорий (с. 1), необходимость которого была отмечена еще в 1957 г. Р. Якобсоном [2]. Категории различаются по степени своей сложности (Komplexität): более простые являются как бы "кирпичиками" (Bausteine) в составе более сложных. Автору близка также теория маркированности, принятая в рамках "естественной" морфологии Дресслера, Вурцеля и др. Базисная категория выводится из "естественной" эгоцентрической точки зрения говорящего. Принимается также точка зрения Г. Гийома, согласно которой глагольные категории аспекта, времени, наклонения отражают внутренние фазы одного феномена (хроногенеза) [3].

В отличие от Якобсона, автор считает, что все морфологически выраженные (morphologisch sichtbar) категории являются шифтерами, в том числе – аспект. В этом плане автор пристраивает к концепции "естественной" морфологии, считающей все грамматические морфемы дейктическими или индексными. Используется также понятие иконического языкового знака (т.е. знака, обнаруживающего сходство с представляемым им предметом) и иконической функции. Иконическим знаком считается, например, порядок слов, передающий содержание известности/неизвестности (с. 9). Таким образом, система категорий языка обладает не только дейктическими функциями, но и иконическими способностями. Грамматическое содержание может быть

выражено дейктически или иконически или же путем сочетания обоих способов. При этом морфологическое маркирование может противоречить естественному иконизму, нарушать его. Грамматические категории не корректируют этих нарушений; но лишь делают их возможными.

По мнению автора, каждая категория представляет собой особый уровень, на котором иконически выражается одно содержание за другим. Соответственно, каждая выражаемая морфологическая категория должна обнаруживать сходство с естественным синтаксическим уровнем и выразить содержание Vor(her) "до ч.-л." и Nach(her) "после ч.-л.". Доказательство этого положения автор считает одной из своих основных задач.

Таким образом, вместо традиционного разграничения синтаксического и морфологического уровней автор придерживается разграничения иконического и дейктического способов передачи грамматического содержания, которое далеко не всегда совпадает с разграничением синтаксиса и морфологии. Например, к иконическим знакам автор относит и категорию числа имени – по той лишь причине, что форма множественного числа маркируется большим количеством знаков, чем единственное число (с. 6)². При этом делается оговорка, что имеется в виду лишь общая тенденция, а не отдельные языки ("im übereinzelsprachlichen Maßstab") в надязыковом масштабе. Но наиболее важным иконическим средством признается все же порядок слов.

Наконец, несколько замечаний о понимании автором базисной категории. Эта категория должна быть выводима из естественной "эгоцентрической" точки зрения говорящего. При этом совершенно необязательно ее морфологическое выражение. Базисная категория может быть "скрытой" и проявляться лишь во взаимодействии с другими категориями. Такой подход к базисной категории представляется продуктивным, поскольку он может способствовать выявлению семантической детерминанты континентного типа языка. Сказанное не означает, что аспект или аспектuality являются именно такой детерминантой, да автор и не ставила перед собой задачу выявить таковую. Хотелось бы особо подчеркнуть плодотворность мысли о системформирующих функциях "скрытых" категорий, подтвержденную конкретным материалом. Постулируемое автором понимание базисной категории основывается (хотя это и не сформулировано эксплицитно) на при-

² Следует отметить несоответствие этого положения материалу флективных языков, где значения падежа и числа совмещены в одной флексии. Более того, во множественном числе возможна и нулевая флексия. Ср. русск.: им.ед.: рука, род.ед.: руки, им.мн.: руки, род.мн.: рук.

нании тезиса о первичности лексического перед грамматическим и о подчиненном положении морфологии по отношению к синтаксису, т.е. тех принципов, которые лежат не только в основе выявления семантической детерминанты континентивного типа, но и в основе типологической реконструкции [4].

В соответствии с замыслом автора работа содержит следующие главы (помимо введения и заключения): "Аспект", "Пассив", "Между аспектом и пассивом: результатив", "Время: между аспектом и наклонением". Остановимся на содержании отдельных глав.

В главе "Аспект" вычленяется базисная оппозиция аспекта – дифференциация внешней и внутренней перспективы (см. об этом ниже), предпринимается попытка отграничить категорию аспекта от способов действия (Aktionsarten) и аспектуальной глагольной семантики (Verbalcharaktere). В то время как каждый глагол обладает по крайней мере одной перспективой (внешней или внутренней), о категории аспекта можно говорить лишь в том случае, если могут быть реализованы обе перспективы. В данном случае исследователь немецкого языка сталкивается с таким явлением, когда функция не имеет однозначного флексива, а выражается взаимодействием многих других грамматических функций. В современном немецком языке этот феномен окрашивает все глагольные категории, кроме согласовательных категорий лица и числа, не только влияя на выбор специфической пассивной или перфектной конструкции, но определяет также значение "имперфекта" и предопределяет темпоральное или модальное значение футурума. Для обозначения общей перспективирующей функции аспектуальной глагольной семантики, способов действия и аспекта используется обобщающий термин "аспектуальность" (Aspektualität) (с. 40). Аспектуальность соответственно выражается лексически, лексико-грамматически, грамматически.

Разделяя мнение Р. Якобсона и Г. Гийома о том, что аспект – базисная категория в системе глагольных категорий, автор рассматривает аспектуальность в немецком языке не как явление маргинальной природы, а как центральное явление, лежащее в основе других глагольных категорий. Задаваясь вопросом, следует ли рассматривать аспектуальность как универсальную или частноязыковую категорию, автор обращает внимание на аналогичное положение категории определенности/неопределенности имени в русском языке, реализующейся

через категории падежа, аспекта и – иконически – через порядок слов. Обосновывая универсальный характер категорий определенности и определенности/неопределенности, автор апеллирует к мнению Л.В. Щербы о необходимости избегать гипнотизации морфологической формой (с. 26). Не принимается в качестве критерия наличия/отсутствия какой-либо грамматической категории в языке и принцип обязательности (ср. необязательность выражения некоторых категорий в китайском языке).

Путь к открытию подобных "невидимых" категорий лежит, по мнению автора монографии, в "непредвзятом" описании отдельных языков на основе метаязыкового знания. Непредвзятость же понимается в данном случае как отход от привычных образцов (с. 26–28).

Наиболее интересным, но одновременно и наиболее дискуссионным моментом в рассуждениях автора нам представляется не столько предлагаемый ею способ открытия "невидимых" грамматических категорий, сколько, пожалуй, "повышение в ранге" таких категорий, которые, занимая периферийное положение в традиционно выделяемой морфологической подсистеме, оказываются "базисными" в некотором межуровневом языковом пространстве. Сама по себе эта мысль не вызывает сомнений, т.к. логически вытекает из тезиса о первичности лексического перед грамматическим Ср. [4]. Однако необходимо учитывать, что в системе глагола наличествуют и другие категориально-лексические классы (прежде всего переходные/непереходные глаголы), в связи с чем поиски базисной категории должны были бы включать и сопоставительный анализ нескольких категориально-лексических членений. Далее, роль какой-либо "скрытой" категории, как бы ни влияла она на содержание иных, "явных" категорий, не должна быть преувеличена тем, что данная категория не имеет "прямого" выхода в морфологическую парадигматику. Например, тот факт, что переходность/непереходность глагола непосредственно влияет на его функционирование в категории залога и семантику последнего, не может снижать роли данных категориально-лексических классов в построении глагольной парадигматики. И этот вопрос, думается, должен решаться с учетом конкретного состава морфологических категорий языка. Немаловажен и тот факт, что Р. Якобсон высказал мысль о базисном характере аспекта в применении к русскому языку, глагольная парадигматика которого сильно отличается от немецкой.

Интересны рассуждения автора о дейктическом характере аспектуальности (с. 32–45). Маркированный член оппозиции дейктичен, поскольку отражает точку зрения говорящего. Глагольное действие может рассматриваться двумя различными способами: 1) как нечленимое целое; 2) как расчлененное целое без этой тотализации. При этом подразумевается, что в первом случае сам говорящий как бы находится за пределами действия, а в противном случае (т.е. во втором случае) он не смог бы воспринимать действие как целое. Это вполне оправдывает русский термин "вид" – перспектива, видение (Betragungsweise). Анализ отношений части/целого в области глагола представляется нам особенно ценным, поскольку автор пытается провести параллель между глагольными и именными категориями в плане выражения в них категоривных/холистических отношений. Прототипическое существительное соотносится с предметами, воспринимаемыми как целое. Исключения – вещественные, обозначающие "нечленимые" (nichtgrenzbezogene) предметы. Отношения аддитивности/неаддитивности и делимости/неделимости у глаголов и существительных различаются в плане их маркированности/немаркированности.

Глава о пассиве представляется наиболее удачной. Хотя тенденция к пересмотру традиционной точки зрения о "синимии" или "обратимости" активной и пассивной конструкций наметилась давно, создание позитивной концепции, адекватно отражающей функциональный статус пассива в современном немецком языке, оставалось в лучшем случае осознанной необходимостью. Успеху автора в этой области в немалой степени способствовало привлечение материала многих языков различной типологии. Именно это позволило рассмотреть феномен современного немецкого пассива в курсе широкой исторической перспективы³. Решающим фактором в этой главе является обращение к проблеме подлежащего, т.к. пассив реализуется лишь в определенных языках (мы бы сказали: в языках определенной типологии) со специфическим подлежащим [6] (с. 75). Функциональное

рассмотрение пассива на фоне тенденции к топиализации подлежащего проводится здесь с учетом различной интенсивности этой тенденции в отдельных языках, возможно, с несколько приниженной (в оценке автора) степенью ее интенсивности в немецком языке (с. 79).

Автор ставит перед собой задачу выяснить вопрос об определенности как признаке подлежащего и субъектности в пассивных конструкциях и приходит к выводу, что в качестве подлежащего функционирует тот элемент, который обладает максимальной степенью референциальности (с. 126). Соответственно различаются определенный и неопределенный пассив: первый топиализует определенный объект, второй ремагизирует неопределенный субъект, например: *Es wird (von allen) getanzt* "Танцуют" (с. 115).

Неубедительно, на наш взгляд, в этой главе положение, по замыслу автора дополняющее концепцию Гивона [7]. Топикализации, по мнению автора, могут развиваться не только в пассивную, но и в эргативную конструкцию (с. 138). Это предположение, не подкрепленное фактическим материалом, противоречит общей направленности развития контенсивных типов [8], если понимать предположение автора в диахроническом аспекте. Если же имеется в виду различное коммуникативное членение эргативной и абсолютной (не номинативной) конструкций, то специфика номинативного строя в том и состоит, что в отличие от эргативного здесь выбор одной из возможных конструкций предложения (активной или пассивной) диктуется не категориальной семантикой глагола-сказуемого, а выбором коммуникативной перспективы, причем переходность/непереходность и другие категориально-лексические характеристики глагола, ограничивающие возможность образования пассива, не могут рассматриваться как ограничители выбора коммуникативной перспективы, поскольку вопрос о топиализации прямого объекта при непереходном глаголе попросту не стоит. (Об ограниченности возможностей различной топиализации высказывания в языках эргативного строя см. [9; 10].)

Рассматривая пассив как результат интранзитивации, автор считает, что в эргативных языках аналогичную функцию выполняет антипассив, т.е. абсолютная конструкция, с той лишь разницей, что, если в аккумулятивных языках в пассивной конструкции может опускаться обозначение агенса, то в антипассивной конструкции эргативных языков опускается обозначение

³ Досадной ошибкой автора представляется реконструкция готской конструкции *wisan* (в претерите) + причастие II как всего лишь временно́го соответствия презентного медиопассива (с. 158): именно семантические различия между этими образованиями [5] проливают свет на исторические изменения в функциях пассива.

пациенса. "Привилегированным" актантом в предложении при этом в первом случае становится пациенс, во втором — агенс (с. 95). Вероятно, здесь действительно есть база для сопоставления обеих конструкций, а именно, как нам представляется, в обоих случаях имеет место не только (и не столько) интранзитивация предложения, сколько рематизация сказуемого, однако терминологически противопоставление пассива и антипассива предполагало бы существование некоего гипертита, объединяющего в себе эргативный и номинативный типы. Поэтому, отдавая должное тонкому наблюдению автора, мы бы предпочли говорить о специфике решения определенной коммуникативной задачи в языках различных континентальных типов.

Следующая глава, посвященная результату, имеет своей целью привести к общему знаменателю сочетания глагола *sein* "быть" с причастием II переходных и непереходных глаголов. Семантическим инвариантом этих образований признается результативность, предельность (*Grenzbezogenheit*), неаддитивность обозначаемого события. Вслед за Г. Эггерсом, автор признает существование в древневерхненемецком аналитической формы результата от предельных глаголов [11] и в этом близка к истине, хотя, по нашему мнению [12], древневерхненемецкий результатив представлял собой синтаксическую конструкцию с большой степенью грамматизованности, что в дальнейшем явилось основой для развития залога (от переходных глаголов) и перфекта (от непереходных глаголов).

В отличие от Эггера, автор рецензируемой монографии постулирует существование единого результата до настоящего времени, с чем нельзя согласиться. Дело даже не в том, что образования типа *ist gekommen* "пришел" и *ist geschlagen* "побит" обнаруживают различную степень грамматизованности, относясь соответственно к морфологическому и синтаксическому уровням (Е. Лейс не считает необходимым проводить эту грань), а скорее всего в том, что уже в начале XIII в. в "Песне о Нибелунгах" встречается сочетание *was gewesen* "был", т.е. в описываемую конструкцию втягиваются непереходные глаголы с явно неопредельной семантикой, что свидетельствует о начале разрушения первоначального результата. Аналогические образования по образцу "*sein* + причастие II предельных непереходных глаголов" от переходных неопредельных глаголов (особенно глаголов движения) становятся весьма про-

дуктивными в XV в. Как известно, в основе любого аналогического новообразования лежит единство семантики "образца" и новообразования. Поскольку семантика результативности в сочетаниях с неопредельными глаголами исключена, то остается предположить (это подтверждается и текстовым материалом), что результатив от переходных глаголов постепенно преобразовывался в таксис (предшествование), затем в перфект. В связи с этим хотелось бы отметить некоторую неполноту охвата глагольных категорий в рецензируемой монографии: особенно бросается в глаза отсутствие описания категории таксиса, без которой, как нам представляется, перерождение результатива в перфект труднообъяснимо. Более того, категория таксиса имеется и в современном немецком языке, но, по-видимому, не привлекла внимания автора, так как не является дейктической категорией. Поэтому признание результата промежуточной категорией между залогом и временем представляется неточным.

В целом автор характеризует результатив как неполную, переходную категорию, поскольку он не обладает возможностью двойкой перспективизации. Для его превращения в полную категорию необходимо снятие ограничений на терминативность и на переходность глаголов, выступающих в "результативе": в первом случае возникает нерезультативный результатив, во втором — переходный результатив (с. 173).

Не убеждает проводимая параллель между немецкой результативной конструкцией и гилацким (нивхским) результативом. Вслед за Б. Комри автор усматривает в нивхском предложении *T'us řa - yata - d'* "Мясо поджарено" признаки эргативно-абсолютного синтаксиса в связи с необозначенностью агенса при форме результата от переходного глагола [13]. Сопоставляя нивхскую конструкцию с немецкой типа *Das Fleisch ist gebraten* "Мясо поджарено ~ Мясо поджарилось", автор находит и здесь признаки эргативности, т.е. обозначение пациенса в этом случае совпадает с формой подлежащего непереходного предложения (с. 167–168). Думается, это сопоставление основано на недоразумении. В нивхском предложении выступает синтетический результатив (ср. йэскид' "продавал" / йэскиуытт "продал"), результативной же конструкции или аналитического результата в нивхском не может быть уже постольку, поскольку сочетание деэпричастия законченного вида с вспомогательным

глаголом *had'* "быть" придает всей конструкции значение не только законченности, но и обычности действия [14, с. 78], а это скорее напоминает случаи употребления древнегерманской конструкции "быть + причастие II переходных глаголов" в значении будущего страдательного залога. Принимая глагол *ršad'* за переходный, следовало бы перевести приведенный Б. Комри пример буквально как "Das Fleisch hat gebraten" "Мясо поджарило" (в нивхском нет эргативного падежа, *t'us* — абсолютный падеж), и тогда бросается в глаза неформленность непереходности действия ни в глагольной лексеме, ни в глагольной форме (в нивхском нет страдательного залога), а это явление широко распространено в языках с начальной ступенью номинативности. Такие примеры нередки даже в древних германских языках (др.-исл. *heita* "называть" и "называться", *lúka* "кончатся" и "кончаться" и др.) [15; 16]. И хотя в нивхском имеется непереходный глагол *m'ađ'* "жариться", перед нами, видимо, тот случай, когда переходный глагол выступает в значении непереходного (ср. [14, с. 43]). Следовательно, нет никаких оснований связывать конструкцию *sein* + причастие II с эргативным синтаксисом.

Тонким и плодотворным наблюдением автора в плане контенсивной типологии является вывод относительно анафорического характера результативных конструкций (с. 170) и интранзитивного характера всех анафорических конструкций в аккумулятивных языках, в связи с чем оппозиция анафорика/катафорика является центральной (с. 172). Здесь, возможно, автор наиболее близко подходит к пониманию сути номинативного (аккумулятивного) строя.

Категория времени рассматривается в следующей главе как промежуточная между аспектом и наклонением. Сразу же отметим, что категория наклонения, описанная по замыслу автора лишь частично, заслуживала бы, по нашему мнению, большего внимания именно в плане взаимодействия различных категорий глагола. Между тем само содержание категорий модальности (хотя бы в сфере глагола) и наклонения остаются нераскрытыми. Из глагольных форм, выражающих модальность, описывается лишь модальный футур I (в сопоставлении с временным футуром I). Остается совершенно неясным место этой формы в системе наклонений, в частности, остается без внимания возникновение и функционирование ирреалиса как наклонения вторичного образования, без чего не может быть определен и статус кондиционалиса.

В целом время трактуется как категория внутреннеперспективирующая с анафорическим (прошедшие времена) и катафорическим (будущее) полюсами. Презенс, не обладающий действительскими значениями, не признается временем в строгом смысле этого слова. Переходный характер категории времени объясняется ее зависимостью от аспектуальных значений глагола, что касается не только презенса в значении настоящего или будущего, но и футура I (дистрибуция модального и темпорального футура определяется, по мнению автора, исключительно этим фактором). Интересным представляется в этой главе анализ значений делимости (*Teilbarkeit*) и аддитивности в сочетании *werden* + инфинитив и сопоставление в этом плане немецкого и русского языков. Не остается без внимания широко дискутируемый в современной германистике вопрос о судьбе претерита в связи с развитием перфекта. Автор приходит к выводу, что даже после "полной победы" перфекта претерит не может исчезнуть окончательно и сохранится в специфических контекстах (с. 282).

В выводах делается попытка применить теорию комплексности грамматических категорий в диахронии. Все категории связаны друг с другом одним гомогенным грамматическим процессом. Наиболее существенные компоненты этого процесса — сверхгенерализация и реинтерпретация. Иными словами, имеет место "неправильное" использование языковых элементов и переосмысление этих элементов. "Таким образом, вместо неграмматических высказываний возникает таковые с новым грамматическим значением" (с. 284). С таким пониманием исторического процесса трудно согласиться: исторический материал скорее всего свидетельствует о том, что сначала возникает новое значение у старой формы, затем на этой основе возникают аналогичные образования. Последовательность этапов реинтерпретации, как ее представляет автор (*Aspekt – Genus verbi – Tempus – Modus*) должна быть проверена на историческом текстовом материале, в частности, наклонение (в полном его объеме) никак не укладывается в эту схему.

Результат проведенного исследования автор кратко формулирует следующим образом: "Существенная функция грамматических категорий состоит в открытии (букв.: подготавливании — "Bereitstellung") многих перспектив. Свобода перспективирования гарантируется неарбитражными, направленными и необходимыми процессами" (с. 291). Монография содержит обшир-

ную библиографию по затронутым проблемам (с. 293–320), в которой широко представлены и работы наших отечественных лингвистов. Можно отметить лишь отдельные неточности в изложении точек зрения других авторов. Так, например, на с. 134 в искаженном виде изложена концепция эволюции контенсивных типов языка (ср. [17]).

Несколько заключительных замечаний. Рецензируемая монография содержит изложение целостной концепции автора, касающейся семантически детерминированных иерархических отношений на сравнительно обширном участке языковой системы (система глагола). Разработанная на материале современного немецкого языка с привлечением материала других языков и с историческими экскурсами теория является значительным вкладом в общее языкознание и представляет большой интерес не только для германистов, но и лингвистов широкого профиля. Оригинальность исходных общетеоретических позиций автора приводит к нетрадиционным выводам относительно состава и взаимодействия глагольных категорий в немецком языке. Некоторые исходные установки автора представляются дискуссионными. Отметим лишь два момента: 1) Несколько преувеличена роль дейксиса в языковой категоризации. Выделение акто-речевого компонента смысла основывается именно на существовании ситуационного. Коммуникативный же (в узком смысле этого слова) ком-

понент лишь с большой натяжкой укладывается в дейксис и требует его расширенной трактовки как точки зрения говорящего. Ср. [18]. 2) В "метаязыковом" подходе к языковой категоризации, вероятно, следовало бы больше внимания уделить разграничению универсальных и конкретно-языковых категорий (см. об этом, например, [19]).

По нашему глубокому убеждению, современной германистикой накоплен богатый материал, нуждающийся в историко-типологическом и ареальном осмыслении. Такой подход не является чем-то новым. Его необходимость осознавалась уже А. Мейе и В.М. Жирмунским. Более того, в работах В.М. Жирмунского и его учеников [20; 21; 22] такой подход осуществлен практически при анализе большого объема конкретного материала. И все же в современной германистике явно ощущается недостаток работ такого плана, где при объяснении фактов того или иного из германских языков учитывались бы достижения не только общей теории языкознания, но и контенсивной типологии и ареальной лингвистики. Поэтому отрядным фактом является привлечение в рецензируемой монографии большого количества типологических параллелей, хотя объяснительная сила таких параллелей, на наш взгляд, была бы еще большей при последовательном учете широкой исторической перспективы и своеобразия развития германских языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Källström R.* Kongruens i Svenskan // *Nordistica Gothoburgensia*, 16 / Ed. by Malmgren S. Göteborg, 1993.
2. *Jakobson R.* Shifters, verbal categories and the Russian verb. Cambridge, 1957.
3. *Guillaume G.* Temps et verbe. P., 1929.
4. *Климов Г.А.* К типологической реконструкции // ВЯ. 1980. № 1. С. 9.
5. *Гухман М.М.* Типология развития залоговых оппозиций // Историко-типологическая морфология германских языков. Т. 2: Категория глагола. М., 1977. С. 143–148.
6. *Li Ch., Thompson S.* Subject and topic: a new typology of language // Subject and topic / Ed. by Li Ch. New York, 1976.
7. *Givón T.* Topic, pronoun, and grammatical agreement // Subject and Topic / Ed. by Li Ch. New York, 1976. P. 178.
8. *Климов Г.А.* Принципы контенсивной типологии. М., 1983. С. 176.
9. *Филлмор Ч.* Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. Лингвистическая семантика. М., 1981. С. 454–456.
10. *Климов Г.А.* Очерк общей теории эргативности. М., 1973. С. 95.
11. *Eggers H.* Uuard quhōman und das System der zusammengesetzten Verbformen im althochdeutschen Isidor // Althochdeutsch. Bd I. / Hrsg. von Bergmann R., Tiefenbach H., Voetz L. Heidelberg, 1987.
12. *Ермолаева Л.С.* Развитие видо-таксисно-временной системы глагола в процессе утверждения номинативного строя германских языков // Проблемы истории индоевропейских языков. Тезисы докладов и сообщений всесоюзной конференции. Ч. 1. Тверь, 1991. С. 106.
13. *Comrie B.* Aspect and voice: some reflections on

- perfect and passive // Tense and aspect. New York, 1981. P. 69.
14. *Панфилов В.З.* Грамматика нивхского языка. Ч. 2. Глагол, наречие, образные слова, междометия, служебные слова. М.; Л., 1965.
 15. *Десницкая А.В.* Переходные и непереходные глаголы в древнеисландском языке // Уч. зап. ЛГУ. 1940. № 58.
 16. *Десницкая А.В.* Сравнительное языкознание и история языков. Л., 1984. С. 157.
 17. *Klimov G.A.* Zur kontensiven Typologie // Relational typology / Ed by Fr. Plank / Trends in Linguistics. Studies and Monographs. V. 28. Berlin; New York; Amsterdam, 1985.
 18. *Кибрик А.Е.* Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992. С. 184–185.
 19. *Coseriu E.* Bedeutung, Bezeichnung und sprachliche Kategorien // Sprachwissenschaft. 1987. Bd 12. Hf. 1. S. 7.
 20. Сравнительная грамматика германских языков. Т. I–IV. М., 1962–1966.
 21. Историко-типологическая морфология германских языков. Т. I–III. М., 1977–1978.
 22. *Гухман М.М.* Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981.

Л.С. Ермолаева

**СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ
В ЖУРНАЛЕ "ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ"**

- БЕ – Български език
 ВДИ – Вестник древней истории
 ВИ – Вопросы истории
 ВСЯ – Вопросы славянского языкознания
 ВФ – Вопросы философии
 ВЯ – Вопросы языкознания
 ЕИКЯ – Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
 ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
 ЗВО РАО – Записки Восточного отделения Русского археологического общества
 ИАН СЛЯ – Известия АН СССР. Серия литературы и языка
 ИКЯ – Иберийско-кавказское языкознание
 ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН),
 АН СССР
 ИЯШ – Иностранные языки в школе
 РЯНШ – Русский язык в нац. школе
 РЯШ – Русский язык в школе
 СБНУ – Сборник за народни умотворения
 СТ – Советская тюркология
 ФН – Доклады высшей школы. Филологические науки
 ADAW – Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur
 und Kunst
 AfslPh – Archiv für slavische Philologie
 AGL – Archivio glottologico Italiano
 AKGW – Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
 AL – Acta linguistica
 AmA – American anthropologist
 ANF – Arkiv för nordisk filologi
 AO – Archiv orientální
 APAW – Abhandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse
 BCLC – *Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague*
 BPTJ – *Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego*
 BSLP – *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*
 BSOS – Bulletin of the School of Oriental Studies
 BzNf – Beiträge zur Namenforschung
 CAJ – Central Asiatic Journal
 CFS – Cahiers. F. Saussure
 CJ – The classical journal
 FPhon – Folia phoniatica
 FuF – Finnisch-ugrische Forschungen
 GL – General linguistics
 HR – Hispanic review

IF – Indogermanische Forschungen
 IJ – Indo-Iranian journal
 IJAL – International journal of American linguistics
 JA – Journal asiatique
 JASA – Journal of the Acoustical society of America
 JEGPh – Journal of English and Germanic philology
 JL – Journal of linguistics
 JP – Język polski
 JRAS – Journal of the Royal Asiatic society
 JSFOu – Journal de la Societe finno-ougrienne
 JФ – Јужнословенски филолог
 KZ – Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen
 LaPh – Linguistics and Philosophy
 Lg – Language
 LIn – Linguistic Inquiry
 LM – Les langues modernes
 MM – Maal og minne
 MSFOu – Mémoires de la Société finno-ougrienne
 MSLP – Memoires de la Societe de linguistique de Paris
 MSOS – Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin
 NSS – Nysvenska studier
 NTS – Norsk tidsskrift for sprogvidenskap
 PBB – Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
 PMLA – Publications of the Modern Language Association of America
 ReS – The Review of English studies
 RÊG – Revue des études grecques
 RÊSL – Revue des études slaves
 RF – Romanische Forschungen
 RKJL – Rozprawy Komisji językowej Łódź. t-wa naukowego
 BRJW – Rozprawy Komisji językowej Wrocławsk. t-wa naukowego
 BLing – Russian linguistics
 RLR – Revue de linguistique romane
 RO – Rocznik orientalistyczny
 RS – Rocznik slawistyczny
 SaS – Slovo a slovesnost
 SDAW – Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse für Sprachen,
 Literatur und Kunst
 SL – Studia linguistica
 SMS – Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literarnu historiu
 SPAW – Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften
 StO – Studia orientalia
 SWAW – Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften
 TA – Traduction automatique
 TCLC – Travaux du Cercle linguistique de Copenhague
 TCLP – Travaux du Cercle linguistique de Prague
 TIL – Travaux de l'Institut de liguistique
 TPhS – Transactions of the Philological society
 UAJb – Ural-Altäische Jahrbücher
 UJB – Ungarische Jahrbücher
 VR – Vox Romanica
 WW – Wirkendes Wotr
 ZAS – Zentralasiatische Studien
 ZCPh – Zeitschrift für celtische Philologie
 ZDA – Zeitschrift für deutsches Altertum

ZDMG – Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gessellschaft

ZDPh – Zeitschrift für deutsche Philologie

ZMaF – Zeitschrift für Mundartforschung

ZNS – Zeitschrift für neuere Sprachen

ZPhon – Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft

ZRPH – Zeitschrift für roma ische Philologie

ZSL – Zeitschrift für Slavistik

ZSLPh – Zeitschrift für slavistische Philologie

1. Рукописи представляются в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа "и др." или "et al."

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например: Успенский Б.А. 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

Трубецкой Н.С. 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:

Greenberg J. 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals ... 1978 – Universals of human language. V. 1: Method and theory. Stanford (California), 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках: фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно), например

[В.В. Иванов 1992: 341], [W. Jones 1890].

Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

CONTENTS

K.H. Schmidt (Bonn). Reconstruction and transformation of Proto-Kartvelian; Ya.G. T e s t e l e c (Moscow). Sibilants or sound-clusters in Proto-Kartvelian? (The classical dilemma and some new arguments); A.K. M a t v e e v (Ekaterinburg). Appellative loans and stratification of substrat toponyms; L.L. K a s a t k i n (Moscow). Some phonetic changes of consonant-clusters in Russian, Old Russian and Proto-Slavonic caused by the consonant opposition "tense/non-tense"; A.S. G e r d (St.-Petersburg). The Russian historical dialectology as an interdisciplinary branch of science (based on the materials of the Russian Pskov dialects); T.G. N i k i t i n a (Pskov). On the classification-scheme of a phraseological ideographic dictionary; Z.K. T a r l a n o v (Petrozavodsk). On syntactic limits of the complex sentence in Russian: reevaluation of the known facts; H.H. O n i p e n k o (Moscow). The study of complex sentences in the light of the communicative text- typology; G.A. Z o l o t o v a (Moscow). Monopredicativity and polypredicativity in Russian syntax; **From the history of science:** L.V. Knorina The nature of language as reflected in linguistic theories of the XVII century; **Surveys:** A.D. D u l i č e n k o (Tartu). Resianology as part of Slovenic studies (in connection with the publication of H. Steenwijk's book "The Slovenic dialect of Resia San Giorgio" and the collection "Principles of practical Resian grammar"); **Reviews:** K.I. K a z e n i n (Moscow). Heads in grammatical theory; A.I. D o m a š n e v (St.-Petersburg). Geschichte der deutschen Sprache: ein Lehrbuch für das germanistische Studium; L.S. E r m o l a e v a (St.-Petersburg) *E. Leiss*. Die Verbalkategorien des Deutschen. Ein Beitrag zur Theorie der sprachlichen Kategorisierung.

Технический редактор *Н.С. Евсеева*

Сдано в набор 28.12.94. Подписано к печати 3.02.95 Формат бумаги 70 × 100 1/16
Офсетная печать. Усл.печ.л. 13,0 Усл.кр.-отт. 26,2 тыс. Уч.-изд.л. 16,1 Бум.л. 5,0
Тираж 1976 экз. Зак. 2273

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка 18/2. Институт русского языка.
Телефон 201-74-42
Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6